

Мариам Петросян

Дом, в котором...



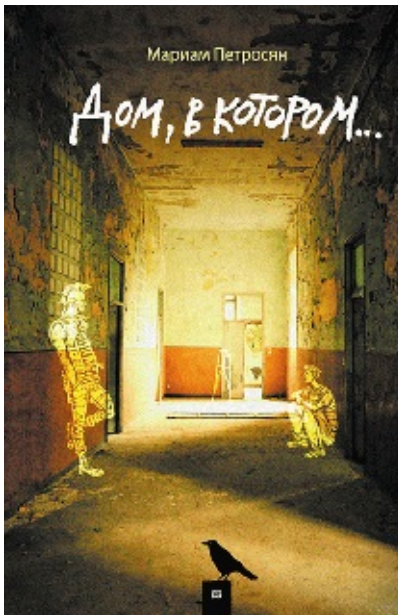
Annotation

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени.

Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

- [Мариам Петросян](#)
- [МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ГРАФФИТИ](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ПРОБЛЕМЫ ТЛЕЙ И НЕОБУЧЕННЫХ БУЛЬТЕРЬЕРОВ](#)
- [ДОМ](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ИСПОВЕДЬ КРАСНОГО ДРАКОНА](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [УЛИЧНАЯ КОПОТЬ](#)
- [А ПРЫГУНОВ И ХОДОКОВ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!](#)
- [ДОМ](#)
- [«ДАВАЙ!»](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ДОМ](#)
- [СОВСЕМ ДРУГОЙ КОРИДОР](#)
- [Прогулки с Птицей](#)
- [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
- [ВОРОЖБА](#)
- [ВАСИЛИСКИ](#)

- [ПРИЗРАК](#)
 - [ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК](#)
 - [САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ](#)
 - [САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ](#)
-



Мариам Петросян

ДОМ, В КОТОРОМ...

(Книга вторая)

МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ГРАФФИТИ

«... вы дому не нужны — чего ради вы так низко опускаетесь и нуждаетесь в нем — уходите — уезжайте далеко-далеко от дома»

Б. Дилан. «Тарантул».

Пер. М. Немцов.

Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, зная, что никого не встретит. Столовая гудела голосами, тихими, как жужжание пчелиного роя в дупле. Жужжит в дупле, а ты — снаружи и еще не понял, что это за звук там, в дереве, и что за точки мелькают вокруг... а когда понял, уже бежишь... Он шел медленно — сумка оттягивала плечо. Классы были открыты, как будто отдыхали, проветривали себя. Двери классов и спален иногда распахивались внезапно, так что можно было получить синяк на лоб. Он давно привык ходить подальше, у той стороны, где когда-то были окна, и теперь ноги привычно несли его по этому безопасному маршруту. От этой мысли стало смешно.

Пятнадцать лет. Имея под ногами землю, а не паркет, за это время можно протоптать тропу. Широкую, заметную тропу. Свою собственную. Как у оленя. Или...

Когда-то на этой стороне были окна. Никому и в голову не пришло бы их замуравывать, если бы не надписи. На стеклах не оставалось просветов. Они покрывали их письменами и уродливыми рисунками сверху донизу, а как только стекла отмывали, все начиналось сначала. Ни дня эти окна не выглядели по-божески. Такое творилось только в этом коридоре. Наконец, после очередной замены стекол (он всякий раз надеялись, что в них проснется совесть, но этого так и не произошло) они перестали утруждать себя надписями. Ральф это хорошо помнил. Просто покрасили новенькие, сверкающие стекла черной краской, непонятно откуда добытой после конфискации каждого захудалого тюбика. Он помнил, что с ним произошло утром, когда он увидел безобразные черные прямоугольники в рамах. Он почувствовал ужас. Тогда Ральф впервые осознал, чем были для них эти окна, с которыми они так варварски боролись. И на общем собрании

проголосовал, чтобы их замуровали.

Это не было детской шалостью, как могло показаться вначале. Хотя уже тогда можно было кое о чем догадаться — ведь ни в спальнях, ни в классах таких проблем не возникало. Только увидев черные стекла, они поняли, до какой степени подопечные их боятся, как ненавидят их — эти окна в наружность.

Теперь он шел по той самой стороне, где окон больше не было. Коридор из-за этого стал слишком темным. Но вряд ли кто-то, кроме Ральфа, помнил, каким он был раньше. После истории с окнами, он многое понял. Тогда он был молод и ему захотелось поделиться с кем-то своими опасениями. С кем-нибудь старше и опытнее. Теперь бы ему такое и в голову не пришло. Тот раз стал единственным — первым и последним. Больше он ни с кем не заговаривал о своих чувствах.

Сторону, выходящую на улицу, замуровали. Другая, смотревшая во двор, никого не беспокоила, хотя двор открывал наружность не хуже улицы. Значит, они приняли и включили в свой мир и двор, и все, что было видно со двора. Обнести двор бетонным забором не потребовалось — забором послужили дома. А вот с другой стороны их не было. «Они пытаются вычеркнуть все». Эти слова он произнес очень давно. «Все, кроме себя и своей территории. Они не желают знать ничего, кроме Дома. Это опасно». Лось рассмеялся и ответил, что это преувеличение. «Они прекрасно знают, что такое наружность, и как она выглядит. Каждое лето они выезжают в санатории. С удовольствием смотрят фильмы».

Он понял, что не сможет объяснить никогда. Опасность была не в незнании. Она была в самом этом придуманном ими слове — «наружность». Как будто Дом — это Дом, а наружность — нечто совсем иное. Никто этого так и не понял. Ральф один испугался, очутившись в ловушке, потеряв возможность видеть то, чего не желали видеть они. Даже Лось ничего не понял. Бедные дети, судьба сурово с ними обошлась... Его ничему не научил тот выпуск мучителей оконных стекол, хотя Дом перед их уходом пропитался влажным ужасом, и Ральф задыхался в его испарениях (еще тогда ему хотелось сбежать). Но он надеялся, что как только тех не станет, все изменится. Что с другими все будет иначе. И какое-то время, совсем недолго, так и было — следующие были еще слишком малы, чтобы всерьез бороться с реальностью. Но они быстро научились, в чем-то даже превзойдя своих предшественников. Ральф считал, что им дается слишком много воли, на что ему неизменно отвечали: «Больные дети!» От этих слов его передергивало не меньше, чем «больных детей». Ему оставалось ждать и наблюдать.

Пока они не достигли того возраста, когда полагалось уходить. Те, что были до них, попробовали остановить время по-своему: пять самоубийств, семь попыток. Эти поступили хуже. Уходя, они утянули за собой, как в воронку, все, что их окружало — в этот водоворот затянуло и Лося, считавшего их безобидными детьми. Быть может, он все-таки что-то понял, когда было уже слишком поздно.

Ральфу всегда хотелось знать, о чем Лось думал в те последние минуты. Если ему хватило времени подумать. Они смахнули его на бегу, как приставшую песчинку. Даже не заметили, что убили. Ничто не имело значения, когда наступил конец света. Никто не сумел бы остановить их или чем-то помочь; пересилить ужас, который они испытывали перед наружностью, было невозможно.

Если бы он остался жив после той ночи, то понял бы, что понимаю я. Для них не существует мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать. Уходя, они уничтожают его и для других.

Тот выпуск оставил после себя кровавую дыру, ужаснувшую даже тех, кто не имел отношения к Дому. Руководство сменили, в Доме не осталось никого из прежних учителей, и ни одного воспитателя, кроме Ральфа. Он остался. Знакомство с новым директором, далеким от гуманизма, сыграло при этом решающую роль. Остальные — те, что еще не разбежались после июньских событий — поспешили уйти после встречи с директором. Но Ральф верил, что на этот раз все будет по-другому, что, когда придет время, он сумеет что-то изменить. У него было понимание ситуации и больше возможностей, чем когда-либо. Он стал единственным взрослым старожилом Дома, к его мнению прислушивались и никто слишком мягкосердечный не смел ему мешать.

Ральф следил за ними с самого начала. Видел, как они менялись. Замечал перемены даже раньше, чем они наступали. Он взял на себя третью и четвертую — самых странных и опасных — хотя так думать о них тогда было просто смешно. Долгое время ничего не происходило. Но однажды случилось то, чего он опасался: что-то стронулось с места в их комнатах, чем-то они стали отличаться от других. И комнаты, и их обитатели. Посторонний бы ничего не заметил. Такое нужно было чувствовать кожей или вдыхать с воздухом. Нередко он неделями не мог войти к ним по-настоящему — войти в то место, которое они создали сами, изменив реальность. Со временем у него получалось все лучше, а может, это они становились сильнее. Вскоре он, к своему ужасу, обнаружил, что в зону их невидимого мира начали проникать и другие люди. Что могло означать только одно. Их Дом существовал на самом деле. Или почти

существовал.

Тогда он сбежал. Сбежал, уже понимая, что вернется досмотреть до конца, узнать, чем все закончится. Чем все это кончится у них? Теперь Ральф сознавал: что бы ни случилось, он ничему не сможет помешать. Ему просто нужно было знать. Потому что пока он учился у тех, прежних, эти тоже учились, и учились намного быстрее. Им не потребовалось бы закрашивать стекла. Им достаточно было бы убедить себя, что окон не существует. И окна, вполне возможно, перестали бы существовать.

На Перекрестке блестело боками расчехленное пианино. Ральф наступил на ленту, красной змейкой свернувшуюся под ногами. Теперь он шел по центру коридора — все еще его тропа... Со стены навстречу прыгнула буква «Р». Как подпись, как знак его присутствия. Он замер. Его звали вовсе не Ральфом. С первой минуты он возненавидел эту кличку-имя. Именно за то, что она была именем. Он бы предпочел называться Барбосом или Мимозой — чем угодно, лишь бы это звучало прозвищем. Может именно поэтому, именно благодаря ненависти к «Ральфу», он так им и остался. Назвавшие его так успели уйти, ушли и те, кто был тогда малышней, подросли те, кого вообще при этом не было — а он так и остался Ральфом. Или просто Р Первым — заглавной буквой с номером. На стенах писали только так и между собой чаще употребляли этот вариант, уродуя ненавистную кличку еще более ненавистным сокращением. Ему казалось, что это какое-то рычание, которое иногда оно прыгает со стен ему в лицо. Оскалив зубы. На единственной ноге.

Ральф остановился перед дверью без номера со стеклянным окошком. Здесь его поприветствовало еще одно «Р» — мылом на стекле. Он захлопнул дверь и избавился от лицемерия собственной клички до следующего выхода в коридор. Тут был его кабинет и одновременно спальня. Он был единственным из воспитателей, кто ночевал на втором этаже. Акула считал это огромной жертвой, и Ральф его не разубеждал. Достаточно было напомнить: «Я нахожусь на круглосуточном дежурстве», — и все его желания тут же исполнялись. Прочие воспитатели смотрели на него как на извращенца.

Ральфа смешил их страх перед вторым этажом. Надо вообще ничего не знать о детях Дома, чтобы думать, что они полезут убивать воспитателя только потому, что он ночует по соседству.

Он догадывался о существовании Закона. Никто ему не рассказывал, но по некоторым особенностям поведения жителей Дома можно было вычислить и сам Закон, и отдельные его пункты. Такой, например, как неприкосновенность учителей и воспитателей — этот пункт надежно

защищал его, потому что, за редкими исключениями, все держались в рамках Закона. Исключения могли посыпаться дождем в роковой период — за две недели до выпуска. Так было в предыдущие разы. Думать об этом было еще рано, бояться — тем более. Он не собирался менять комнату (раз уж оказался настолько глуп, что вернулся) только потому, что через полгода что-то могло случиться. Самую большую глупость он уже совершил. На ее фоне забота о собственной безопасности выглядела бы нелепо. И уж тем более он не собирался проводить последние месяцы в Доме в беседах с Ящером или вечно подвыпившим Шерифом, который вваливался в любую комнату на третьем, как к себе домой. Оба считали, что пара бутылок пива — лучшее приглашение, и, соответствующим образом оснащенные, даже не трудились стучать. Воспитатели выпивали по традиции. Не напивались, как Ящики, а выпивали. Различие было тонким и зачастую малозаметным, хотя если бы кто-нибудь отметил это вслух, они бы оскорбились. Ящиков оскорбить было труднее. Хотя и они иногда обижались. Например, им не нравилось, что их называли Ящиками.

Мало кто знал, что прозвище Ящикам придумал Ральф. Дать прозвище кому-либо в Доме было нетрудно. Выйти ночью в коридор, выбрать на стене подходящее место и, подсвечивая фонариком, а то и вслепую, написать, что нужно, так чтобы надпись не бросалась в глаза. Все равно прочтут. Стены были их газетой, журналом, дорожными знаками, рекламным бюро, почтой и картинной галереей. Это было так просто — вписать туда свое слово и ждать, пока оно оживет. Больше от Ральфа ничего не зависело. Прозвище могли забыть или закрасить чем угодно, могли принять и начать им пользоваться. Ральф редко когда ощущал себя таким молодым, как во время ночных вылазок с баллончиком краски. Краска и фонарик — больше ничего не требовалось. Обычно хватало и баллончика. Когда он переселился на второй этаж, все упростилось, но именно тогда его дважды чуть не застали врасплох, и, опасаясь, что рано или поздно его разоблачат, Ральф перестал вносить свою лепту в прозвища Дома. Ему не хотелось подрывать доверие к стенам. Они и для него были источником полезной информации. Главное — не лениться расшифровывать чужие каракули. Стена была его пропуском в их жизнь, без которого в нее нельзя было проникнуть даже тайно. Он настолько хорошо изучил стены, что научился с первого взгляда выхватывать свежие надписи из переплетения старых. Не вглядываясь, не вчитываясь — это могут заметить. Один рассеянный взгляд — и он унесет с собой ребус, над которым можно будет поломать голову вечером за чашкой чая, не торопясь и не нервничая, как другие коротают вечера над кроссвордами.

Иногда что-то разгадывалось, иногда нет. Но он не расстраивался. На следующий день его будет ждать новый урожай сообщений, над которыми можно будет поразмышлять. Единственное, что его раздражало — обилие ругательств, в которые, чтобы не пропустить ничего важного, тоже приходилось вчитываться. В период полового созревания жителей Дома он почти жалел о своей привычке читать стены. Сейчас ругательства пошли на спад, хотя рядом со второй в них по-прежнему можно было захлебнуться.

Ральф не стал осматривать стены. За полгода они изменились почти до неузнаваемости, и в первый день возвращения засорять мозги всем тем, что прибавилось за шесть месяцев там, где много чего прибавлялось и за день, не хотелось. Только от буквы «Р» ему не удалось убежать слишком она бросалась в глаза, всегда чуть в стороне от скученных надписей, напозавших друг на друга на самых разрисованных участках стен.

Может быть, это делалось с умыслом. Вот только к кому они обращались: к нему или к самим себе? И что это было? Напоминание или приветствие? То, о чем они боялись забыть, или то, чего забыть не могли? Он уехал, но в то же время остался на его стенах Дома. Надписи казались сравнительно свежими и их было намного больше, чем прежде. Ральф не встречал на стенах кличек умерших или уехавших. О них не говорили, их вещи уничтожали или делили между собой. Закрывали дыру — так это называлось. После ночи поминального плача за человеком стирались все следы. С уезжающими себя вели как с покойниками. А он ушел сам — и остался. Об этом и сообщала его кличка на стенах. Значит, они знали, что он вернется. Но откуда? Откуда они могли знать то, в чем он сам не был уверен до последней минуты?

Опустив сумку на пол, Ральф сел на диван. Конечно, они знали. Только это и могли означать бесконечные «Р». А теперь, и я знаю, что они знали. Хотя специально не смотрел на стены. Они постарались, чтобы моя кличка бросалась в глаза. Чтобы, вернувшись, я понял, что меня ждали...

Еще немного, и я решу, что меня приманили. Околдовали заклятием букв. Еще немного, и я представлю, как ночью они танцуют вокруг этих букв, шепчут заклинания и рисуют магические круги. Еще немного, и я уверюсь, что приехал только потому, что они этого захотели. Я провел в Доме примерно четверть часа и уже схожу с ума. Может, здесь так и нужно — быть слегка помешанным? Может, иначе здесь просто нельзя?

Он знал, что отчасти прав. Нельзя уйти и вернуться, когда пожелаешь. Дом мог не принять его. С другими такое случалось. Его могло не принять нечто. Неопишемое, не поддающееся логике нечто — сам Дом, его дух или его суть — он не искал слов, когда думал об этом. Просто, возвращаясь,

Ральф знал, что окончательное решение будет зависеть не от него. Не от него, не от них, а меньше всего — от Акулы. Дом примет или не примет. И, может, именно Дом они пытались задобрить, помечая его стены буквой «Р». Приучая к мысли о его возвращении.

— Ладно, — произнес Ральф устало. — Считайте, что я благодарен. Интересно, что вам от меня нужно? Или это стало традицией — перед уходом приносить воспитателя в жертву наружности?

Он встал, отгоняя глупые мысли. Если им нужен воспитатель, здесь их хватает и без меня... А вот сумасшедший воспитатель не нужен никому. Подойдя к окну, он дернул шпингалет и отворил одну створку. Холодный ветер ворвался в комнату, изгоняя затхлый запах сырости.

Над самыми окнами нависали скомканные облака, по-вечернему затеняя день. Он вытер пыль с подоконника, опустил на него и закурил, расслабляясь. Выкинул окуроч, и прислушался. Коридор гудел голосами.

Песни Дома и его шорохи...

Мимо двери протопали ходячие и проехали коляски. Ральф пересел на диван и включил радио. Заиграла музыка. Он поднял громкость.

За дверью остановились. Двое. Потом их стало больше. До него донесся приглушенный шепот, но слов различить не удалось. Наконец стало тихо. Потом раздался топот подкованных сапог — кто-то из Логов удалился с вестью. Ральф выключил радио.

Дверь его кабинета была из тех, что, распахиваясь, ударяли по лбу. Но они успели отскочить.

— О-о... О-о...

У противоположной стены вежливо кланялись нелепые ушастые Логи.

— Вы вернулись! Вы слушаете радио!

— Да, — сказал он. — Как видите.

Не переставая кивать, они незаметно перемещались в сторону спален. Быстрее добежать, рассказать, первыми сообщить! Сенсация дня стояла перед ними во плоти, и только вежливость не позволяла рвануть наперегонки, громкими воплями оповещая весь Дом. Они мучились, полыхая ушами, и покусывали губы, жадно ощупывая Ральфа взглядом. Кто первым заметит что-нибудь интересное? Те, что убежали, расскажут первыми, зато они первыми увидели! Из этого преимущества, раз уж первенство у них было отнято, Логи старались выжать все возможное. Рассказы очевидцев должны быть красочными и волнующими. Ральф чувствовал, как из него добывают эти краски и волнующие подробности — высасывают жадными щупальцами глаз.

— Свободны, — сказал он им.

Логи не шелохнулись, только уставились еще более страстно.

— Иду в третью, — сжалился он. Ахнув, Логи умчались прочь, наступая друг другу на ноги, сверкая черной кожей жилеток и кнопками застёжек.

Ральф шел медленно, давая гонцам возможность осуществить свою миссию. Он смотрел на стены.

Территория второй: безголовые женские фигуры, крутейшие бедра, круглейшие ягодицы, тыквенные груди... Между ними змеились высказывания публики о мастерстве художников, стихи на аналогичные темы и ругательства. «Хвост приложил Кр. Соломон». «Берегись! Ты знаешь, про что я!» «Заплыв отменен вв. нестандарт. одежд.» «Еще раз так сделал. Сделаю еще».

Крысы стояли у распахнутых дверей класса, синхронно хихикали и шаркали ногами, словно управляемые одной нетрезвой рукой.

— Здравствуйте...

Только что из мусорных баков. Серая шерсть в лишаях, прозрачно подрагивающие усы, запах помойки, голые хвосты с налипшим пометом.

— С приездом. Как поживаете?

Ральф прошел мимо.

Рисунки на лбах, на щеках и на подбородках, очки всех форм и размеров. Крысы боялись света и прятали от него глаза.

«С возвращением!» — хихикнула стена, снабдив приветствие заборчиком из восьми восклицательных знаков. Когда только успели? Он миновал вторую. Зону ягодиц и двусмысленных шуток. По стене поплыли красные треугольники, быки и антилопы. Здесь писали мало и мелко. Рисунки Леопарда охранялись от посягательств. Ральф не стал вглядываться. Зеленая стрелка указывала прямо: «Тропа друидов. Почву перед собой ощупывай шестом. Ж. Т. по пятницам каждое полнолуние».

Что такое Ж. Т.? Жертвоприношения?

Дверной проем класса третьей был пуст. Ральф вошел — и под ногами зашуршали семена. Семена и жухлые листья. Коробочки, с треском лопавшиеся под каблуками, и рассыпавшие белый порошок. В сумраке зеленых куц за столами сидели Птицы и улыбались. Окна затеняли мясистые листья и стебли всевозможных растений. Пахло влажной землей.

Слон — огромный и краснощекий — качал головой в окружении горшков с фиалками. Фиолетовый спектр. Красавица над пожелтевшей геранью, Бабочка под лимонным деревцем. Стервятник сидел на стремянке — парил над классом, вознесенный почти к самому потолку. Компанию ему составляли два горшка с кактусами. Стол Дракона, украшенный только

тарелочкой с проросшей пшеницей, выглядел убого. Птицы улыбались. Щебет в ветвях... Не было ни страха, ни враждебности. Они, казалось, были искренне рады его возвращению.

Ральф сел за учительский стол. Как гусеница, сорвавшаяся с потолка, ему под нос шмякнулся толстый белесый стебель.

Стервятник подобрался поближе и проглотил стебель:

— Прошу прощения, — извинился он. — Сколько раз повторять: обрезайте подгнившее! — Он обмахнул стол носовым платком.

— Спасибо, — сказал Ральф.

Стервятник лучезарно улыбнулся.

Перед Ральфом появилась чашка с кофе. Пока он удивленно ее разглядывал, его поверхность подернулась ряской.

— Видите? — грустно спросил Стервятник. — За всем не уследишь. Я огорчен, поверьте.

Ральф попытался собраться с мыслями.

— Пока меня не было...

— Мы все очень скучали, — хором сообщили Птицы.

Стервятник посмотрел на них с гордостью.

— А в четвертую перелетел Фазан, — сообщил Слон, ковыряя в носу. — Почему-то не к нам, а к ним. Почему-то...

— Дела четвертой нас не касаются, — перебил его Дракон. — Ты бы помолчал!

Ангел заломил руки:

— Дом без вас не Дом, уважаемый Ральф. Я это всем твержу, постоянно! Спросите, спросите их...

— Счастлив слышать, — сказал Ральф. — Что еще?

— Песня! — радостно каркнул Ангел. — В вашу честь! Мы только вчера закончили ее разучивать. Разрешите исполнить?

Вчера закончили разучивать? Песню?

— Не разрешаю, — сказал Ральф. — Обойдемся без песен.

Птицы разочарованно вздохнули. Ангел в приступе гнева впился зубами в собственную руку.

— Простите?

В дверях стоял маленький лысый человек в синем костюме и, близоруко щурясь, рассматривал Ральфа.

Он встал.

— Не имею чести, — произнес человечек, и шагнул ему навстречу.

— Я воспитатель, — объяснил Ральф. — Вернулся из отпуска, зашел повидать ребят. Но у вас урок. Я не буду мешать.

— Прошу вас, — засуетился учитель. — Общайтесь. Я зайду позже.

— Мы уже пообщались. Не хотелось бы мешать уроку. Извините.

Ральф обошел лысого и выбрался в коридор.

Учитель прошмыгнул следом.

— Вы ведь их воспитатель, да? — пухлая ладошка ухватила Ральфа за рукав куртки. — А вам не кажется, — глаза учителя округлились, голос понизился до шепота, — не кажется, что они немножко странные? Этот запах... и это... засилье флоры. Вы не находите? Количество... И запах...

— Нахожу, — любезно сказал Ральф, снимая с рукава пальцы учителя. — Но вам пора.

— Да, — учитель горестно покосился на дверь, — пора. Однако я определенно испытываю дискомфорт. Поймите меня правильно, это тяжело.

Сквозь приоткрытую дверь сладко тянуло болотным духом.

— Привыкнете, — пообещал Ральф. — Со временем.

Понурившись, учитель исчез за дверью, и в нее тут же просочился Стервятник.

— Поехали, — сказал ему Ральф. — Все, что произошло. И покороче.

Стервятник прислонился к стене:

— У меня в стае никаких перемен, — отчитался он. — А в чужие дела я не лезу. Не так воспитан.

— Никто тебя и не просит в них лезть.

Стервятник улыбнулся, обнажив красные десна.

— Самая крупная новость: с нами больше нет Помпея. Скоропостижно скончался от колотой раны. Можно назвать это самоубийством, а можно и не называть. Я называю так.

— А остальные?

— Остальные могут со мной не согласиться.

Ральф поразмыслил над сказанным.

— То есть это не самоубийство?

Стервятник задумчиво покачал головой:

— Вопрос терминологии. Когда кто-то долго роет яму, потом тщательно устанавливает на дне острые колья и, наконец, с радостным воплем туда прыгает, я называю это самоубийством. Прочие могут придерживаться иного мнения.

— Ладно, — вздохнул Ральф. — Дальше?

— Дальше в основном мелочи. Не соображу, какая из них может вас заинтересовать. Ну, может, та, что из первой в четвертую перевелся Фазан. Крестник Сфинкса. Он теперь ваш. А Лорда увезли в наружность.

Четвертая в трауре. — Стервятник запнулся и поморщился, словно собственный тон его вдруг покоробил.

— Это все?

— Ну, — Стервятник вздохнул, — если говорить о событиях более давних, то умер Волк. Еще летом, вскоре после вашего отъезда.

— Отчего?

— А вот этого никто не знает.

Перед ними вдруг возникла тощая белобрысая фигура с выпученными глазами.

— Извините, — простонала она, протискиваясь к двери.

— Опаздываешь! — сварливо заорал Стервятник. — Нет на вас управы, Логово семя!

Конь замычал, тряся волосами, и скрылся в дверях. Стервятник плюнул ему вслед разжеванным листиком лимона.

— Подлец, — сказал он. — Сорняк!

Лицо его вдруг исказилось, он схватился за колено и зашипел от боли.

Ральф внимательно наблюдал.

— Значит, больше ничего?

Стервятник смотрел на него снизу, равнодушно и бессмысленно. Он ушел в свою боль и закрылся в ней, давая понять, что разговор закончен.

— Ладно, иди. Если плохо себя чувствуешь.

Никто на свете не смог бы сказать с уверенностью, притворяется Стервятник, или ему на самом деле плохо. Он опустился на пол, обнимая ногу, сгорбился над ней, как над больным ребенком, и начал тихо раскачиваться, напевая сквозь зубы. Ральф подождал, раздумывая, не следует ли предложить свою помощь. Потом пожал плечами, и пошел дальше по коридору.

Коридор был пуст. За дверями классов монотонно гудели учительские голоса. Где-то журчала вода.

Птицы... Надо было все же послушать песню. Которую они якобы только что закончили разучивать. Теперь не узнать, была она на самом деле, или ее придумал Ангел. Хотя, могло статься, что под вдохновенное дирижирование окольцованных рук Стервятника, они закрыли бы глаза, открыли рты, и беззвучное пение длилось бы и длилось, довело бы их до экстаза... а он бы не знал, как на него реагировать.

Ральф остановился, глядя на стену.

По ней тянулась цепочка неряшливых следов черного цвета. Он шла снизу вверх и переходила на потолок, откуда спускалась по противоположной стене. Кто-то долго трудился, создавая след «человека-

мухи». А может, этот кто-то научился ходить по потолку.

Фазан в четвертой. Крестник Сфинкса. Это Ральфу ничего не говорило. Фазанов он знал плохо. Волк и Помпей. На Волке у Стервятника заболела нога. Помпей... Прыгнул в яму, которую вырыл сам... Допустил ошибку? Быть может, нарушил Закон? Сплошные загадки. Но большего Ральф требовать не мог. Стервятник не был стукачом. Он сообщал лишь то, о чем Ральф узнал бы и так. От того же Акулы. Но сказанное Стервятником было важнее. В отличие от Акулы, он знал, о чем говорил. И давал шанс разгадать свои слова.

Стервятник был его союзником, единственным на весь Дом. Это было все, что могла сделать Большая Птица в благодарность за ночь, проведенную в комнате Ральфа два года назад. Ночь, прелюдией к которой стала попытка Стервятника изгрызть лазаретные стены и съесть его обитателей. Ночь, которая должна была закончиться в сумасшедшем доме. Ральфу в память о ней осталось окровавленное полотенце, которым он порвал Стервятнику рот, затыкая его вой. Он был слишком занят, чтобы думать о чем-то, кроме сохранности своих рук, но когда в открытые окна на вой Стервятника отозвалась третья, сообразил, что это поминальный плач, впервые в истории Дома прозвучавший при воспитателе. Полотенце и покусанная обивка дивана. Следы зубов Птицы. Когда Стервятник заплакал, Ральф его отпустил. Остаток ночи тот рыдал, уткнувшись горбатым носом в диванную подушку. Ральф смотрел и ждал. Молча, не делая попыток успокоить.

На рассвете Стервятник встал, опухший и почерневший, дохромал до душа, и простоял под ним до подъемного звонка. А потом ушел. Утро Ральф провел в лазарете с Птицами, разбирая разгром, учиненный Стервятником накануне. Вожак третьей не показывался три дня, а на четвертый явился в столовую в трауре и с тех пор не снимал его. Немногие его качества могли вызвать восхищение, но тех, кому был обязан, он никогда не забывал. Так началась игра «Угадай, что я имел в виду, если ты такой умный», и Ральф знал, что всегда получит подсказку. Пусть непонятную, чем-то похожую на загадки стен, но все таки подсказку. Кроме того, Стервятник был краток и, в отличие от стен, не изъяснялся стихами.

Он назвал Помпея самоубийцей. Помпей вырыл себе яму и прыгнул в нее, получив в результате колотую рану. Не очень похоже на самоубийство. Слишком аллегорично. Еще не стихи, но близко к тому.

С Лордом придется разбираться отдельно. С ним и с его матерью. Которая никогда не взяла бы домой своего слишком взрослого сына. Значит, не домой, а куда-то еще. Интересно, куда?

Самое неприятное, конечно, Волк. Когда речь зашла о его смерти, Птица не дал даже самой туманной подсказки. И именно тогда у него разболелась нога. Случайно? Насколько Ральф знал Стервятника, у того ничего не происходило случайно. А вытерпеть внезапную боль Птица был способен не моргнув и глазом. Волк был из тех, кто менял реальность... Одним из самых сильных. Претендентом. Может, в этом разгадка? Может, Слепой... Но тогда Стервятник бы промолчал.

Но Ральф знал, что все это пустые домыслы. Ведь в четвертой был еще и Сфинкс.

Тусклые лампы выжелтили коридор. Навстречу ковылял Шериф — пестун и запугиватель второй. Та же Крыса, только постарше и покрупнее.

— Ух, ты! — Шериф подмигнул из-под козырька бейсболки и расплылся в улыбке. — Привет, братишка! Какого хрена ты вернулся в это болото?

Ральф на ходу изобразил удивление и радость от встречи с коллегой и задел ладонью его ладонь:

— Соскучился по тебе, наверное.

Шериф разразился всхлипами хохота и исчез в дверях второй, не переставая всхрюкивать. Толстый, как кабель хвост, втянулся за ним, задевая расступившихся Крыс... Крысы хихикали, раскачивались и потирали ладони.

На двери своей комнаты Ральф обнаружил записку, пришпиленную кнопкой: «Я обижен. Мог бы и зайти». Подписи не было, но почерк Акулы он узнал. Сковырнув кнопку, Ральф сунул записку в карман, и пошел к директору.

Акула ждал его в нерабочей части кабинета. Колени выше груди, нос уткнулся в экран телевизора — Акула утопал в низеньком кресле с обивкой в сине-желтый цветочек. Покосившись на Ральфа пятнистым глазом, он ткнул в соседнее кресло:

— С приездом.

Ральф сел, сразу провалившись по грудь. Вид Акулы красноречиво свидетельствовал о скором окончании его рабочего дня.

— Я сейчас отчаливаю, — подтвердил Акула, всосал прозрачную жидкость из стакана, игнорируя соломинку, и уставился на Ральфа. — Незачем здесь торчать до конца уроков. В этом нет ни малейшего смысла. Вот ты видишь смысл? Я нет. И никто не видит. Но почему-то так принято я должен тут торчать до полного изнеможения, хотя абсолютно никому не

нужен. Никто не постучит, не зайдет, ни о чем не спросит. Никогда. Но ты сиди. В этом и заключаются обязанности директора. Я торчу здесь, как пень, с восьми до четырех и не могу даже снять галстук, потому что мало ли что вдруг приключится! Я должен быть готов. Если кто-то думает, что мне легко, он заблуждается. Мне совсем не легко. С приездом, дорогой коллега. Ты с годами не меняешься. Моложавый.

Ральф удивился:

— Пять месяцев уже считаются годами?

— Считаются, — подтвердил Акула. — В тяжелых боевых условиях месяц идет за год. В общей сложности ты прогулял пять лет и, конечно, можешь считать себя уволенным. Я тебя не упрекаю. Просто подвожу итоги.

— Спасибо. — Ральф смотрел на экран.

Акула не любил, когда его игнорировали. Он потянулся за пультом. Экран погас, и Ральф развернул кресло в сторону директора. Директорский палец качался на уровне переносицы:

— Какой тебе полагался отпуск? Двухмесячный. Двух, а не пяти. Ты уволен. И уже давно. Но, — палец совершил вращательное движение, — я тебя прощаю. Почему? Потому что я хорошо к тебе отношусь. Я понимаю, почему ты слинял. А почему я это понимаю? Потому, что я чуткий, понимающий человек...

Ральф расслабился и вытянул ноги. Слушать безумные речи Акулы входило в обязанности воспитателей, и для каждого давно стало делом привычки. Он думал о Волке. О Помпее. О «яме». Чем же была на самом деле эта «яма», которую, по утверждению Стервятника, Помпей вырыл себе сам? Что имела в виду Большая Птица? О Помпее думалось легче, чем о Волке. О Волке думать не хотелось.

— А кто поймет меня? Никто. Я одинокий, всеми покинутый человек. Мой подчиненный возвращается после полугодового отсутствия — и даже не заходит поздороваться. Я пишу ему записки! «Приходи!» — пишу я. И только тогда он приходит. Каким словом все это обозначить? Только одним. Дерьмо! Все вокруг — это самое дерьмо.

— Извини, — вставил Ральф. — Я бы и без записки зашел.

— Когда? — Пятнистые глаза Акулы негодуя вспыхнули. — Завтра? Послезавтра? Я требую уважительного отношения. Или убирайтесь все к чертям. Я здесь хозяин! Так или не так? — Директор замолчал, тяжело вздыхая в стакан.

Ральф украдкой посмотрел на часы. До конца последнего урока оставалось меньше двадцати минут, а ему хотелось успеть в шестую до

того, как Псы разбегутся по всему Дому. Значит, сразу после ухода учителя.

— Ты, — Акула поставил стакан на пол и понуро обвис в кресле, — самый стоящий воспитатель в этой дыре... Все бросил и сбежал на Большую Землю. Оставил нас на порезание и сбежал.

— Никто никого не собирается резать.

— Это ты так говоришь, — скрипучий голос Акулы будто засыпал уши мягким песком. — Только ты так говоришь. — Он понюхал свою ладонь и нахмурился.

Ральф терпеливо ждал. Директор не был пьян. Он пребывал в состоянии, которое некорректные воспитатели называли «месячными». Сейчас с ним не имело смысла спорить.

— Я очень болен, — сообщил вдруг Акула, пристально глядя Ральфу в глаза. — Никто не верит, но скоро все убедятся.

Ральф изобразил озабоченность:

— Что за болезнь?

— Рак, — мрачно сказал Акула. — Так я полагаю.

— Надо провериться. Это серьезно.

— Не надо. Лучше оставаться в неведении. Если меня убьют, я избежну долгой и мучительной смерти. Это утешает. Но совсем чуть-чуть.

— Убить тоже можно по-разному.

Акула вздрогнул.

— Да уж. А еще можно наговорить больному человеку гадостей, вместо того, чтобы попытаться его утешить.

Акула посидел с видом умирающего, потом взглянул на часы и нервно закопошился.

— Ох... Сегодня ведь футбол. Черт! Совсем из головы вон! — он вскочил и оглядел кабинет. — Все выключено. Остался свет. И дверь. — Пошарил по карманам. — Пообедаешь со мной?

— Нет. Очень устал с дороги. Пожалуй, лягу спать.

Взяв протянутые ему ключи, Ральф погасил свет. Акула любовался им с порога.

— Хорошо, что ты вернулся. Завтра с утра начнем вводить в курс дел. Этот пятимесячный отпуск тебе еще выйдет боком.

— Не сомневаюсь.

Заперев дверь, Ральф передал связку директору. Тот начал ей побрякивать, выискивая ключ от своей спальни.

— Почему Лорда забрала мать? — спросил Ральф.

— Уже знаешь, — восхитился Акула. — Как всегда. Только приехал — а уже все знаешь. Я всегда говорил, что ты не совсем нормальный. В

хорошем смысле, конечно.

— Почему она его забрала?

Акула наконец нашел ключ и тщательно отделил его от связки, чтобы не перепутать с другими.

— Потеряла доверие. Мы плохо приглядывали за ее парнем. Так она выразилась. Что ему вреден здешний климат. Красивая женщина. С ней трудно спорить. Я и не пытался.

— Она его домой взяла?

— Не знаю. Это не мое дело. Я не спрашивал.

— Она могла поменять школу... Если ее не устраивала здешняя.

Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк на ушедшего на пенсию и потерявшего форму моряка.

— Расслабился, — констатировал он. — Обленился! А я-то ставлю тебя в пример молодым.

Не переставая ворчать, он поднялся по лестнице. Ральф постоял на площадке, глядя ему вслед, и вернулся в коридор.

В шестой никогда не бывало тихо. Даже когда все молчали, ухо улавливало еле слышное гудение, похожее на работу спрятанного в стене мотора. Тот самый невидимый пчелиный рой...

Он вошел, и голоса смолкли. Псы загасили плевками сигареты в ладонях, попадали с подоконников, откатились к стульям и попробовали включить тишину. Тогда он услышал застенный гул: шепот их мыслей, не выключавшийся никогда — их было слишком много. Песню шестой комнаты. Они были ярко одеты — не как Крысы, но близко к тому — цепляли глаз всплесками алых рубашек и изумрудных свитеров, но стены класса сочились тускло-серым пластилином, замыкая их в непроницаемый прямоугольник, не пропускавший воздуха, и окна казались приклеенными к этой серой массе картинками.

Закрыв за собой дверь, он сразу почувствовал, что в этом вакууме трудно дышать и двигаться, что потолок нависает слишком низко, а стены смыкаются, сливаясь с полом и потолком и давят резиновой серостью... в которой можно увязнуть, как насекомое, и когда войдет кто-нибудь другой, ты уже будешь ее частью, росписью, неразличимой среди других каракулей, мертвым экспонатом шестой.

— Я хочу поговорить с новым вожаком, — сказал он. Подождал, пока стихнет кашель подавившихся дымом и добавил:

— Или с тем, кто себя им считает.

Они завозились, опуская глаза. Все в ошейниках — настоящих и самодельных, кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером. Он понял прежде, чем услышал ответ. Вожака отсутствует. Только вожака в шестой был избавлен от необходимости носить знак своей принадлежности к стае, только вожака мог ходить с голой шеей. Конечно, ошейник мог быть маскировкой — прятать вожака, не желавшего себя выставлять. Но никто из Псов даже мимолетно не посмотрел на другого, ни на ком не сконцентрировалось общее внимание. Человека, который занял место покойного Помпея, среди них не было.

Они вжимали головы в плечи и рассматривали свои ладони, словно стыдясь чего-то. Того, что среди них не нашлось никого, кто мог бы стать главным? Своей обезглавленности? Своей потери?

— Вожака нет, — сказал кто-то из задних рядов. — Еще не выбрали.

— Когда умер Помпей? — спросил Ральф.

— Месяц назад, — ответил длиннолицый очкарик Лавр. — Чуть меньше месяца.

— И до сих пор не выбрали?

Псы пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую, но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать:

Желтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень пола, разрисованного кругами, крик... Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь... и тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым, обесцвечивая их и стирая. Он увидел достаточно, чтобы понять что бы ни случилось с Помпеем, Псы при этом присутствовали, и воспоминание об увиденном, обсосанное до горечи на языках, не давало им покоя. В нем таились их боль и страх перед кем-то, о ком он пока не имел понятия. Они были слишком закрыты, слишком сопротивлялись его попыткам понять что-то еще.

Стаи строились по принципу лестниц. Каждая ступенька — живая душа. Ломалась самая верхняя — первой становилась предыдущая. На месте обезглавленной пирамиды тут же вырастала новая верхушка. Так было всегда и у всех, кроме Фазанов. В каждой стае был не только свой первый, но и свой второй. Даже у Птиц, хотя Стервятника отделяло от стаи огромное расстояние — не меньше, чем в семнадцать пустых перекладин — имелся Дракон, готовый, если с вожаком что-то случится, занять его место. Порядок нарушался только в случае свержения вожака кем-то из стоявших много ниже. Но тогда этот нижний занимал верхнее место. То,

что в шестой не случилось ни того, ни другого, указывало на третий вариант. Явно не имевший ничего общего ни с первыми двумя, ни с чем-либо из того, что могло прийти в голову Ральфу. Интересно при чем здесь спортзал?

— Странно, — сказал он. И задумался.

Он понял как надолго, только увидев, что за окнами стемнело, а стая изнемогает от его присутствия. Самые нервные кусали ногти и корчили гримасы, колясники тихо копошились, сблизив землистые лица, гудение в стенах давало сбои. Все вокруг стало серым. Шестая увязла в своей защите, и все они стали похожи на утопающих — или давно утонувших — в грязном аквариуме, не чищенном миллион лет.

Ральф вышел, ничего не сказав. Облегченный стон шестой слился со стуком двери, которая тут же снова приоткрылась, и в щель просунулось бледное лицо Лога Москита, отслеживавшего его маршрут.

Между классом и спальнями шестой Ральф шел медленно, изучая стены. Сдирая, как шелуху, свежие надписи, обнажая спрятавшиеся под ними старые, полустертые, еле заметные глазу. Собачьи головы в ошейниках. Призывы «членам судейской коллегии» собраться во дворе субботним вечером. Он прищурился. Вот оно. Кошка с человеческой головой, перечеркнутая красным. Черный треугольник с пробитой в нем дыркой. Спираль с глазом внутри, испещренная зазубринами. Все старое. Не меньше, чем месячной давности. Он посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Значения этих символов он читал, как собственную кличку. Кошка — Сфинкс. Треугольник — Черный. Спираль с глазом — Слепой. Все три знака использовались как мишени. Случайности тут быть не могло.

Слепой сидел на корточках под его дверью, выводя пальцем на паркете невидимые круги. Длинные черные волосы падали на лицо. Из дырок на джинсах торчали колени. На звук шагов он поднял голову — тощий, с бесцветными глазами, безликий и безвозрастный, как бродяга, не помнящий даты своего рожденья. Вставая, стремительно помолодел, а навстречу Ральфу выпрямился совсем мальчишкой. В сумраке коридора любой, кроме Ральфа, счел бы это обманом зрения, наваждением, которое рассеялось, стоило к нему приблизиться.

— Здравствуй, — сказал Ральф, открывая дверь.

— Здравствуйте.

Ральф пропустил его вперед и вошел следом.

Слепой замер в дверях. Ральф ощутил невольное желание взять его за

руку и подвести к стулу или к дивану. Слепой, беспомощный на чужой территории, свитер велик, рукава сползают до самых пальцев, и эти дырки на коленях... Он прикрыл глаза, стряхивая навязанный ему образ. Идиот! Перед тобой хозяин Дома! Ральф подошел к окну, бросив через плечо:

— Садись.

В ту же секунду он обернулся, сам не зная, что ожидает увидеть: поиск, беспомощность, нашаривание в пустоте осязаемых предметов, или наоборот, уверенность, стремительность и быстроту. Ральф не удивился бы, если бы Слепой не двинулся с места или, запинаясь, попросил его о помощи. Но Слепой сел там, где стоял — у порога — скрестив ноги и спрятав ладони под мышки.

— Так мне тебя не видно, — сказал Ральф, вороша разложенные на диване вещи в поисках сигарет. — Только пробор. Сколько волос попадает к тебе в тарелку с каждым обедом?

— Я не считал, — отозвался Слепой. — Это важно?

— Это неопратно. — Ральф нашел сигареты, закурил, и сел на диван.

Курил он молча, давая Слепому время освоиться. Или понервничать. Слепой сидел неподвижно, и видно было, что сидеть он так может до бесконечности. Давай поиграем в эту игру... Единственное, что мешало Ральфу — сигарета, в остальном он окаменел настолько же, насколько и Слепой. Только пепел, нараставший на кончике его сигареты, мешал исчезнуть окончательно. Слепому не мешал никакой пепел. Болотного цвета свитер, сквозь вязку которого просвечивала кожа, обернулся высохшей чешуей, глаза прикрыли синеватые веки. Слепой исчез, и Ральфу почудилось, что он сидит перед застывшей рептилией, которая, при желании, вполне могла оказаться сучком причудливой формы, или даже тенью от сучка. Чем бы это ни было, оставаться в неподвижности оно умело очень долго. У Ральфа никогда не хватало терпения выяснить насколько.

— Расскажи, что случилось с Волком. И как это произошло.

Слепой, немедленно восстановил облик мальчишки и с готовностью подался вперед:

— Он не проснулся. Никто не знает почему.

Ральф посмотрел на свою сигарету, вернее, на фильтр, чудом удерживавший столбик пепла.

— И это все? Еще раз, пожалуйста. Подробнее.

Слепой покачал головой:

— Мы спали, — сказал он. — Утром все проснулись, а он нет. Накануне он вел себя, как обычно, и ни на что не жаловался.

Ральф попробовал представить.

Слепой не врал, но неправильность в его словах была сродни лжи. Ральф достаточно хорошо знал о связи, существовавшей между ними — это было то, что делало их стаями, то, что пригнала третью к дверям лазарета, когда умер Тень. Почему именно в тот вечер и в тот час они пришли туда все, даже тупоголовые Логи? Было ли это похоже на звон колокола, слышный только им? Он видел такое не раз скорчившиеся тени у стен Могильника не курили и не разговаривали, просто сидели неподвижно. Это не было прощанием, скорее, участием в том, что происходило там, куда они не могли попасть. Могли ли они, чующие смерть сквозь стены, не услышать ее в своей спальне? Не проснуться, когда умирал один из них?

— В двух шагах от вас умирал человек, и вы ничего не почувствовали? Вас ничто не встревожило?

— Там не было и двух шагов, — возразил Слепой. — И мы бы не спали, если бы что-то почувствовали.

— Понятно. — Ральф встал. — Как ты думаешь, зачем я позвал тебя? Любой из твоей группы мог бы рассказать мне то же самое. Если собираешься продолжать в том же духе, дверь у тебя за спиной.

Слепой сгорбился сильнее:

— Как я должен говорить? В каком духе? Что вы хотите услышать?

— Я хочу услышать, что ты, вожак, можешь сказать о члене твоей стаи, который однажды не проснулся. Если я не ошибаюсь, именно ты отвечаешь за то, что бы они просыпались по утрам.

— Сильно сказано, — прошептал Слепой. — Я не могу отвечать за все, что с ними может произойти.

— Знать, отчего это произошло, ты тоже не обязан?

Слепой промолчал. Ральф встал с дивана. Стоило ему приблизиться, как в позе Слепого появилась обманчивая расслабленность. Знакомая реакция. Милые детки Дома... Именно так многие из них реагируют на приближение опасности. И именно тогда с ними надо быть настороже. Слепой расслабился, но глаза — капли воды, удерживаемые ресницами на бледной коже — замерзли, превратившись в лед. Стылый, змеиный взгляд. Слепой не умел его прятать.

— Если хочешь выглядеть безобидно, носи очки, — неожиданно для себя посоветовал Ральф.

— Это нервирует стаю, — с сожалением ответил Слепой. — Особенно Сфинкса. Не могу с ним не считаться.

— А что он думает о смерти Волка?

— Он старается о ней не думать.

— Если я не ошибаюсь, он был очень привязан к нему?

Слепой неприятно засмеялся:

— Как вы странно говорите... Привязан. Чем-то вроде стального троса, толщиной с меня.

— Куда же этот трос делся в ту ночь?

— Не знаю. И не собираюсь об этом спрашивать.

— У тебя крепкий сон? Ты не проснешься, если рядом кто-то застонет?

По лицу Слепого скользнула злость — и тут же исчезла.

— Я проснусь, даже если рядом пискнет мышь. Волк не стонал. Он вообще не издавал никаких звуков. Он сам не успел понять...

— Ах, вот как! — выпрямился Ральф. — Интересно ты заговорил. Откуда тебе знать, что он успел и чего не успел? Ведь, когда это произошло, вы всей стаей дружно спали.

— Я знаю. Он тоже спал. Иначе его лицо не было бы таким спокойным. Страх разбудил бы нас. Это, наверное, была самая спокойная смерть за всю историю Дома.

— Если бы на месте Волка был Сфинкс, а я рассказал бы тебе о его смерти теми же словами, какими ты рассказал мне сейчас о Волке, ты удовлетворился бы моим объяснением?

Слепой чуть помедлил с ответом.

— Не знаю. Вы слишком многого от меня хотите.

— Ты рад, что он умер?

Этого не следовало говорить — Ральф понял это сразу, как только стало слишком поздно.

— А вам не кажется... — пару секунд Ральфу казалось, что сейчас в него плюнут ядом, — Вам не кажется, что некоторые мои чувства вас не касаются? Что я чувствую, когда умирает кто-то из моей стаи — это мое дело. Вам так не кажется?

Слепой вдруг закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, что было слышно только ему и резко сменил тон:

— Простите. Я не хотел вас обидеть. Если вы спрашиваете, значит вам это нужно. — И заставляя себя — Ральф уловил эту заданность, принуждение, словно Слепой вдруг решил перед ним раздеться — добавил:

— Я не был рад. Но никого другого я бы на него не обменял. Ни одного из них. Если вас это интересует. Если, говоря о моей радости, вы это имели в виду. Я непричастен к его смерти, если вы имели в виду это. А если вы имели в виду мою к нему нелюбовь — то это правда. Я не любил

его. Как и он меня. Иногда мне и в самом деле казалось, что я бы обрадовался, если...

— Хватит! — перебил его Ральф. — Извини. Я был нетактичен.

Слепой обнимал себя за плечи. Глядя на него, Ральф не мог отделаться от ощущения, что видит заживо содранную кожу, распоротую оболочку защитного панциря. Чем бы это ни было на самом деле, Слепой сотворил это с собой сам.

— Ладно, — сказал Ральф. — Твоя откровенность хуже молчания. Если я спрошу тебя о Помпее, ты, конечно, скажешь, что не вправе говорить о делах шестой?

Слепой кивнул:

— Так и есть.

— И отчего умер Помпей, тоже не имеешь понятия.

— Имею. Но сказать не могу.

Ральф вздохнул:

— Хорошо. Как ты думаешь, зачем я вызываю к себе вожakov, когда хочу что-то выяснить? Чтобы послушать, как они отделяются от меня общими фразами? Ты свободен. Можешь идти.

Слепой встал:

— Вы забыли спросить еще об одном человеке.

— Я не забыл. Просто, мне не нравится наш разговор. И я не хочу его продолжать. Уходи.

Слепой не ушел. На его лице появилось выражение озабоченности, как будто ему предстояло решить непосильную задачу, с которой он не надеялся справиться.

«Вот», — с облегчением подумал Ральф. — «Это будет просьба. Сейчас я узнаю, ради чего Слепой способен вылезти из собственной шкуры».

— О чем ты хочешь попросить?

— О Лорде. Узнайте о нем что-нибудь. Уже месяц, как его забрали, и мы ничего не знаем. Где он, и как ему живется.

Ральф молчал, скрывая недоумение. Замазанные клички на стенах, розданные вещи, поминальный плач — это он видел и слышал, об этом он знал. Покинувшие Дом были частью этого знания, одной из тех деталей, в которых он не сомневался. Просьба Слепого — о том, кто должен был перестать для них существовать с той минуты, как его увезли из Дома — отметала это знание.

Слепой терпеливо ждал. Сигарета обожгла Ральфу пальцы.

— Ты свободен, — повторил он. — Можешь идти.

— Как насчет Лорда?

— Я сказал, что ты можешь идти.

Лицо Слепого застыло. Он отворил дверь и исчез. Ральф не услышал ничего. Слепой ходил бесшумно.

Ральф стоял, глядя на застекленное окошко в двери. Буква «Р», перевернутая задом наперед, почти невидимая, просачивалась в комнату, запугивая и предупреждая, напоминая о том, что он — всего лишь часть Дома.

Может, для этого я и вернулся. Чтобы узнать об одном из них, оказавшемся там, куда им нет доступа. Чтобы принести им ответ... Они ждали меня...

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

День первый

И умом не Сократ и лицом не Парис, —
Отзывался о нем Балабон. —
Но зато не боится он Снарков и Крыс
Крепок волей и духом силен.
Льюис Кэрролл «Охота на Снарка»
Пер. Г. Кружкова

Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесьи сейчас, больше любого где-то и потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал, люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бобах, на чечевице и по «Книге Перемен». В фильмах и в книгах люблю жаркие страны, а в жизни — дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего. И весенний, и летний, и осенний. Любой и всегда. Люблю по сто раз перечитывать прочитанное. Люблю звуки гармошки, когда играю я сам. Люблю, когда много карманов, когда одежда такая заношенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что

можно снять. Люблю защитные обереги, такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало. Люблю намазать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее отдирать. Люблю солнечные очки. Маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицератторов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы-морковки, потайные ходы, схемы эвакуации из здания при пожарной тревоге; люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет, люблю иногда завопить так, чтоб всем стало плохо, люблю во сне закинуть на кого-нибудь, лежащего рядом, руку или ногу, люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду, хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях, люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно, люблю быть горячо любимым и последней надеждой окружающих, люблю свои руки — они красивые — люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком, люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и подсоединять, а потом удивляться, что оно работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи, люблю лечить друзей от икоты испугом. Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно.

А не люблю я часы.

Любые.

По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду.

Сегодня в Дом вернулся Ральф. Человек-загадка, своего рода реликт. Единственный свидетель былых эпох среди воспитателей. Не сказать, чтобы мы по нему ужасно скучали, но все-таки с ним как-то интереснее, чем без него. Прибывшие в Дом в последние три года трогательно его боятся, что создает неповторимую атмосферу, когда он ходит по коридорам. Атмосферу трепета. Да чего там мелочиться. Это наш Дарт Вейдер. Весь в черном, страшный и непостижимый, только без хрипучего шлема. Не успел он вернуться, как жить стало веселее.

Новость принес, конечно, Лэри. К последнему уроку. Мы не успели ничего обсудить — урок как раз начался — пришлось тихо переваривать ее до звонка. Зато потом началось. Каждые пять минут в класс заскакивал кто-

то с очередным донесением о том, куда переместился Р Первый. Я предложил повесить на стену карту Дома и отмечать его маршрут флажками, но никто не вызвался помочь в составлении карты, а чертить ее в одиночку — совсем не просто, уж я-то знаю. Жаль, конечно. Ральфа бы такое внимание к себе приятно поразило. Я был уверен, что в связи со своим возвращением он пребывает в депрессии, так что небольшое подбадривание пошло бы ему на пользу.

Возвращение это было чем-то само собой разумеющимся, но разумелось оно уже так давно, что все успели к этому привыкнуть, и когда Ральф все-таки вернулся, испытали легкое потрясение. Для нас возвращение Ральфа означало, что теперь есть кому навести справки о Лорде. Так что, получалось, он вернулся как нельзя более кстати.

— Ага, — сказал по этому поводу Сфинкс. Это было такое многозначительное «ага», что я страшно пожалел, что не сам его произнес.

Чуть погодя стало ясно, что одним «ага» тут не обойтись. Что надо как-то донести это «ага» до Ральфа.

Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающе. Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто. Сфинкс говорит, что идти должен Слепой, и с этим соглашаются все, кроме Слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в Слепом. В его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая, оказывается, не в состоянии этого оценить. На худой конец сгодился бы и Толстый — бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего — но они не хотят и Толстого. А ведь какой был бы тонкий ход! Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете.

Большинством голосов мы избираем Слепого.

Между тем, возвращается Лэри с последними новостями. О том, что Р Первый посетил шестую. Что он и сейчас там, и в шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех Псов скопом?

Еду проверить.

В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей шестой пробка из подслушивающих. Облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня

чуть не сшибают с Мустанга галопирующие от шестой Лэри и Конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцеливают с заливистым ржанием, даже не заметив, что споткнулись. Тем более не заметив, обо что.

Возвращаюсь, как раз к проводам Слепого. Нехотя, с кислым лицом, он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют, но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом. И если бы не бодрое сфинксово «ага», еще не стершееся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища.

Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу. Потому что, глядя вслед Слепому, он говорит:

— Может, стоило все же послать Нанетту?

— Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет? — уточняет Сфинкс.

Я говорю, что еще неизвестно, что там вытворит Слепой.

— У Слепого развитое чувство долга, — отвечает мне Сфинкс.

Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить.

Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти и на душе все поганее. С изъятием Лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре Курильщика его бы не спасли. Эмоции Лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство.

Не заплзи на его плед, не дыхни на его подушку, не пукни у него под ухом! И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение — и полетят во все стороны книги, подушки и перья! И смотреть, как пугается Курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как Лорд, у нас нет.

Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песни ожидания — самые унылые из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят.

Когда становится совсем неумогу, убираю гармошку, и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонируют законы Кармы. «Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующей сам станет ослом». Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее: кого же в прошлой жизни обидел ты?

На некоторое время сказки отвлекают, потом я опять начинаю

нервничать. Кто Лорд Ральфу? Никто. Особенно теперь. Станет ли Р Первый утруждать себя его поисками, только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если Лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух, так что к тому времени, когда Слепой наконец возвращается, все готовы к худшему, и это целиком моя заслуга.

— Бестолку, — говорит Слепой, облачаясь о спинку кровати. — Он вообще никак не отреагировал.

И все. Дальше нам предоставляется утешительная возможность рассматривать Слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и Курильщика, который, как ему кажется, незаметно, отползает от него подальше. Лаконичность Слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить.

Тогда мы переводим взгляды на Сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно.

— О чем вы говорили? — спрашивает он.

— Клещами, клещами! — шепчу я ему. — И скальпелем!

Слепой завешивается волосами и уходит в себя.

— О Волке, — глухо звучит из-под волос.

— А еще о чем?

— Только о Волке.

И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно! С имитацией голосов! Сколько бы времени ни прошло!

— А о Лорде?

— О Лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить.

— И?

— И ни хрена, — Слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок.

— Кажется, он меня не расслышал.

— Хороший знак! — радуется Сфинкс.

Мы с Горбачом переглядываемся. Лэри скашивает глаза к переносице, что в его случае означает усиленную работу мысли. Даже Македонский выглядит озадаченным.

Сфинкс вздыхает.

— У Ральфа не бывает, чтобы он чего-то не расслышал, — объясняет он. — Значит, то, что сказал Слепой, ему не понравилось. А почему? Безобидная просьба. Но чтобы узнать, как Лорд себя чувствует, к нему надо попасть. То есть куда-то поехать, что-то кому-то доказывать и добиваться

встречи. Ни одного воспитателя такая перспектива не обрадует. С другой стороны, если бы он не собирался ничего делать, так бы и сказал. Ральф не из тех, кто не умеет отказывать. Поэтому то, что он этого не сделал, хороший знак.

Мы с Горбачом переглядываемся по второму кругу, на этот раз самодовольно. Лэри скребет подбородок и говорит:

— Вот только непонятно...

Что ему непонятно, остается тайной. Мы выжидаем минуты три, но Лэри только чешется и вздыхает, так что конце концов мы о нем забываем и возвращаемся к повседневным делам.

По какому-то непонятному поводу, а может, и вовсе без повода, именно сегодня Черный решил напиться. В спальне он появляется уже осуществив это намерение, пьяный в дым, так что протестовать бессмысленно. Разные люди в нетрезвом виде ведут себя по-разному. Черный делается неприятен. Его и в трезвом виде не назовешь душкой, а пьяный он из числа агрессивных. Так что он слоняется по комнате, как испорченный Терминатор, пытаюсь затеять с кем-нибудь драку. Пытается и пытается и все не теряет надежды, пока не раздастся обеденный звонок. За обедом он продолжает свои попытки, но до того неуклюже, что больно смотреть. Сочувствие своему гнусному состоянию он встречает только у Курильщика, и то непонятно почему.

ПРОБЛЕМЫ ТЛЕЙ И НЕОБУЧЕННЫХ БУЛЬТЕРЬЕРОВ

Инструкция по выживанию колясника в быту Пункт 1: Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуаций, когда она упоминается:

- А) вне связи с говорящим;
- В) вне связи с собеседником;
- С) вне связи с кем-либо из общих знакомых.

Не приветствуются упоминания наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе — легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми-состайниками.

«Блюм» № 7, РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА

— Вы ведь живете взаперти. В замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения.

— Извращения? — Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами. — Что ты имеешь в виду?

Курильщик колеблется.

— Так... разное...

— Выскажись, — предлагает ему Сфинкс. — Извращения — это неслабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имел в виду.

Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него Горбач. Вокруг ворота и манжет — стеклянные бусины со зрачками, какие носят от сглаза.

— Ты понимаешь, — говорит он, поднимая взгляд на Сфинкса. — Прекрасно понимаешь.

— Допустим, что да. Допустим, мне просто хочется, чтобы ты подтвердил мои догадки.

Курильщик отводит взгляд:

— Я имел в виду ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны... извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми. Даже... даже

когда они плохо кончаются.

— Ты опять о Помпее? — морщится Сфинкс.

— И о нем тоже. Но не только, — торопливо добавляет Курильщик. — Это мог быть и не Помпей. Но хорошо, пусть будет он. Тебе не кажется, что это слишком — зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым? В этом маленьком, затхлом мирке... пожалуйста, Сфинкс, не смотри на меня так! Ведь я прав! Никакое вожачество того не стоит.

Они одни в опустевшей столовой. Стулья отодвинуты от заставленных грязными тарелками столов, скатерти пестрят соусными пятнами и хлебными крошками. Дверь в коридор приоткрыта.

Сфинкс, раскачивается, откинувшись на спинку стула.

— Пойми, Курильщик, — говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника. — То, что для тебя ничего не значит, для кого-то — все. Почему ты не можешь в это поверить?

— Потому что это неправильно! — чуть не кричит Курильщик. — Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза! Чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!

В проеме кухонной двери появляется пожилая женщина и смотрит на них, поджав губы.

Сфинкс перестает раскачиваться на стуле, придвигается вместе с ним к столу и аккуратно опускает зажатый в зубах окуроч на край тарелки.

— Это вопрос свободы, — говорит он. — О которой можно спорить бесконечно с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот скажи, к примеру, кто свободнее, бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?

Курильщик не отрывает взгляд от дотлевающего на тарелке окуроча.

— Дурацкий пример. Оба не обладают разумом. Мы говорим о людях.

— Это слон-то не обладает? — удивляется Сфинкс. — Ладно. Пусть так. Оставим животный мир. Можешь, кстати, загасить мою сигарету, если она так тебя нервирует. Возьмем заключенного и президента...

Курильщик морщится:

— Не надо! Умоляю, только не доказывай мне, что узник более свободен. Это все слова. Если тебе хочется отождествлять себя с преступником или с тлей...

— Я просто пытаюсь объяснить... — Сфинкс смотрит через плечо Курильщика на кухонную дверь, из которой только что вышла судомойка, решительно толкающая перед собой столик на колесах. — Но, кажется, я зря сотрясаю воздух. Ты меня не слушаешь. Каждый сам выбирает себе Дом. Мы делаем его интересным или скучным, а потом уже он меняет нас.

Ты можешь согласиться со мной, а можешь не соглашаться. Это тоже будет в своем роде выбор.

— Ничего я не выбирал! — возмущается Курильщик. — Все выбрали за меня. Еще до того, как я сюда попал! Выбрали группу, а значит, сделали меня Фазаном. Моего согласия никто не спрашивал! Попади я во вторую, должен был бы приноравливаться к Крысам. К их дурацкому имиджу, который они себе выбрали до меня и без меня. Это ты называешь свободой?

— Ты же так и не сумел стать приличным Фазаном.

— Но я пытался!

— Если бы пытался — стал бы. Ты просто не захотел. И сделал свой выбор.

— Между прочим, это и твоя вина, что я им не стал! — запальчиво восклицает Курильщик. — Это ты испортил мне репутацию.

Сфинкс смеется:

— И ты жалеешь?

— Нет, но... — Курильщик случайно макает локоть в тарелку с остатками обеда и брезгливо от нее отстраняется. — Я не жалею. Но не тебе после всего этого рассуждать о свободе выбора, — невнятно заканчивает он, вытирая рукав салфеткой.

Сфинкс с интересом наблюдает за ним.

— Слушай. Сейчас ты не в первой и не во второй. Что же тебя так мучает? Какую роль вынуждаем играть тебя мы?

— Быть похожим на вас!

— Разве мы так похожи друг на друга?

Курильщик отбрасывает скомканную салфетку.

— Ты даже не замечаешь! Даже не чувствуешь, как вы похожи. От этого просто жуть берет!

Сфинкс смотрит на него с насмешливым удивлением.

— Мы похожи? Ну не скажи. Я вот считаю, что между мной и Черным мало общего. Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой.

Курильщик улыбается:

— Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так?

— Кто это белая ворона? — изумляется Сфинкс. — Уж не Черный ли?

— Он самый. Тот, кто не разделяет ваших взглядов. Нежелательный элемент.

Сфинкс весело хохочет.

— Черный? Не смей меня, Курильщик! Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса.

— С ним всегда можно поговорить о наружности, — возражает Курильщик. — А больше ни с кем.

— Ну да, — соглашается Сфинкс. — Нужна же ему какая-нибудь фишка. Желательно такая, чтобы действовала на нервы окружающим. Но ты не обольщайся. Он здесь с шести лет. Наружность для него — такое же абстрактное понятие, как для Слепого. Он знает ее только по книгам и фильмам.

— Но он ее не боится.

— Он сам тебе сказал?

Сфинкс встает.

— Хватит. Закончим этот разговор. Если бы ты так не заикливался на том, что тебя никто не понимает, может, у тебя хватило бы сил понять других. Если бы ты поменьше общался с Черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратно, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь...

Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит.

Расстроенный Курильщик выезжает следом.

Черный сказал: «Попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался. Но я-то знаю». В тяжких сомнениях — можно ли считать, что Сфинкс вилял? — Курильщик ищет его взглядом. Но Сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу.

Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло.

Сфинкс шагает быстро. На выходе из вестибюля он останавливается и ищет глазами белесое пятно на паркете. Когда-то оно бросалось в глаза. Теперь стерлось. И не заметишь, если не знать, что оно все еще там. Сфинкс прислоняется к стене.

Видел бы ты, Курильщик, что сотворили они, когда пришло их время. Если бы ты это видел, то на весь остаток жизни здесь, заткнулся бы о наружности, о запертых дверях и о скорлупках с цыплятами. Если бы ты только видел...

— Мальчик! — окликает Курильщика угрюмая женщина в переднике. — Пожалуйста, никогда не кури в столовой. И назови свою фамилию. Я сообщу о твоём поведении директору.

Курильщик оборачивается.

Старуха держит двумя пальцами крошечный окурок. Оставленный Сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурок. Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь Дом? Головная боль схватывает клещами.

— Фамилия! — настаивает узкий рот, похожий на щель.

— Раскольников! — кричит ей в ответ Курильщик.

Удовлетворенно кивнув, женщина скрывается в дверях столовой. Курильщик едет дальше, размышляя о том, осмелилась бы она подобным же образом угрожать Сфинксу, и почему ничего не было сказано, пока они сидели там вдвоем.

Проезжая мимо Кофейника, где сидят цепенеющие в клубках дыма Логи, он видит Лэри, машущего ему рукой от стойки, и въезжает внутрь.

— Чего это вы застряли в столовой? О чем секретничали? — Конь ковыряет в ухе заточенным ногтем мизинца.

— Скажи, Лэри, кто, по-твоему, свободнее: бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно какого растения?

Лэри чешет грудь под многочисленными гайками и крестами:

— Откуда я знаю, Курильщик? Наверное, орел, который надо всем этим делом порхает. А зачем тебе?

— Орлы не порхают, — вмешивается Пузырь из третьей. — Они парят. Бороздят небо. Имеют его по-всякому.

— Сам дурак, — огрызается Лэри. — Не знаешь — не говори. Это корабли бороздят моря. И плуги землю.

Логи в черных жилетках дружно вздыхают.

Курильщик едет по коридору. Видит плакат в траурной рамке: «Помянем Ара Гуля, нашего почившего брата. Вечер памяти усопшего. Кл. комната № 1. Стихи, песни, посвящения. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в 1-ую 28 числа в 18:00».

Перед Курильщиком возникает мучнисто-белое лицо с лошадиными зубами и занудный голос, тянущий бесконечную фразу о вреде курения и о болезнях, возникающих в связи с этой вредной привычкой. Всех, кто знал и любил... А кто знал и ненавидел?

Из-за плаката выглядывает тупорылое личико Фазана Нуфа.

— Ты приходи, — говорит он. — Тебя приглашаем отдельно.

Нуф держит плакат за деревянные ручки. Плакат на картонной основе слишком тяжел для него, но он горд данным ему поручением и сияет от счастья.

— Приглашаем, как человека, который его знал. Хотя ты теперь и из другой группы. Можешь сказать о нем речь. Приходи.

— А может, все-таки, «приезжай»? — не удерживается Курильщик.

Личико Нуфа злобно сморщивается.

— Ну и мерзкий же ты тип. Не зря тебя поперли...

Он вскрикивает и роняет плакат. Нагибается и, подхватив его за край, быстро отъезжает. Плакат стучит по паркету болтающимся древком.

Курильщик задумчиво разглядывает свой кулак. На костяшках розовая ссадина. Он облизывает ее.

К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы... афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду... Курильщик начинает смеяться. Очень тихо. Кругом одни пятнышки, тля, покрывает листья, все листья в тле, листья, деревья, леса... Он смеется. Едет дальше. Приходи. На чем? Приди на колесах, но не упоминай об этом...

«Послание», — предупреждает стена. Курильщик останавливается его прочесть.

МАЛЬЧИКИ, НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО В РАЮ НЕТ ДЕРЕВЬЕВ И ШИШЕК.
НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ТАМ ОДНИ ОБЛАКА. ВЕРЬТЕ МНЕ, ВЕДЬ Я СТАРАЯ
ПТИЦА, И МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ СМЕНИЛА ДАВНО, ТАК ДАВНО, ЧТО
УЖЕ И НЕ ПОМНЮ ИХ ЗАПАХ.

Мысленно с вами всегда. Ваш Папа Стервятник.

Деревья, шишки... Старая Птица с зубами — это больше похоже на птеродактиля!

В спальню Курильщик въезжает, истерично хохоча.

— Какой это к черту лист! — кричит он Сфинксу. — Это даже не саванна! Тля, слоны, и зубастые птеродактили! В какой такой саванне их вместе встретишь?

Сфинкс смотрит удивленно. Курильщика вытаскивают из коляски и кладут на кровать. Он смеется все тише, потом просто лежит, рассматривая потолок. Ему на лоб плюхается мокрая тряпка. Пахнущая кофейными лужицами. До меня ей, наверное, вытерли стол.

— Что с тобой, Курильщик?

Он молчит, нюхая тряпку.

— У него осенняя депрессия. Пройдет.

— Или не пройдет.

— Тоска по дому, — вздыхает Шакал. — По родильным стенам. Хотя

я, кажется, неверно выражаюсь.

— Осознал, что он отброс общества, — глубокомысленно изрекает Горбач. — Это было как удар молнии, озаривший всю его жизнь. Бац — и его подкосило.

— Вы нарочно так себя ведете? — спрашивает Курильщик. — Чтобы меня стошнило?

Тряпка сползает ему на нос.

Слепой тренькает на гитаре, свесив волосы на струны.

— Мальчики, не верьте, что в раю... — дружно затягивают Табаки со Сфинксом.

— Нет деревьев и шишек! — хрустально взмывает к потолку голос Горбача.

— Не вееерьтеее!..

Курильщик зажмуривается.

Кровать прогибается под тяжестью опустившегося рядом Черного. Он краснее обычного и тяжело дышит. Он пьян. Курильщика это нервирует.

— Ну, что, я был прав? — спрашивает Черный.

Курильщик садится.

— Не знаю, — говорит он. — Ничего не знаю.

— Прав в чем? — интересуется Табаки. — Кто и в чем был прав?

Черный смотрит на Сфинкса.

— Спорим, вы говорили долго, но он так ничего и не сказал. Он это умеет. Может болтать часами, а потом не вспомнишь о чем, хоть убей.

Курильщик опять ложится. Он надеется, что если лежать неподвижно, голова перестанет болеть. К нему подходит Горбач и трясет гигантским вязаным носком в полоску.

— Эй, Курильщик, здесь будут новогодние подарки. Что бы ты хотел? Надо определиться с этим заранее, может, придется делать заказ Летунам.

— Ходячие ноги, — отвечает за Курильщика Черный. — Влезет в твой праздничный мешок то, что ему по-настоящему нужно?

Горбач хмуро моргает:

— Нет, — говорит он. — Это не влезет, — и отходит.

Курильщик ощущает неловкость. Все смотрят на них с Черным. Не осуждающе, а скорее устало, как будто они до смерти всем надоели. Оба. И хотя Черный только что сделал то же самое, что он сам чуть раньше проделал с Нуфом, Курильщику становится неловко и хочется как-то от этого отмежеваться.

— Не надо, Черный, — просит Курильщик.

— Плевал я на все эти заморочки, — говорит Черный. По тону

чувствуется, что он завелся. — На все эти табу. Об этом нельзя, о том нельзя... Я буду говорить, о чем захочу, ясно? Это последний год ля страусов с упрятанной в песок башкой. Им осталось держать ее там каких-то шесть месяцев, но ты посмотри, Курильщик, ты только посмотри, как они обсираются, когда кто-то осмеливается об этом заговорить!

Гробовая тишина после слов Черного пугает Курильщика, но и вызывает в нем неожиданное злорадство.

Горбач комкает полосатый носок — колючий куст, в котором прячется птица, если только бывают на свете полосатые кусты — и лицо его медленно заливает краска.

Табаки в радужном балахоне застыл столбиком, за щекой непроглоченный кусок.

Слепой — пальцы на струнах гитары, сами как струны — лица не видно...

Сфинкс на спинке кровати, как на насесте, с закрытыми глазами...

— Тот о цыплятах, этот о страусах, — бормочет Сфинкс, не открывая глаз. — Даже метафоры одинаковые.

— Заткнись, пожалуйста, — говорит Черный, тяжело дыша. — Не делай вид, что не обоссался. Ты такой же, как они!

— Да уж не как ты, слава богу, — вздыхает Сфинкс. — Знаешь что, если ты закончил давить нам на психику...

— Ну нет, — пьяно ухмыляется Черный. — Я еще и не начинал. Это было так... вступление. Хотел дать Курильщику на вас полюбоваться. А как вы... — приступ беззвучного смеха мешает ему говорить, — а как вы все дружно сделали стойку, а? С ума сойти!..

Он вытирает выступившие на глазах слезы.

— Что ты пил, Черный? — с ужасом спрашивает Горбач. — Ты как себя вообще чувствуешь?

Табаки делает судорожные глотательные движения, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском булки.

— Прекрасно! — Черный вскакивает, демонстрируя широкую улыбку. — Я прекрасно себя чувствую!

Курильщик немного отодвигается. Черный хватает его за плечо и, обдавая запахом перегара, громко шепчет в ухо:

— Ты видел? Нет, скажи, ты их видел?

— Видел, видел, — морщится Курильщик. Хватка у Черного железная. — Я все видел, Черный. Успокойся, пожалуйста.

— Видел, да? — встряхивает его Черный. — Ты это запомни! Мы еще ими полюбуемся в день выпуска. Вот когда можно будет сдохнуть со смеху!

Курильщику не до смеха. Он вскрикивает, когда Черный усиливает хватку и, шипя от боли, пытается разжать его пальцы.

— Отпусти, Черный! Пожалуйста!

Черный отпускает его, и Курильщик со вздохом облегчения валится на спину.

— Ладно, что там выпуск! В наружности я бы хотел их встретить, вот где! Хоть пару минут полюбоваться. Потому что я их там себе не представляю, не получается у меня, понимаешь? Пробую представить — и не могу.

Черный стоит зажмурившись.

— Может, я перевел бы кого-нибудь через дорогу, — бормочет он.

Слепой, угадав в мечтах Черного себя, усмехается. Горбач вертит пальцем у виска.

— Придержал бы свою собаку, если бы она на кого-то из них набросилась...

Табаки, справившись наконец с застрявшей в горле булочкой, раздражается возмущенным визгом:

— Что еще за собака? Какая-токая собака? Откуда она взялась? Мало того, что ты шляешься где-то в наружности, выискивая бывших составников, и перетаскиваешь их с тротуара на тротуар, так у тебя при этом еще какая-то собака! Она что, натаскана нас отыскивать? Науськанная, да? Дашь ей понюхать заныканные у нас носки, а потом говоришь: «Фас, моя крошка»? Этой поганой, поганой...

— Бультерьерихе, — шепотом подсказывает ему Сфинкс.

— Да! Этой бультерьерихе, этой охотнице за черепами! Этой мерзкой твари! Дерьмо какое!

— Уймись, Табаки, — смеется Слепой. — Он же сказал, что придержит ее. Меня вот угрожают перетащить через дорогу, не спросив согласия — я и то не жалуюсь. Хотя, может, у меня все имущество на этой стороне останется. И мисочка для подаяния, и табличка «Подайте бедному слепому».

— Придержит? — с горящими глазами выкрикивает Табаки. — Придержит? Ха! Да этих булей нипочем не удержать, если им что втемяшилось в их тупую башку. Они же неменяемые! А эта еще будет специально натасканная, представляете?

— Но ведь и Черный у нас не слабак, согласись, — качает головой Сфинкс. — К тому же это будет его псина, его радость и сладкая девочка. Они будут вместе охотиться, вместе завтракать...

— Заткнитесь, придурки! — кричит Черный. — Шуты гороховые!

— Так и вижу, как они прогуливаются по утрам. Он — в сером пальто в клеточку и она — отрада холостяка — в серой попонке. У него в кулаке старый носок Слепого... в пакетике, чтобы запах не выветрился... они вышли на ежедневную охоту...

— Заткнись! Да вы уже обоссались на самом-то деле!

— Еще бы не обоссались, — хмурится Сфинкс. — Мы просто в ужасе, ты уж поверь. От одного вида твоей собаки...

— Этой безбожной уродины, — встречает Табаки.

— Особенно, когда ее не видишь, — не отстает Слепой.

— Эти ее кривые ноги...

— И пиратский прищур...

— И ошейник с шипами... Ой-ой-ой!

— И серая попонка!

— Оставьте мою собаку в покое!

Вопль Черного тонет в общем хохоте. Сфинкс сползает со спинки кровати и валится на пол.

— Кретины! Идиоты!

Черный встряхивает общую кровать, с рычанием переворачивает ее и, путаясь в собственных ногах, выбегает из спальни.

— Шизофреники! Жалкие ублюдки! — доносится из прихожей. Что-то с грохотом падает, отмечая траекторию его бегства.

— Швабра и ведро с грязной водой, — шепчет Македонский, бережно выуживая Курильщика из-под матраса.

Сфинкс раскидывает ногой одеяла и переворачивает подушки:

— Если он убил магнитофон, пусть лучше не возвращается. Я его самого прикончу.

— Как он нас из-за этой ублюдочной собаки! — радостно орет Табаки, ползая среди осколков. — Чуть всех не раздавил! Вот это сила! Вот что я называю — гордый хозяин!

Курильщик держится за голову, с удивлением отмечая, что она отчего-то перестала болеть. Он тоже не сдержал смех, и теперь ему не по себе. Как будто этим он предал Черного. Одинокого, взбешенного Черного, которого так мастерски довели. Интересно, заметил ли он, что Курильщик тоже смеялся?

Горбач и Македонский переворачивают кровать на место и принимаются собирать вещи.

— А вообще-то... — задумчиво говорит Горбач, — вообще-то бультерьеры очень мужественные и преданные животные.

— Кто же спорит? — спрашивает Слепой.

Горбач пожимает плечами:

— Не знаю. Мне как-то показалось, что вы их недолюбливаете.

Табаки раздражается счастливым кудахтаньем.

Магнитофон орет в полную громкость, и Слепой поспешно приглушает звук.

— Уцелел. Повезло Черному.

Сфинкс передергивает плечами, чтобы пиджак сел правильно. На щеке его налипли чайники, ворот рубашки стал коричневым.

Курильщик ощупывает шишку на лбу. Должно быть, от нее и прошла головная боль.

— Кстати, а с чего вы взяли, что снаружи у Черного будет обязательно бультерьер? — спрашивает он Сфинкса.

ДОМ

Интермедия

В Доме было одно место, где Кузнечик любил прятаться. А вторым таким местом был двор после наступления темноты. В этих местах, ему «думалось». Для того они и существовали, особенные места, чтобы в них можно было прятаться — исчезая для других — и думать. Станным образом, места влияли на «думанье».

Двор отдалял от Дома, позволяя взглянуть на него со стороны, чужими глазами. Иногда ему казалось, что это улей. Иногда Дом превращался в игрушку. Картонный, раскрашенный ящик со съемной крышей. Все как настоящее — и фигурки внутри, и мебель, и самые мелкие предметы — но всегда можно заглянуть под крышку и узнать, кто куда переместился. Это игра.

Он играл в эту игру — и в другие, для которых существовали свои «думательные» места. За спинкой большого дивана в холле, где пахло пылью и где ее клочья, похожие на серые тряпки, разлетались от дыхания и просто если пошевелиться. Там было сердце Дома. Через него простукивали шаги и проплывали голоса проходивших, там не было отчужденности и мыслей со стороны, только свои мысли и свои игры, как у сидящего в животе Великана, когда слышишь бурчание, стук огромного сердца и сотрясаешься от его кашля. Живот Великана, темный кинозал, и — чуть-чуть — Слепой, потому что место заставляло слушать неслышные шорохи, угадывать разговоры по обрывкам, а людей по шагам, все в полудреме «думанья», а мысли, приходившие здесь, были тягучими, прозрачными мыслями-невидимками — самыми странными из посещавших его. Чтобы выйти из этой игры он ложился на пол. Надо было лечь, ощутить под собой холодный паркет и холодную кожу диванной спинки; побыв никем, растворенным в пространстве, вновь стать собой, вернуть свое тело и мир вокруг.

Он вытягивал ноги со странным ощущением их длины, силы и спрятанных в них пружин. Сила была везде, но больше всего — в нем самом, и он удивлялся только тому, что она не разрывает его на куски, потому что ей не полагалось уместиться в маленьком теле между стеной и спинкой дивана. Ей полагалось летать ураганным смерчем, закручиваться

спиралью, сметать лампочки с потолка и сворачивать в жгуты ковровые дорожки. Кузнечик, прятаясь в животе Великана, вдруг сам становился Великаном. Потом это уходило, таяло, как в конце концов таяли все игры, но, выбравшись из-под дивана, он еще долго чувствовал себя легким, как пух, маленьким и тонким. Он был Великан, превратившийся в мышь, а великанская сила, уменьшившаяся до размеров ореха, пряталась в жалкий замшевый комок, висевший у него на шее.

Сила была похожа на необъятного джинна, смерчем просочившегося в крошечную бутылку. Эту игру он любил больше всех. Она пахла амулетом, Седым и его комнатой. Все его тайные игры выросли из комнаты Седого, из его заданий, которые кормили амулет Кузнечика, как рука Седого кормила треугольных рыбок в зеленом аквариуме. Он играл в «думальные места», в «гляделки» и в «ловилки» — и все эти игры вышли из комнаты Седого, все они были, как корм-порошок треугольных рыбок, прозрачными и незаметными.

«Гляделки», когда он просто смотрел. Стараясь увидеть больше, чем видят занятые собой и своими делами люди. Оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально. Если им это не нужно. Играя в «гляделки» надо было смотреть не только на кого-то, с кем говоришь, но на все, что в это время творится вокруг, сколько увидишь не поворачивая головы и не бегая глазами по сторонам. Кто где стоит, сидит, и что делает. Где что находится. Что на своем месте, а что передвинуто или исчезло. Игра была скучной как задание и интересной, если играть в нее. Из-за нее болели глаза, а сны заполнялись скачущими вспышками. Но он стал замечать многое, чего не замечал раньше. Войдя в комнату, видел пятна, вмятины на подушках, и передвинутые предметы, следы того, что происходило в его отсутствие. И он знал: если играть в эту игру долго, научишься угадывать каждого, оставившего такой след, как Слепой различал их по дыханию и по запахам, Слепой, с рожденья игравший в «слушалку» и в «запоминалку» — две из четырех доступных ему игр-невидимок.

Кузнечик ждал. Один день из семи принадлежал Седому. Вечерами, в дни фильмов, он творил в полутемной комнате свое волшебство с сигаретным дымом и со словами — усталый, раздражительный старшеклассник в ветхом халате, красноглазый колдун, знавший тайны невидимых игр. Кузнечик подходил к двери, читал, как заклинания, написанные на ней слова: «Не стучать. Не входить». Стучал и входил. И оказывался в душной, прокуренной пещере, где в темноте прятались Сиреневый Грызун и Кусливая Собака, где кто-то бормотал «Весна —

страшное время перемен...», где в свете настольной лампы струился дым, а Седой Колдун говорил: «Ну вот и ты». И опускал амулеты от сглаза в винные лужицы. Амулеты смотрели сквозь вино, рыбы глаза — сквозь стекло аквариума, спина Кузнечика покрывалась мурашками, и страшнее и прекраснее этого не было ничего на свете.

Спустя несколько часов ему, засыпавшему в постели, чудилось, что внутри него живет что-то острое, что-то с каждым приходом к Седому делающееся острее, как будто Седой затачивал это что-то волшебным точильным камнем.

Кузнечик и Горбач смотрели на собак. Горбач отряхивал куртку от грязи и снега. Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые нетерпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-то съедобное.

— Им мало, — сказал Горбач. — Конечно, им этого мало.

— Но это их подкрепляет, — заверил его Кузнечик, — так что они могут искать другую еду.

Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стоял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились завести в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте.

— Дешевка, — сказал он. — Эта машина.

Кузнечик ухаживал за старыми машинами, и он ничего не ответил. Нагнулся посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосуллек не было. Они побрели к крыльцу.

— Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил, — сказал Горбач. — Всегда про них думаю — и нехорошо. А как покормлю, проходит.

— А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают, — невпопад произнес Кузнечик. — Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?

— Это потому, что ты «туманно» смотришь. Говорят тебе, не смотри «туманно». А ты смотришь. Так у тебя и носороги побегут. Как у Красавицы бегают его тени.

— Так больше видно, — вступился Кузнечик за «гляделки». Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача.

Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. «Гляделки» Чумные Дохляки вычислили почти сразу. И невзлюбили. Трудно поддерживать

связный разговор, играя в «гляделки». Как Кузнечик ни старался, у него это пока не получалось.

— Ага, — фыркнул Горбач. — Больше. Конечно. Например, больше черных кошек, которых нет!

— А что за тень бежит у Красавицы? — поинтересовался Кузнечик, неловко меняя тему.

— Его собственная. Но как бы живая. Ты его лучше не спрашивай. Он боится.

Они дошли до крыльца и постучали о ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. Ведьма. Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки.

Ведьма кивнула. С крыши крыльца капало, и капли отскакивали ей на брюки, но она ничего не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела.

— Эй, Кузнечик, — позвала она. — Иди сюда.

Горбач придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к Ведьме. Она бросила сигарету.

— А ты иди, — сказала она Горбачу. — Иди. Он скоро придет.

Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на Кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему:

— Иди. Ты весь мокрый.

Горбач вздохнул. Потянул дверь и вошел в нее пятясь, не отрывая глаз от Кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к Ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в Доме, и к тому же — его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно.

— Садись, поговорим, — сказала Ведьма.

Он сел рядом на сырые перила и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы Ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза.

— Помнишь меня? — спросила она.

— Ты назвала меня Кузнечиком. Ты — моя крестная.

— Да. Пора нам с тобой познакомиться поближе.

Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко. А Ведьма была одета слишком

легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть.

— Ты смелый? — спросила Ведьма.

— Нет, — ответил Кузнечик.

— Жаль, — сказала она. — Очень жаль.

— Мне тоже, — признался Кузнечик. — А почему вы спрашиваете?

Черные глаза Ведьмы смотрели таинственно.

— Знакомлюсь. И давай на ты, хорошо?

Он кивнул.

— Любишь собак? — спросила Ведьма.

— Я люблю Горбача. Он любит собак. Любит кормить их. А я — смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю.

Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено.

— Ты можешь мне помочь, — сказала она. — Если, конечно, хочешь. Если нет, я не обижусь.

Кузнечику капнуло за ворот, и он поежился.

— Как? — спросил он.

Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что Ведьма о них заговорила.

— Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку.

Волосы закрывали ее лицо.

— Ты понимаешь?

Он понял. Ведьма — из людей Мавра. Письма — кому-то из людей Черепа. Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначилась письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она спросила, смелый ли он, поэтому во дворе и вечером, без куртки и без шапки. Наверное, увидела его из окна, и сразу спустилась.

— Я понимаю, — ответил Кузнечик. — Он человек Черепа.

— Да, — сказала Ведьма, — правильно. — Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. — Страшно?

Кузнечик промолчал.

— Мне тоже страшно, — она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него.

— Тебе не обязательно соглашаться, — продолжала она. — Я не стану напускать на тебя порчу. Если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет.

— Да, — сказал Кузнечик.

Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа:

— Спасибо.

Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым. Где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с Горбачом.

— Кто он? — спросил Кузнечик.

Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку.

— А как ты думаешь?

Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей Черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться.

— Я не знаю, — сдался он. — Ты скажи.

Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами. Она тихо рассмеялась.

— Почему ты сразу не сказала? С самого начала? Почему?

— Тсс! Тихо, — ответила она, смеясь. — Только не кричи. Это не так уж важно.

— Почему ты не сказала!

— Чтобы ты не согласился сразу. Чтобы подумал, как следует.

— Я буду счастлив, — прошептал Кузнечик.

Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо.

— Конечно, — сказала она. — Конечно... Но ты все же подумай.

— Где письмо?

Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт.

— Вот. Не потеряй, — Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. — Передашь это своему другу. А у него возьмешь другое — и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной. После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен.

— Какому другу? — удивился Кузнечик, но сразу догадался. — Слепому?

— Да. Постарайся, чтобы вас никто не видел.

— И про Слепого ты не сказала. Почему?

Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высывался.

— Ты проверяла мою смелость, — укоризненно сказал Кузнечик. —

Ты меня проверяла. Но я и так бы согласился.

Ведьма провела ладонью по его лицу:

— Я знаю.

— Потому что ты — Ведьма?

— Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю, — она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь.

— Пошли. Холодно.

Кузнечик было уже не холодно, а жарко.

— Скажи, — произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. — Скажи, а что ты про меня знаешь?

— Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь, — сказала она.

Черный шатер волос и длинные ноги. Звонкий стук подкованных ботинок по ступенькам.

— Правда?

— Конечно. Это сразу видно, — она остановилась. — Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе.

— Да!

Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся.

Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?

В спальне Слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку, с отрешенным видом терзал гитару. На кровати Горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась, и каждый вечер Горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно.

Кузнечик посмотрел на палатку. Внутри кто-то шевелился. Стенки простыни подрагивали. Но входной полог был задернут, и ничего разглядеть было нельзя. Кузнечик облегченно вздохнул. Горбач был у себя и занят, а вовсе не стерег его у двери с расспросами, как он опасался.

Вонючка тоже был занят. Нанизывал на нитку кусочки яблок, которые собирался засушить. На полу валялась заляпанная грязью куртка Горбача.

Волк свесил с подоконника ноги.

— Во дворе не хватает походной кухни, — сказал он. — Для нищенствующих собак. Вы с Горбачом стояли бы в белых колпаках, а собаки — в очереди, каждая с миской в лапах.

— Волк, а по мне видно, каким я стану, когда вырасту?

— Кое-что видно, — удивился Волк. — А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Почему-то захотелось узнать.

— Ты, наверное, будешь высокий. И не толстый.

— А еще покроешься прыщами, — пискнул Вонючка. — Все старшие прыщавые, как земляничные поляны. Будешь прыщавый рыжеватый блондин. С баками. Клочковатыми такими.

— Спасибо, — мрачно сказал Кузнечик. — А каким будешь ты сам?

— Я-то? — Вонючка помахал недонанизанной связкой яблок и закрыл глаза. — Вижу, вижу себя! — пропел он. — Через шесть лет. Красавца-мужчину. Мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают обессиленные к моим ногам. Пачками. Только успевай подбирать их, несчастных...

— Будешь подбирать, не споткнись о свои уши, — предупредил Волк. — А то они подумают, что на них комар упал.

Вонючка оскорблено отвернулся. Палатка Горбача задрожала и оттуда высунулась лохматая голова:

— Волк, меня тошнит от этой книги. Того проткнули мечом, этого проткнули мечом. Сколько можно? Мне эти проткнутые всю ночь будут сниться.

— Не хочешь — не читай. Никто тебя не заставляет.

Горбач убрал голову и сердито задернул полог. Палатка зашаталась. Волк и Кузнечик встревожено следили за ней, пока она не перестала крениться.

— Меня, наверное, заберут в Могильник на день или два, — сказал Волк. — Завтра с утра. Ненадолго.

— Почему? — насторожился Кузнечик. — Ты же теперь здоров.

Волк лег на пол и заложил руки за голову.

— Хотят затолкать в корсет. Буду таскать на себе Могильный панцирь, как старая, мудрая черепаха. — Он шутил, но в голосе было кое-то, чего Кузнечик давно не слышал.

— Ты боишься? — спросил Кузнечик.

— Я ничего не боюсь, — отрезал Волк. Его глаза сделались злыми.

Кузнечик поежился. — Не надо, — попросил он, — Волк... Твои мысли пахнут совсем не так, как слова. И это слышно.

Волк приподнялся на локтях, удивленно глядя из-под седой челки:

— Как ты сказал? Мысли пахнут? И тебе это слышно? Я бы не удивился, если бы Слепой такое сказал. Но почему-то так говоришь только ты.

Волк насмеялся, но его глаза перестали быть колючими и Кузнечик успокоился.

— Дерьмовый лексикон, — шепнул подслушивающий их Вонючка.
— Сам ты дерьмовый, — вступился за друга Горбач из глубин своей палатки. — Это красиво. Кузнечик говорит, как поэт.

Кузнечик засмеялся. Горбач опять высунулся:

— А если они тебя не отпустят, что нам делать? Вдруг не отпустят?

— На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями, — пообещал Волк.

Вонючка обрадовался:

— Выполним, — пообещал он. — Дом содрогнется, слово Вонючки. Прикуем цепями к дверям Могильника. Обоьемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет сделано на высшем уровне.

— Верю, — серьезно сказал Волк. — С тебя станется такое устроить.

Возле прачечной было темно и пустынно. Кузнечик сидел на полу, у запертой двери, ждал Ведьму и старался думать о приятных вещах. А не о том, что неподалеку кто-то явно дышит, а возможно, что и подкрадывается. И не о том, что дырка в стене подозрительно блестит. Как будто оттуда смотрит чей-то глаз.

Коридор возле прачечной пах дезинфекцией. Лампочка светила тускло, а дальше, в библиотечных отсеках, было совсем темно, и Кузнечик не смотрел в ту сторону, чтобы не видеть чернильные тени шкафов-вертушек, в которые старшеклассники складывали прочитанные журналы. Ему совсем не нравились эти тени. Чем неподвижнее они были, тем меньше нравились.

Его отвлекло гудение лифта. Кузнечик прислушался. Лязгнула дверь и по линолеуму зашуршали чьи-то шаги. Он встал.

На свет вышла Ведьма.

— Извини, — сказала она. — Я задержалась. Тебе, наверное, было страшно тут одному?

Кузнечик сразу забыл про тени шкафов и про глаз в стене.

— Чего здесь бояться? — сказал он. — Тут же никого нет. Письмо у меня в кармане. А то я отдал Слепому. Как договаривались.

Ее рука скользнула к нему в карман и достала конверт. Кузнечик ждал, что Ведьма его спрячет, но она разорвала конверт и принялась читать. Кузнечик уставился в пол. Ему показалось, что письмо было очень длинным.

— Спасибо, — сказала Ведьма, дочитав. — Ты не очень замерз сегодня во дворе? Было жуть как холодно.

— Нет.

Он смотрел, как она достала зажигалку и поднесла ее к краю конверта. В ее руках разгорелся маленький костер. Она повертела его, перебирая пальцами, наконец уронила последний клочок и затоптала.

— Вот и все, — сказала она, размазав пепел подошвой.

Только теперь Кузнечик испугался по-настоящему. Он знал, что письмо опасно носить с собой, но только увидев, что Ведьма сожгла его, понял, что как ни в чем ни бывало ходил с этой опасностью в кармане, и даже забывал о ней.

— Ничего, — сказала Ведьма, угадав его страх. — Не думай об этом. Мы постараемся пореже писать друг другу. А вы со Слепым не говорите об этом между собой даже наедине.

— Слепой не станет об этом говорить, даже если мы с ним окажемся в пустыне, — возразил Кузнечик. — Слепой никогда не говорит о чужих делах. Он и о своих-то не говорит.

— Это хорошо. Выходи время от времени после ужина погулять в двор. Один. Если я появлюсь, не заговаривай со мной, а просто пройди мимо, так чтобы я могла сунуть письмо тебе в карман. Хорошо?

Кузнечик кивнул.

— А трудно быть девушкой Черепа? — спросил он, краснея от собственной бестактности.

— Не знаю, — ответила Ведьма. — Не с кем сравнивать. Но думаю, не труднее, чем быть девушкой Мавра.

Кузнечик пожевал ворот своей рубашки.

— Ты знаешь, каким я стану, когда вырасту. Пожалуйста, скажи, каким? Это важно.

— Трудно объяснить, — вздохнула Ведьма. — Такое скорее чувствуешь, а не представляешь, как картинку. Но девушкам ты будешь нравиться. Это я обещаю.

— Они падут к моим ногам, — печально закончил Кузнечик. — Сраженные и обессиленные. Только успевай подбирать и не наступай на уши. Мои прыщи и клочковатые баки сведут их с ума.

Ведьма посмотрела на него странно.

— Не знаю, кого ты сейчас нарисовал. Но только не себя. Возвращайся. Я побуду здесь еще немного.

— До свиданья, — сказал Кузнечик.

«Я болтал чепуху», — подумал он огорченно. — «А все из-за Вонючки».

Кузнечик сидел на полу и сражался с печатной машинкой. Было готово начало письма. «Привет, Волк. Как ты там? Мы хорошо, ждем тебя. Один день прошел, а второй — наполовину. Завтра будем ждать твое письмо с...» Слово «инструкциями» не давалось. Кузнечик забраковал уже два варианта. Над плечом пыхтел Горбач, не решавшийся подсказать.

— По-моему, там должно быть два «и», — сказал он наконец.

— Иинструкциями? — ядовито уточнил Кузнечик.

Горбач покраснел.

— Я не это имел в виду. Не в начале.

— Тогда не говори под руку.

— Передай от меня привет! — пропищал Вонючка со своей кровати.

— До приветов я еще не дошел. И хватит мне мешать! Я так никогда не закончу.

Кузнечик разделался с «инструкциями» и задумался, рассеянно покусывая палец протеза.

— Портишь вещь, — шепотом предупредил Горбач.

Кузнечик убрал палец.

В дверь постучали.

— Войдите, — тонким голосом крикнул Вонючка.

Дверь заскрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, Сиамцы — кошмар и гордость Хламовника.

Кузнечик испуганно посмотрел за их спины, ожидая, что следом ввалится Спортсмен, а за ним и весь Хламовник. Но близнецы были одни. Сделав несколько шагов, они застыли рядышком, как приклеенные. Одинаково одетые, с одинаковыми лицами, неразличимые, как две монеты.

— Вы зачем? — спросил Кузнечик. — Что вам надо?

Слепой перестал гладить книгу с пупырчатыми страницами и поднял голову.

— Мы по делу, — сказали Сиамцы.

— Очень подозрительно, — заметил Вонючка. — Не нравятся мне такие заходы.

Сиамцы мялись, шаркая ботинками. Длинные, тощие, тонкогубые и... «какие-то суставчатые» — неприязненно подумал Кузнечик. Из-под соломенных челок торчали крючковатые носы, золотые глаза смотрели кругло и стыло, как у чаек.

— Вы от Спортсмена или сами по себе? — спросил Слепой.

— Мы, сами по себе, — хором ответили Сиамцы.

— Мы пришли, потому что... — хотели спросить... — нельзя нам тоже в вашу комнату... — переселиться.

Они еще теснее прижались друг к другу боками, и, повздыхав, замолчали.

— С чего это вдруг? — удивился Горбач.

Сиамцы молчали. На чужой территории они присмирели и казались не такими противными, как обычно, но и симпатии тоже не вызывали. Белые фуфайки чернели локтями, на шеях висели цепочки с бирками. На одной — буква «Р», на другой — «М». Бирки все время переворачивались пустой стороной, и разобрать, кто из Сиамцев кто, не помогали.

— Не принимаете? — хмуро спросил левый Сиамец.

Кузнечик не успел ответить. Дверь хлопнула, и в комнату, не замечая Сиамцев, быстро прохромал раскрасневшийся Фокусник.

— Волк идет! — крикнул он. — Честное слово! Отпустили!

— Ура! — подхватил Вонючка.

Все уставились на дверь. Кузнечик с облегчением подумал о письме, которое не надо было допечатывать. Горбач радостно дышал ему в затылок. Вонючка зачем-то схватился за бинокль. Сиамцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на Кузнечика мрачные взгляды.

— Я рыцарь в доспехах из гипса! — объявил появившийся в дверях Волк. — Ищу верного до гроба оруженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехи, подобен черепахе скованной панцирем.

Он подошел к Кузнечику и ткнул в него ручкой зонтика:

— Иди ко мне в оруженосцы, отрок. В конце каждого года, будешь получать за свои труды кошель с золотом. А в случае моей смерти, тебе достанутся эти прекрасные доспехи, которые ты сможешь продать.

Волк поднял свитер и постучал по гипсу:

— Соглашайся. Не пожалеешь. Жизнь твоя станет поистине удивительной.

Кузнечик кивнул. — Буду просто счастлив. Вот только у нас Сиамцы...

Волк прищурился на близнецов.

— Верный шлем мой заслоняет обзор, — сказал он. — Скажи, мальчик, не злые ли духи меня искушают, являя взору два столь подобных друг другу образа?

Сиамцы переглянулись.

— Еще бы не духи, — хихикнул Вонючка. — Они самые. Хотят с нами жить. Если мы разрешим.

Волк стукнул об пол зонтиком, и зонтик раскрылся. «Колдовство», — пробормотал Волк, закрыл зонтик и повернулся к Вонючке:

— Непонятны мне слова твои, отрок. Пещера эта, где мы собрались,

принадлежит не нам. С божьего соизволения, всякий странствующий хмырь, волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое не бесовское наваждение, хотя сходство их лиц мутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать.

Сиамцы оторопело таращили на Волка чаячи глаза.

Волк опять стукнул зонтиком:

— Видно, простолюдины! Не называете имен своих, словно стыдитесь! А может, имена ваши покрыты позором? Может, вы сыны Каина, гонимые проклятьем?

— Н-н-нет, — простонал один из Сиамцев. — Мы совсем не это!

— Рыцари мы, — нашелся второй Сиамец. — В бурю попали.

Волк поиграл бровями, кидая на братьев подозрительные взгляды.

— Сушитесь, — сказал он. — И поведайте нам свою историю.

Он сел на пол.

Фокусник, Горбач и Кузнечик тихо расселись вокруг. Сиамцы переглянулись и тоже сели, скрестив ноги и дружно ссутулившись.

— Влипли вы, «рыцари» — шепнул им Горбач. — Волк эту волюнку может до ночи тянуть.

Фокусник, не дожидаясь распоряжений, поставил у себя в ногах гитару, подпер ее табуреткой и подергал струны.

— А-а, — сказал Волк. — Славный менестрель со своей арфой, и ты здесь...

Фокусник бодро кивнул, перебирая струны.

— И пленное чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся...

Вонючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати издал жалобный вой.

— Велико его раскаяние, — перевел Волк Сиамцам. — Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощенье у их разгневанных теней.

— Ох-ох, — простонал Вонючка. — Тереза, Анна, Мария, Софья...

— Не будем, — перебил его Волк. — У нас гости.

Воцарилась тишина. Только Фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру Горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали.

— Ты говорил, здоровяки вам не нужны, — сказал левый Сиамец Волку. — Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а они — нас.

Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. А они чуть что твердят, что мы воры. И именно что трогают. Теперь еще новички эти.

Сиамец вздохнул:

— Вы нас не возьмете, я знаю, — он покосился на Кузнечика.

«Потому, что мы тебя били», — мысленно закончил за него он.

— Возьмите хоть Слона, а? Он боится. Этого новичка, Родинку. Все время пугается и ревет. Возьмите его к себе. Он тихий, когда его не пугают. Играет весь день.

— Разве он без вас пойдет? — спросил Кузнечик. — Он вас любит.

— Уговорим, — пообещал Сиамец. — Он послушный ребенок.

Это был Макс. Кузнечик разглядел букву «М» на бирке.

— Вы только эту стенку ему покажите, — хихикнул Рекс. — За уши от нее не оттащите.

— До вечера, — подал голос Слепой, сидевший в углу. — Пока он не вспомнит про вас и не начнет реветь. Тогда придется или его обратно, или вас сюда. Или всю ночь прыгай вокруг с носовыми платками.

Сиамцы покраснели и теснее прижались друг к другу.

— Приводите Слона, — сказал Волк. — И сами приходите. Только не надо нас морочить и Слоном жалобить.

Рекс поднялся и помог брату встать.

— Спасибо, — сказал он, — рыцарь из гипса, — и усмехнулся. Криво. По-другому Сиамцы не умели. Рекс хотел еще что-то сказать, но брат дернул его за рукав.

«А они совсем разные, — удивился Кузнечик. — Просто это не сразу видно».

Близнецы ушли. Горбач посмотрел на кровати и присвистнул:

— Теперь нас десять Дохляков. Полный комплект. Только на верха им не взобраться. Ни им, ни Слону.

— Я переселюсь наверх, — нехотя произнес Волк. — И Слепому придется. Иначе не поместимся.

Вонючка покачался на подушке.

— Они взломщики, — сказал он. — И ворюги. У них до фига отмычек и всяких других полезных в хозяйстве вещей. Ограбят нас и уйдут обратно в Хламовник, а мы останемся без всего.

— Пусть попробуют, — сказал Волк. — Напустим на них твоего Гоблина. Эй! — спохватился он. — Завешивайте его скорее, пока Слона не привели! А то на его рев весь Дом сбежится.

Горбач и Фокусник задвинули Гоблина тумбочкой, сверху водрузили салатницу, а на салатницу — транзистор.

— Только ухо торчит, — сказал Фокусник. — Но непонятно, чье это ухо, так что он не испугается.

— Вот так расправляются с произведениями искусства, — вздохнул Вонючка. — А я, может, всю душу в этого Гоблина вложил.

— Оно и видно, — сказал Горбач. — Вся твоя черная душа на его роже нарисована.

— Что-то шумно там, — заметил Слепой. — В Хламовнике. Грохот.

— Может, их не пускают? — с надеждой спросил Кузнечик.

— Что-то вроде того, — Слепой подкрался к стене и прижался к ней щекой. Фокусник приглушил звук транзистора. Теперь застенный шум слышали все.

— Поведай нам, Большое Ухо, что ты слышишь? — спросил Волк.

— Сам ты Большое Ухо, — огрызнулся Слепой. — По-моему, их лупят. Ничего не разобрать. Слон уж очень заходится.

— Значит это не подстава, — с удовольствием отметил Вонючка. — Я имею в виду их приход.

Волк посмотрел на Кузнечика. Кузнечик страдальчески нахмурился:

— Они вроде как наши теперь, — сказал он. — Тоже Чумные Дохляки.

Волк кивнул:

— Вот и я об этом подумал.

— Придется идти спасать, — вздохнул Кузнечик. — Если они и в самом деле наши. — Меньше всего ему хотелось бежать на помощь Сиамцам.

— Да вы спятили? — возмутился Вонючка. — Вас всего пятеро. Они с вами разделаются, а комнату возьмут штурмом. Унесут все полезные вещи, и, в конце концов, я тоже могу пострадать.

Кузнечик влез в ботинок и протянул Волку ногу:

— Зашнуруй, пожалуйста.

Горбач стоял наготове с вторым ботинком.

— Давайте быстрее, — подгонял он. — Они там вдвоем против всех.

Фокусник вооружился запасной струной от гитары. Слепой отлепил ухо от стены.

— Они уже в коридоре, — сказал он безразличным тоном. — Можете не спешить.

Горбач натянул на Кузнечика второй ботинок и побежал к двери. Путаясь в шнурках, Кузнечик бросился следом. Они выскочили в тамбур, потом, толкаясь, в коридор.

Сиамцы действительно были там. Они, и почти весь Хламовник. Одного Сиамца было видно. Он отбивался от нападавших сумкой. Рядом,

на полу, где повалили второго, крутилось что-то паукообразное с множеством рук и ног. С криком, похожим на вой сирены, Горбач ринулся в гущу сражения. Кузнечик с разбегу пнул чей-то зад из паучьей кучи и запрыгал вокруг, наскакивая тех, что оказывались сверху. Мимо метнулся Слепой, но смотреть на него у Кузнечика не было времени. Из копошившейся массы, которую он пинал, уже вылезали враги — кряхтя поднимался Пышка, Плакса готовился кинуться на него с кулаками... И глядя на них, Кузнечик вдруг с ужасом понял, что забыл снять протезы. А ведь это было самое главное, важнее, чем ботинки, важнее, чем все остальное!

— Не смей! — пронзительно закричал он в лицо Плаксы, которое было уже совсем близко, и саданул по нему ботинком. Лицо исчезло, но вместо него появилось другое, которое Кузнечик тоже ударил, не переставая кричать: «Не смей!»

Я разбил ему нос! Вот только кому?

Вокруг кипела битва. Кузнечик бросился к Волку, который мелькнул поблизости, но чья-то рука схватила его за ногу. Он наступил на нее свободной ногой, с нее слетел незашнурованный ботинок и тут же затерялся в общей куче-мале.

Кузнечик думал только о протезах, о том, что их не должны сломать. Его толкнули в спину, он упал на Плаксу, и кто-то тут же навалился сзади. Кто-то тяжелый. Плакса завизжал. Кузнечик извивался и бился коленками о его колени. Кто-то сидел на Кузнечике верхом и лупил его по спине. Это было больно, но Плаксе внизу было еще больнее — он орал не переставая.

— Берегись! — завопил кто-то.

Перед ними завертелись колеса. У самого носа Кузнечика затормозила коляска Вонючки. — Берегись! — еще раз взвизгнул Вонючка и замахнулся зонтом.

Пышка ослабил хватку, и освобожденный Кузнечик откатился в сторону.

— Так тебя! — крикнул Вонючка, тыкая в Пышку зонтиком.

Кузнечик разбежался и пнул его в живот. Добитый Пышка куда-то уполз, а к Кузнечику, размахивая хоккейной клюшкой, подскочил Зануда. Кузнечик успел пнуть и его, но разутая нога в одном носке большого вреда не причинила. Клюшка угодила Кузнечику по уху, и ухо заполохало, наливаясь кровью. Второй удар пришелся по протезу.

— Сломал! Ты его сломал! — всхлипнул Кузнечик, и, забыв про клюшку, бросился на Зануду. Тот почему-то отбросил оружие и кинулся бежать. Кузнечик рванул за ним. Кто-то подставил Зануде ножку, он упал, перевернулся на спину и испуганно заверещал. Кузнечик летел на него, как

комета, сметая врагов со своего пути, оставляя позади хвост из отдавленных рук и ног.

Кто-то схватил его и приподнял над полом. Кузнечик начал пинаться, пытаться вывернуться.

— А ну спокойно, — сказал взрослый голос.

Болтаясь над полем боя, Кузнечик увидел Фокусника, отбивавшегося костылем от Кролика и Крючка, перевернутую коляску Вонючки, самого Вонючку, лупившего зонтом во все стороны, Спортсмена, катавшегося по полу с кем-то в обнимку — и старшекласников. Их было много. Хохоча и чертыхаясь, они растаскивали мальчишек.

Затылок Кузнечика уперся во что-то твердое. Похолодев от внезапной догадки, он обернулся. Щеку царапнул маленький черепок на цепочке. Выше Кузнечик смотреть не стал. Я пнул самого Черепа! Голова закружилась от слабости, Кузнечика затошнило.

Череп развернул его лицом к себе и опустил на пол.

— Ну что, успокоился?

Кузнечик пошатнулся. Рука с татуировкой на запястье придержала его за плечо.

— Я не знал, — прошептал Кузнечик. — Я не знал.

— Чего ты не знал?

Серые глаза Черепа были усеяны мелкими точками.

У него глаза пятнистые. Крапчатые. Как странно...

Старшие разгоняли мальчишек по комнатам. Двери Хламовника ощерились гримасничавшими лицами. Лица плевались и выкрикивали угрозы.

— Брысь! — орали на них старшие.

Последними расцепили Спортсмена и Слепого. Фокусник и Горбач, придерживая лохмотья рубашек, скрылись в Чумной комнате. Сиамцы ползали по полу, собирая вещи, выпавшие из сумок. Слон ходил за ними по пятам, обливаясь слезами.

— Безобразия! — кричал воспитатель Щепка. — Всех к директору! Немедленно!

Лось заталкивал Вонючку в коляску. Вонючка сопротивлялся. Кузнечик успел прийти в себя и собраться с мыслями. Он повернулся к Черепу, чтобы извиниться, но его уже не было рядом. Он уходил с другими старшекласниками. Кузнечик поймал на себе взгляд одного из них и услышал:

— А этот безрукий малявка дрался, как тигр!

Старшие засмеялись. Череп обернулся и посмотрел на него. Очень

серьезно. Он один не смеялся.

— Марш в свою комнату, немедленно! — завопил над ухом Щепка, и Кузнечик, прихрамывая необутой ногой, побежал в спальню. Ему было жарко от стыда. Старшие не знали, что он дрался, как тигр, только из-за протезов. А если бы знали, то смеялись бы еще громче. Может, только Череп бы не смеялся.

— Через полчаса, в кабинете директора! — крикнул ему в спину Щепка.

Вокруг умывальников в ванной комнате толпились раненые. Пол был залит водой. Стоило Кузнечику войти, разутая нога в одном носке сразу промокла.

— Доспехи из гипса — полезнейшая в хозяйстве вещь. Полчища врагов сами себя выводят из строя. Ничего не надо делать. Только открывайся и жди, чтобы тебе врезали, — Волк вынырнул из-под струи и посмотрел на Кузнечика. — Ага. Явился!

— Вот он! — крикнул Вонючка. — Истребитель Хлама! Лихая нога! Пятка-убийца! Ура!

— Костыль тоже полезная вещь, — похвастался Фокусник. — Видели бы вы, как я подбил Крючка.

Горбач шумно плескался, обмывая рассеченную губу. Помятый Сиамец раскачивал зуб.

— Они обвинили нас в воровстве, — сказал он, вытащив палец изо рта. — А мы слыхом не слыхивали ни про какие ихние значки.

— Я не садист, — пропел Вонючка. — Нет, я не садист. Но в гневе я делаюсь лют. Это черта характера. Моя черта. — Он подъехал к Кузнечику и похлопал его по колену. — Ты тоже лютуешь в гневе, старина, — сказал он. — Но до меня тебе, конечно, далеко. При виде меня все бледнеют!

Вонючка был цел и невредим, так что в ванной ему делать было нечего. Но он раскатывал по мокрому кафелю, брызгался водой из низкого крана и пел хвалебную песнь собственным подвигам. Покрытые синяками и ссадинами, мальчишки гордо промокали лица полотенцами и рассматривали себя в зеркале. Кузнечик тоже посмотрел. Ухо багровело, под носом подсохли кровавые сопли. Ему это понравилось.

— Ну вот что, рыцари, — сказал Волк зеркалу. — Вечером за круглым столом будем писать летопись великой битвы. — Воспоем в стихах свои подвиги и оплачем утраты. Споем боевые песни и, сомкнув чаши, помянем умерших.

— Вонючка уже начал, — заметил Горбач.

— Я никого не поминал. И хватит уже собой любоваться! — Вонючка наехал на них сзади и оттеснил от зеркала.

В спальне один из Сиамцов успокаивал плакавшего Слона, Лось затыкал Слепому нос кусочками ваты, а Красавица потерянно слонялся из угла в угол, ломая руки и обгрызая заусеницы.

— Приводите себя в порядок, — сказал Лось. — Пойдем к директору объясняться.

— Только мы? — возмутился Фокусник. — А как же они?

— Они тоже. Где твой ботинок? — Лось смотрел на ногу Кузнечика.

— У меня, — Вонючка выудил из коляски ботинок и отдельно — мокрый шнурок. — Я взял его на память. Как сувенир.

— Неужели проблемы нельзя решить мирным путем?

Рыцари промолчали.

— Ладно, — Лось посмотрел на часы, — через десять минут у директора. Там поговорим.

Он вышел.

— Эй, гляди-ка, — подтолкнул Горбач Кузнечика.

Россыпью ярких пятен а одеяле вокруг Слона лежали значки.

— Ну, посмотри, какой красивый! — уговаривал Сиамец Слона, поднося значки к его зареванному лицу. — Ты только посмотри...

Сиамцы нарисовали на стене аиста и крокодила. Аист стоял на одной ноге, занимая совсем мало места, крокодил летел, распластаный над волком и совой. Слон рисовал долго, а когда закончил, в углу появился цветок, похожий на кляксу.

Из Хламовника выкинули горшок с поломанным растением. То единственное, что принадлежало Сиамцам и что они не успели унести. Возвращаясь из столовой, Сиамцы нашли его у дверей, подобрали и попробовали оживить — но оно все-таки высохло, и пришлось похоронить его во дворе в коробке из-под ботинок.

Тихо и незаметно все готовились к новой драке. Вонючка лечил зонтик. Сиамцы отращивали ногти. Горбач шил себе боксерские перчатки. Фокусник выстругивал трость. По ночам собирався военный совет. В столовой обменивались угрожающими взглядами и гримасами. Потом им это надоело.

Волк записался в музыкальный кружок и начал исчезать после обеда с гитарой, а возвращаясь, мучил Дохляков однообразными аккордами. Фокусник раскопал в библиотеке книгу «Иллюзии и реальность», склеил из картона цилиндр, и пытался заставить хомяка под ним исчезать. Хомяк не

исчезал, а только пугался и гадил чаще обычного. Красавица делал соки. Вонючка писал длинные письма в благотворительные учреждения и частным лицам. Письма от имени «бедного парализованного мальчика» от имени «бедного сиротки, которому предстоит операция», и от имени «бедного слепого малютки, который больше всего на свете любит музыку». К письмам прилагались душераздирающие рисунки. Таким способом Вонючка рассчитывал обзавестись большим количеством полезных в хозяйстве вещей.

Сиамец Макс тоже писал письма. Самому себе. Он писал их карандашом на туалетной бумаге и складывал в конверты со странными надписями: «Если хочешь реветь». «Если хочешь велосипед». «Если думаешь, что ты некрасивый». «Если завидуешь ноге». Под ногой, вероятно, подразумевалась вторая нога брата. Та самая, которая была у Рекса, но могла бы быть у Макса. Вонючка свои письма давал читать всем. Макс свои письма не показывал никому, и сам читал редко, только когда настроение соответствовало надписи на одном из конвертов.

Кузнечик каждый вечер выходил на прогулки. Если появлялась Ведьма, то с письмом в кармане он шел искать Слепого. Иногда Слепой сам передавал ему письма — тогда Кузнечик спускался на первый этаж, и ждал у дверей прачечной. Он привык делать это, забыл об опасности и вспоминал о ней только, когда Ведьма сжигала при нем очередное письмо.

Слепой уходил ночами. Горбач устанавливал палатку разными хитрыми способами, но она все равно рушилась. Шли дожди, о которых Лось говорил, что они пахнут весной. Двор превратился в грязное месиво. Собаки Горбача перестали приходить к сетке. Они подумывали о выведении потомства и были слишком заняты. Сиамца Макса посвятили в рыцари.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

День второй

Впрочем вникнуть, как я, в тайники бытия,

Очевидно способны не многие...

День как день. Ветер звенит стеклами, все зевают и молчат. Ветер не унимается, пока Македонский не подходит к окну и не впускает его. Тогда он начинает скрипеть оконными створками и подкидывать занавеску, до жути похожую на что-то живое, что никак не может оторваться и улететь, куда хочет. А жаль, потому что это было бы красиво.

На третий урок приходит Ральф с собственным стулом. Ставит его в уголок и сидит до звонка, как приклеенный.

Он не изменился, хотя иногда наружность меняет очень заметно. Но по нему ничего не видать. Как будто ушел вчера, а сегодня вернулся. Знакомый пиджак и знакомый свитер. Перчатка на левой руке, где нет мизинца, и взгляд инквизитора, от которого бросает в дрожь. В конце урока он встает и смотрит на нас. Перепрыгнувший. Сразу заметно. Я поражаюсь его бестактности. Его надо было обучать — уж не знаю, кто бы взялся за такое. Пусть он немолод, но умный, может, и понял бы кое-что. В наружности не принято заходить в чужой дом голышом. В Доме не входят, перепрыгнув. Это как влезть в окно и сесть за стол, не здороваясь с хозяевами. Пройтись по комнатам, выдвигая ящики. Не знаю, с чем еще можно сравнить. А ведь Ральф, по большому счету, не виноват. Дикое, необученное создание.

Спрашивает Курильщика, как тому живется на новом месте. Курильщик говорит, что нормально. Что жалоб он не имеет. Всем обеспечен, никем не обижен. Вид у него при этом такой, как будто это неправда. Ральф кивает и уходит. Ни слова о Лорде.

После обеда я возвращаюсь последним, потому что застрял пообщаться с Валетом. Подъехав, вижу столпившихся у дверей спальни составников. Никто почему-то не входит.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Дверь, — говорит Лэри и тычет в нее тем ногтем, который у него длиннее и уродливее прочих.

— И что? — говорю. — Все знают, что это дверь.

— Заперта. — Он опять тычет ногтем, чтобы я не дай бог не ошибся, что именно заперто и не подумал, что коридорная стена.

— Кой черт там заперся? — спрашиваю.

— Вот и мы думаем — кой? — объясняет Лэри, оглянувшись на Сфинкса. Сфинкс весь в задумчивости. Что-то колупает в душе.

— А чего не кричим, не стучим? Кто отзовется, тот, значит, там и заперся.

— Да. Но зачем? — спрашивает Сфинкс. — Зачем кому-то это могло понадобиться?

Переглядываемся. Я, Сфинкс, Горбач, Лэри, Курильщик и Македонский с Толстяком на привязи.

— Наверное, там Слепой? — неуверенно предполагает Горбач. — Его не было на обеде.

— Может, он думает о чем-то важном, — воодушевляется Лэри, — а мы вдруг стучим. Очень нехорошо может получиться.

Мы со Сфинксом опять переглядываемся. Не припоминая за Слепым привычки запирается в спальне, чтобы подумать. Объезжаю всех по кругу и возвращаюсь на место.

— Или там Черный. Кончает с собой. А что? После вчерашнего вполне вероятно. Ну вы понимаете... Обидели его любимую собаку... и все такое. Он человек гордый. Не сумел пережить...

— Не стыдно тебе? — спрашивает Горбач. — Мы и так волнуемся.

Я делаю еще два круга. Македонский, устав стоять, садится у стены на корточки. Горбач скребет цифру четыре на двери. Соскабливает ножку.

— Черт! — не выдерживает Сфинкс. — Сколько можно стоять столбом перед собственной дверью? Я чувствую себя идиотом.

— На нас уже все глядят, — сообщает Лэри стыдливо. — Отойдем?

Оборачиваюсь и вижу, что и правда глядят. В некоторых местах — даже столпившись. Ужасное положение. Беру разгон, чтобы врезаться в дверь и переполошить того, кто внутри, но тут к нам подходит Стервятник и приходится делать вид, что я просто катаюсь туда-сюда.

— Проблемы? — спрашивает Стервятник. — Что-то с дверью?

Он изящно опирается на трость и покачивает связкой ключей на мизинце. Понятное дело, у него там не одни ключи.

Сфинкс колеблется:

— Не знаю, стоит ли...

— Стоит-стоит, — говорю я. — Мало ли что могло произойти. Надо выяснить. Думаю, это все-таки Черный удавился. Он был не в себе последнее время. Какой-то пасмурный.

— О боже! — это уже Стервятник.

Горбач показывает мне кулак.

Гремят отмычки, в скважину заползает длинный крючок, коридорная публика подбегает ближе, высунув языки от любопытства, а издалека к нам зачем-то спешит Рыжий с перекошенным лицом, но мы быстро заскакиваем внутрь — меня пропихивают первым — и захлопываем дверь перед всеми, лезущими не в свое дело. Кроме Стервятника, который все-таки помог и имеет право знать.

Быстренько пересекаю прихожую.

— Что такое? — спрашивает Сфинкс у меня за спиной.

Кто-то все-таки имел наглость протиснуться. Совсем совесть потеряли. Наглецом оказался Рыжий. Лязгает зубами Сфинксу в ухо, Сфинкс кивает, и шипит нам:

— Погодите!

Но я годить не намерен, и Рыжий мне не указ. Толкаю дверь и оказываюсь в спальне, где пусто, как в склепе, никаких тебе давленников или трупов с перерезанными венами.

— Ну и ну, — говорю. — Да здесь же нет никого!

Лэри дышит надо мной со свистом.

Горбач спрашивает:

— Кто же тогда запер?..

И тут с полки Лэри свешиваются ноги. Две. Лэри ахает и вцепляется мне в волосы. Ноги болтаются. Длинные, в черных чулках. На одной — белая туфля с каблуком, на другой — дырка в чулке, из которой торчат розовые пальцы. Очень знакомые ноги. Они свешиваются все ниже и ниже, а потом на пол обрушивается Длинная Габи, и нагло подмигивает нам разрисованным глазом в тушевых подтеках.

Лэри хватается за сердце. Горбач закрывает глаза и мотает головой. Непонятно с чего они так переживают? Она, конечно, страшненькая, но все же не настолько. Лучше живая Габи, чем повесившийся Черный. Так я считаю.

Габи — известная личность. Славится ростом, скудоумием и сексуальностью. К ней применялись разного рода меры, но все бестолку. Дирекция уклончиво называет это «неадекватным поведением». С ее «неадекватностью» порядком помучились, но в итоге плюнули — и на нее

и на саму Габи — и Длинная зажила в свое удовольствие, на радость людям.

— Привет, — говорит она хриплым голосом алкоголички и нагибается к своим ходулям, что-то там подправляя и застегивая. Из-под свитера торчит розовая комбинация, в волосах — лимонные корочки из запасов Лэри. Лэри тихо стонет.

— Что ты здесь творишь? — спрашивает ее Горбач.

Габи, не отрываясь от чулок, ухмыляется фиолетовопомадной пастью. А с полки Лэри, как ответ Горбачу, свешивается Слепой. Местами — очень фиолетовый. Там, где она к нему приложилась. Расслабленно свешивается и со стуком роняет вниз белую туфлю.

— Мерси, — хрипит ему Габи, напяливая ее на свою лыжу. Стучит до двери, очень величественная и гордая собой, у порога ее перехватывает Рыжий — сводник сводником, все рыльце в пушку — и они удаляются: она — на голову выше него, он — виновато оглядывающийся. Дверь хлопает, и дальше все довольно тихо, если не считать моего веселья. Чтобы успокоиться, приходится поездить по комнате. Стервятник стоит с таким видом, как будто ему насильно скормили лимон.

— Моя кровать, моя кровать, — бормочет Лэри. — Они осквернили ее! Сфинкс переспрашивает:

— Что, что? — и садится на пол приходить в себя.

Слепой соскакивает вниз. Рулю к нему и пристально вглядываюсь. Все-таки интересно.

— Ну, как? — спрашиваю. — Как она на ощупь, не очень костлявая?

— Я, пожалуй, пойду, — скорбно говорит Стервятник. — Кажется, я вам больше не нужен.

Никто его не удерживает, и он уходит.

— Спасибо за помощь! — кричит вслед Сфинкс. — Извини.

— Ну, как? — опять спрашиваю я Слепого. — Ты чувствуешь себя другим человеком?

— Отстань, — говорит он. — Сейчас я уже ничего не чувствую.

— Моя постель! — Лэри никак не успокоится. Мечется по комнате. Потом влезает к себе наверх, и раздается его горестный вопль.

— Спасибо, что не ко мне, — говорит Горбач. — Огромное спасибо, Слепой.

— Не за что, — отвечает Слепой и садится рядом со Сфинксом. — Извини за дверь. Не было времени искать другое место.

— Ничего страшного, — Сфинкс поднимает взгляд наверх, откуда доносятся причитания Лэри. — Слушай, что вы сотворили с его постелью?

Он просто с ума сходит.

— Ничего особенного. — Слепой вдруг оживает. — А знаешь, это на самом деле забавно. Не хочешь попробовать? Я ее позову. Выгоним всех... ну и Лэри тоже пускай остается...

Лэри кубарем скатывается вниз и в ужасе таращится на Слепого.

— Нет, спасибо, — говорит Сфинкс. — Только не с ней. Мне до конца жизни будут сниться кошмары.

— Она что, такая страшная? — расстроено спрашивает Слепой.

Сфинкс выразительно молчит.

— Она — сама скверна! — визжит Лэри, воздевая руки к потолку. И поворачивается к Слепому:

— Слепой! Меняем бельем или я там больше не сплю.

— Как скажешь, — покладисто соглашается вожак.

Лэри глядит на него с подозрением и не зря. Постельное белье Слепого заслуживает отдельной песни, которую я никак не возьмусь сочинить. Лэри, конечно, свинья и редко моет ноги, зато он не шляется по Дому босиком и ничью шерсть на подушку не срыгивает на подушку.

— Я еще подумаю, — заявляет Лэри.

— Хватит. — Сфинкс встает с пола. — Твое белье давно забыло, какого оно должно быть цвета.

— К тому же, теперь ты сможешь нюхать его бессонными ночами, — встречаю я, — погружаясь в эротические грезы.

Лэри плюет в мою сторону и, схватившись за голову, садится на пол.

— С завтрашнего дня будет принят новый закон, — между прочим сообщает нам Слепой. — Я вот думаю, как об этом объявить? На стене, или через Логов?

Мы ошарашенно молчим. Долго. Наконец Горбач откашливается.

— М-да, — говорит он. — А Рыжий-то не дурак. Знает, что делает.

— Конечно, не дурак, — отвечаю я. — И никогда им не был. Все же какой-никакой, а вожак.

Дальше опять молчим.

Лезу на кровать и сижу там, переваривая новости. Слишком их много для одного дня. Длинная Габи, новый закон... Новый закон — это девушки. Здесь и там, и повсюду — они у нас в гостях, мы у них... Как раньше, как не было уже давно. Об этом непривычно думать, и, как я ни стараюсь, ничего не представляется, потому что нет привычки, вернее, она утрачена, но завтра ее придется восстанавливать — привычку и навыки общения — потому что они уже будут здесь; девушки... девушки — это юбки, духи, косы, залаченные челки, конские хвосты на затылках, длинные ресницы с

загнутыми кончиками и стрелки над глазами, острием к вискам, и коляски с нежными именами, и ногти узкие, как у Лорда, а родом они из наших ребер, но голоса намного, намного нежнее... и пьют ли они чай, а если пьют, то с чем, где добывать это «что», и кто их будет приглашать, ясно, что не я, но кто-то же должен будет...

— Дыши! — кричит мне Сфинкс. — Дыши, дурак, посинел уже весь!

Спохватываюсь, дышу, и жить сразу становится легче.

— Спасибо, — говорю. — Я тут увлекся всякими мыслями, и они меня как-то заполнили и переполнили.

— Ты уж лучше их пой, — отвечает он. — Твой организм не привык к молчанию.

Это он прав. Когда я не молчу, мне лучше думается. А еще лучше, когда пою. Так я не по-человечески устроен.

Возвращается Черный. Сбрасывает в угол гантели, удивленно глядит на заляпанного фиолетовой помадой Слепого, и уходит в душ. И некому рассказать ему о Габи и о новом законе, потому что Лэри ускакал к Логам, а я еще не готов, я должен разложить все по полочкам, тогда меня не заткнешь, но пока не наведу в мозгах порядок, буду молчать.

Слепой сидит на полу, уткнувшись подбородком в колени. Горбач тренирует Нанетту на «взять чужого». Македонский сдирает постель Лэри и вытряхивает одеяло из пододеяльника. Ничего интересного. Я решаю спуститься во двор, там моим мыслям будет просторнее. Может, там я даже погрущу на разные грустные темы. Я давно не грустил ни о чем, кроме Лорда, и давно не бывал один во дворе. Беру свою куртку и еду. Македонский бросает терзать одеяло и идет меня провожать.

Я один во дворе. Я люблю гулять один, это все знают. Дождя нет, сыро и холодно. В большой луже с мутными краями и ясной серединкой отражается моя голова. Черная и лохматая, как у дикобраза. Смотрю на нее, пока не надоедает, потом бросаю в лужу камешек. И еще один.

Тучи собираются в гроздь, им уже тесно в небе. Я подбираю третий камешек — он странного цвета. Вроде бы, белый. Так кажется в темноте, но по-настоящему не видно, поэтому его я прячу в карман, чтобы потом разглядеть на свету. Шуршание дождя, по носу стекают первые капли. Запрокидываю голову, открыв рот. Лицо покрывает щекотными слезинками, но во рту сухо. Дождь слишком редкий.

Силуэт Македонского в нашем окне. Он смотрит вниз и машет рукой. Спрашивает, не хочу ли я подняться. Я тоже машу в ответ и качаюсь, как маятник, из стороны в сторону. Это мой отказ. Дождь совсем не мешает.

Даже жаль, что он такой слабый.

Македонский исчезает. Перед ужином он спустится за мной, и я успею переодеться. А пока мне хорошо.

Я помню, как сидел тут однажды, тоже под дождем, но более сильным. Лестница была черной и блестела, а по колясочному скату бежали ручьи. Я сидел и о чем-то думал. А может, дремал. Не помню. Дождь, солнце, ветер... Все это дает силу. Я сидел и ждал, пока она пропитает меня насквозь, до прозрачности. Напивавшись, решил вернуться. Но не поехал сразу наверх, сначала прокатился по первому.

Вот тогда-то на первом, в коридоре, я их и увидел. Они стояли рядышком. Толстая, огнедышащая женщина — настоящий вулкан. Красное пальто, черная шляпа, сумка из кожи крокодила. Губы как рана. Щеки как колбаса. Серьги — слезы. Она топталась в лужице, что натекла с ее обуви, и злилась. Рядом стоял мужчина. Бледный и рыхлый, как мучной червяк. Губы бантиком, нос пяточком. Очки в черепаховой оправе. Бедная черепаха! Бедный крокодил! Не хотел бы я очутиться на их месте.

С ними была еще девчонка лет четырнадцати. Худая, белобрысая, с красными глазками альбиноски. Тоже в красном пальто. И парень лет десяти. Копия папы. Явный любимчик. Свиные глазки, отцовский пяточок и рот вишенкой. Пальто в красно-синюю клетку. Опять же. Слишком много красного было в этой семейке.

А рядом, прислонившись к стене, стоял Красный Дракон. Единственный по-настоящему красный в этой компании. Потому что красный цвет коварен. Его можно носить и мазать на лицо до одурения, делаясь только серее. Красный — цвет убийц, колдунов и клоунов. Я его люблю, хотя не всегда.

Я — Табаки, клеющий клички с первого взгляда. Крестный для многих и многих. В каждом из рождений — сказитель, шут, и хранитель времени. Я всегда отличу дракона от человека. Драконы не плохие. Они просто другие. Не увидь я его в окружении семьи, может, и не разгадал бы сразу. А так было легко.

Он был тонкий, весь в веснушках. В старой, потрепанной куртке, в штопаном домашнем свитере, в джинсах с потертыми коленками. Глаза его были, как целый мир. Как заброшенная планета. Руки с длинными, тонкими пальцами. Обкусанные до крови заусеницы.

Я посмотрел на руки остальных. Сосисочно-короткопалые. С кольцами, врезающимися в мясо. Руки были большие и маленькие, но у всех одинаковые. Один он был среди них чужой крови. Руки его были

другими, глаза — другими, тело — другим. Один он носил старую одежду, привыкшую к нему и принявшую его очертания.

Я ему улыбнулся. Мне мало кто так нравился с первого взгляда. Он попробовал улыбнуться в ответ. Чуть-чуть, уголком рта.

Потом появился Акула. Женщина обрадовано затараторила и двинулась ему навстречу, оставляя за собой грязный след. Мужчина шагал следом. Младшего мальчишку он держал за руку. Любимчики умеют теряться. И попадать в неприятности. Это, можно сказать, их врожденный талант. Девчонка, расчесывая прыщ на щеке, искоса поглаживала на красного. Каково ему? Он стоял молча. Строгий и тихий.

Акула, демонстрируя все имеющиеся у него в наличии зубы, пригласил их в свой кабинет. Они вошли гуськом. Все, кроме него. Как только дверь захлопнулась, я, не стесняясь его присутствия, подъехал к ней, вытащил затычку, которую разрешается использовать только в крайних случаях, и стал смотреть. Мне всегда интересны родители, особенно такие.

Женщина рыдала. Хрумякая в платок, подтирая им помаду, слизывая сопли с губ и хватаясь за лицо. Плотно. Жизнеутверждающе. Мужчина стеснялся и потел. В пальто ему было жарко. Дети щипались. Акула кивал.

— У нас в доме ад! Вы понимаете — ад! — восклицала женщина, не переставая всхлипывать.

Акула кивал. Да, он понимает. Он и сам живет практически в аду, но нельзя ли ближе к делу?

— Он убивает нас, — объяснила женщина. — Медленно. Изю дня в день. Он мучает нас и терзает. Он — убийца! Садист!

— А по виду не скажешь, — вежливо усомнился Акула.

Тетку в красном пальто это заявление ввергло в истерику.

— Конечно! — завизжала она. — Конечно! А, почему, вы думаете, мы его сюда привезли! Потому что нам никто не верит! Никто!

Акула на своем веку навидался всякого, но тут поняло даже его.

— Мы не принимаем подростков с преступными наклонностями, — сказал он сурово. — У нас здесь не исправительная колония.

— Он не преступник, — вмешался мужчина. — Вы не так поняли.

— Понимаете... — женщина, сообразив, что перегнула палку, перешла на доверительный шепот, — он все всегда знает. Про всех. Это ужасно. Он из этих... — она поморщилась, подыскивая слово.

— Эрудит? — заинтересованно подсказал Акула.

— Если бы! Хуже, намного хуже! В его присутствии может произойти что угодно. Вещи появляются ниоткуда. Аппаратура портится. Телевизоры... Один, потом второй. Кот сошел с ума! Бедное животное не

вынесло!

Акула заскучал. Он не любил психов. По его лицу было видно, что он уже не слушал, что ему там плетут про котов.

— Вы уверены? — только и спросил он, когда женщина иссякла. Чисто из вежливости.

— Еще бы! Кто угодно был бы уверен, окажись он на моем месте!

И она разразилась списком доказательств, в котором главное место занимали ее младшие детки — эти маленькие пираньи, которые «никому не дадут солгать».

— Скажите дяде, правду ли говорит мама?

Правдолюбцы, пинавшие и щипавшие друг друга у нее за спиной, ненадолго прервали это занятие и закивали.

— А еще за ним везде бродят лысые, — доложил мальчишка. — Совсем сумасшедшие. Писают у нас в подъезде и так и будут приходить, пока мы его не уберем. Или пока нас не выселят.

Акула изумленно вытаращился, но переспрашивать не стал. Должно быть, младший сын в своей любви к правде немного перешел границы, потому что мамочка отвесила ему шлепок, и он замолчал.

— Мы приличные люди, знаете ли! Выдумывать не станем, — сообщила она. — У меня в семье никаких таких отклонений не было.

Мужчина виновато съезжился. Вероятно, у него в семье отклонения были.

— Мы водили его к специалистам. — Женщина приложила платок к уголку глаза. — А он делал вид, что с ним все в порядке. И выставял нас дураками. Один раз нам даже порекомендовали лечиться самим! Это было так унижительно! Что я пережила!

Хрум, шмыг, хлюп...

Акула почесал в затылке.

— Не знаю, чем мы можем помочь. Здесь интернат для детей-инвалидов. Думаю, вам лучше обратиться...

— У него эпилепсия с десяти лет, — перебила женщина. — Невыносимое зрелище. Совершенно невыносимое. Это вам не подойдет?

— Поймите, это совсем другая область.

Дальше я слушать не стал. И так все было ясно. Дирекция выкачивает деньги на благотворительность и примет новенького. В Доме полно здоровых, у которых в бумагах значатся страшные вещи. И таких, у кого записано не то, что есть на самом деле. Это было совсем не интересно. Красный все еще стоял у стены. Теперь я понял, почему он такой особенный. Я подкатил к нему.

— Просись в четвертую. У нас нет телевизоров, и никогда не было. А кошки приходят только зимой, и даже если ты сведешь с ума парочку, никто не станет скандалить. Понимаешь?

Он смотрел не моргая. Ответа я не дождался. Решив, что сделал все, что мог, я кивнул ему и отъехал. Потом обернулся — он не смотрел мне вслед. Он думал. Я рекордно быстро въехал на второй, домчался до спальни и, выманив в коридор Сфинкса, рассказал ему все. Потом съездил с ним на первый и издали показал красного.

Сфинкс поморщился:

— Выдумки истеричной мамыши. А ты прямо всему готов верить, что тебе ни скажи.

Я не стал спорить. Сказал только:

— Мамаша не в себе. Это факт. Но на такие истории у нее не хватило бы фантазии.

Мы подошли поближе. Через некоторое время рыхлая семейка вывалилась в коридор. Оттуда где мы стояли, их не было слышно, но все это мы слышали и видели миллион раз. Менялись только декорации. И те незаметно. Женщина-танк подплыла к нему, погладила по голове, пошевелила красными губами и отошла. Мужчина сунул ему что-то в карман. Наверное, деньги. Девчонка смотрела только на нас, а любимый поросенок жевал резинку и выдувал пузыри, которые лопались, облепляя его пяточек прозрачной пленкой. Он сдирал ее ногтями и совал обратно в рот. Наконец они ушли, а мы вернулись в спальню.

Его привели через час. Лично Акула. Пришлось выслушать все, что Акула имел сказать по поводу тесноты в других группах, а также по поводу дружбы, которая должна царить среди обделенных судьбой. Наговорившись, он отчалил.

Красный все это время смотрел в пол. А мы на него. Вельветовая куртка была ему велика, а свитер под ней — мал. Он стоял чуть косолапо и, кроме веснушек, на нем мало что можно было разглядеть. Глаза непонятного цвета, в крапинку, как продолжение веснушчатого лица. И обгрызанные ногти. Он был ужасно спокойный, какими не бывают, не должны быть те, кого только что привели. Это его спокойствие понравилось всем. Я ни на кого не смотрел, но чуял что это так. И радовался за него.

— Эпилептик, — проворчал Лорд. — Только этого нам не хватало для полного счастья. Чтобы кто-то тут бился в припадках.

— Не утрируй, — сказал ему Волк. — Вспомни себя в первый день. Куда там трем эпилептикам.

— Спокойный ребенок, — отметил Горбач. — Даже, можно сказать, симпатичный. Я бы взял.

Пока его обсуждали, Красный смотрел в пол, а лицо у него было отрешенное, как у Слепого, когда тот слушает музыку. Я не участвовал в обсуждении. Я один знал, что он такое. Он был дракон, он был красивый — сказочный человек из другой жизни, потому что просто так, ни с того ни с сего в пираньих семьях не появляются грустные люди с умными глазами, о которых рассказывают небылицы. Я беспокоился только из-за Сфинкса. Мне казалось, что его знаменитая проницательность куда-то пропала.

Сфинкс подошел к нему.

— Ты останешься здесь, только если мы этого захотим, — сказал он. — Получишь кличку и станешь одним из нас. Но только если мы захотим.

Я сразу успокоился. Сфинкс не имел привычки объяснять новичкам такие вещи. И вообще пускаться в объяснения. Значит, он тоже что-то почувствовал. Только не захотел признаваться.

Красный посмотрел на него:

— Тогда захоти, пожалуйста, — ответил он. — И я останусь. — Он сказал «захоти» — как будто знал, что именно Сфинкс решает, кому у нас оставаться, а кому уходить. — Я очень устал, — добавил он. — Правда, очень устал.

Он говорил не о нас, а о чем-то, что было раньше.

— Хорошо, — согласился Сфинкс. — Мы примем тебя. Только поклянись, что не будешь взрывать аппаратуру, вызывать грозу, летать на метле и превращаться в зверей.

Стая захихикала над шуткой, которая вовсе ей не была.

— Я ничего из этого не умею, — серьезно сказал новичок. — Но я понял тебя, и если так надо, то я клянусь.

Стая опять развеселилась. Одному мне не было смешно. Так у нас появился Македонский.

Новичок — это всегда событие. Они совсем-совсем другие. На них даже смотреть интересно. Смотреть и видеть, как они понемногу меняются, как Дом засасывает их, делает частью себя. Многие терпеть не могут новичков, потому что с ними много возни, но я, например, их люблю. Люблю наблюдать за ними, люблю расспрашивать и дурачить, люблю странные запахи, которые они приносят с собой — и много всего еще, что не объяснишь словами. Там, где есть новичок, скучно не бывает.

Так было с Лордом и со всеми, кто был до него — вообще со всеми,

кого я помнил. А с Македонским — нет. Он пришел, как будто и не снаружи — еще более здешний, чем мы сами, с тенью решеток на лице, с голосом тихим, как шелест дождя, со знанием Законов не хуже, чем у Слепого, с воспоминаниями о каждом из нас — словно здесь он родился и вырос, словно всю жизнь он впитывал окружающие цвета и запахи. Самый здешний из всех, кого я встречал. Он сдержал свое слово и не делал ничего такого, чего не умели остальные. Он вел себя даже тише, чем надо. Только закатывался иногда, ломая и круша все вокруг, но это случалось редко. Единственное, что он себе позволял необычного — прогонять наши плохие сны. Я видел, как он это делает. Вдруг вскочив, он подходил к кому-нибудь из спавших, шептал в ухо что-то неслышное и уходил. Мы перестали просыпаться от криков — чужих и своих собственных — и ночи стали намного спокойнее. Кроме тех, что наступили после Волка...

Я ловлю эту мысль и пробую развернуть ее обратно.

Не думай об этом! Кроме тех ночей... Тогда был бессилен и Македонский. Тогда...

Хватит! Об этом нельзя думать!

С трудом, но все же мне удастся притормозить. Я вдруг замечаю, что плачу, и радуюсь, что идет дождь. Уже настоящий. Запрокидываю голову, чтобы промокнуть сильнее. Меня начинает трясти от холода, который, пока я думал о другом, давно уже пролез под куртку и под все жилетки. Даже зубы стучат. Пора возвращаться.

Подъезжаю к крыльцу и жду. Стемнело быстро и незаметно. В окнах за занавесками мелькают тени. И музыка, вроде, громче обычного, а может, мне так кажется из-за дождя и темноты, в которых я совсем один, всеми брошенный и забытый. Становится обидно. Потом очень обидно. Потом ужасно обидно.

— Ты чего орешь, Табаки? — Македонский сбегает по лестнице, держа над головой растянутую куртку. — Сам же хотел остаться.

— Хотел, а потом передумал. А скат слишком скользкий, сам понимаешь. Пришлось звать на помощь.

Он затаскивает меня в лифт, где я демонстративно трясусь и стучу зубами. Нагибается ко мне, заглядывает в лицо.

— Что тебе померещилось, Табаки? Я же вижу...

— Много всякого разного. Молод ты еще про такое слушать.

— Ну извини. В другой раз не стану оставлять тебя надолго.

По пути в спальню, объясняю Македонскому, чем отличается любовь к дождю мелкому от любви к дождю проливному. Последний выводит из строя транспортные средства, не предназначенные для эксплуатации в

непогоду. Люби его, не люби, а коляску лучше в сырости не держать. «Мустанг прослужил достаточно долго, и заслуживает бережного к себе отношения. Даже если забыть о его назойливом и малоприятном седоке-хозяине...»

— Хватит, Табаки, — просит Македонский. — Я и так уже сегодня не усну.

Пока он меня сушит и переодевает, достаю из кармана камешек. Здорово мешает елозящее по голове полотенце, но все-таки я умудряюсь его разглядеть. Он продолговатый и голубой, цветом и формой ужасно на что-то похожий, вот только на что? Кручу его так и сяк, рассматриваю, пытаюсь угадать.

Македонский заворачивает меня в халат и прячет под одеяло. Закутываюсь, зарываюсь поглубже и думаю дальше. Камешек нагревается у меня в руке. Мы засыпаем вместе, и я вижу сон, и это сон про него и про то, на что он похож.

Просыпаюсь под тихие гитарные переборы. Темно, только красный китайский фонарик совсем низко над кроватью, но он почти не дает света. Смотрю на него долго, и меня как будто покачивает вместе с ним.

Где-то рядом голос Сфинкса поет про черную шину грузовика, в которой круг ржавой травы... За стеной странный шум. Что-то вроде гулянки. Стягиваю с себя одеяло и сажусь. Неужели я прозевал ужин? Такого давно не бывало.

На грунтовой дороге
Солнечный свет с пылью...

Песня Сфинкса ужасно знакомая. Над грифом гитары качается голова Стервятника. И, вроде бы, ноги Валета свисают со спинки кровати. Его правую ни с чем не спутаешь...

— Проснулся? — шепчет Горбач у меня над ухом. — Ты, случайно, не заболел? Чтобы ты прозевал ужин...

— Если и заболел, то не случайно. А что это за шум за стеной?

— Празднуют принятие Нового Закона. Забыл? Мы тоже в некотором роде празднуем. Старой компанией.

Я вспоминаю. И еще свой сон. Камешек у меня в кулаке, совсем мокрый. Теперь я знаю, на что он похож и это очень странно.

Ни слова! Ни слова!

За меня говорят мухи и что-то присочиняет ветер...

Самоге главное — мой сон. Который нужно исполнить. Так мне кажется. Тусклый, розоватый свет фонарика. В нем, как осколки, тарелки с

бутербродами. Звон стаканов, в них колышется черное вино. Старая компания Стервятник, Валет, Слон и Красавица. Рука сама тянется за гармошкой — и сама отдергивается. Не до того. Надо не забыть... Хватаю ближайший бутерброд и ем.

Бреду назад в одинокий домишко...

Горбач нежно свистит в флейту. Раскачиваясь, толкает меня. Позади кто-то раздражающе громко чавкает.

После двух недель одиночества...

Гитару передают Валету, и он раздражается серией печальных аккордов. Бутерброд кончается, а сразу за ним, другой.

Худенький краснолицый в веснушках мальчишка ушел от мира на пять минут, — сообщает нам Стервятник хриловатым тенором. — глядя в стаканчик с мороженым...

Сквозь «Скалистые горы» прорывается шум веселья из других спален. На голос подползаю к Стервятнику.

— Слушай, ты не мог бы одолжить мне свою стремянку? Это очень важно. Только не спрашивай зачем, если не трудно.

Розовый от фонаря, как и все вокруг, он нагибается ко мне и дышит вином:

— Какие проблемы? Конечно. Она твоя на сколько захочешь.

Стервятник шепчется с кем-то, кого мне не видно, потом опять поворачивается ко мне:

— Езжай с Красавицей. Он скажет мальчикам, ее тебе вынесут.

— Спасибо. Я его позову, когда буду совсем готов.

Переползаю бутерброды, ноги и бутылки — и вот я на полу, а камешек у меня в кармане, и мне не терпится узнать, успею ли я то, что задумал, до выключения света. Все поют и гудят — обидно их оставлять, но нужно спешить.

Переодеваюсь в самое теплое, что нахожу. То, что мне нужно в тамбуре, в ящиках под вешалками. Свет плохой, но после фонарика и он кажется ярким. Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды — одну никчемную вещь за другой. Из спальни доносятся гитарные извращения Валета и подробности всяких песен. Я нервничаю, но наконец нахожу, что искал: кисти и банку белой краски с прилипшими к ней тряпками. Беру их, а еще всякую мелочь, которая может пригодиться, и зову Красавицу.

Жду его у двери третьей. Там внутри тихо, хотя в других спальнях лязг и завывания. В вестибюле скачут хохлатые тени плясунов. Среди них, должно быть, и наш Лэри.

На мне самая теплая жилетка, но все равно холодно. У меня в руках

банка с краской вся в подтеках. Остальное — скребок, нож и кисти — я пытаюсь распахать по карманам, где мешают какие-то остатки жратвы, и я вытряхиваю их из на радость крысам, которым посчастливится сегодня здесь пробежать.

Из третьей высовывается Гупи.

— Эй, — окликает он. — Куда ставить?

Я показываю куда. Выносят стремянку. Гупи пыхтит и громыхает, а Красавица все время натывается на ее ножки — больше мешает, чем помогает. Зевая, за ними выволакивается Дронт в пижаме.

— Чертовы Логи слиняли отмечать всякую ерунду, — жалуется он. — А куда нам с нашим здоровьем таскать такие тяжести?

— Приказ Папы есть приказ, — говорит ему Дорогуша, который тоже в пижаме и с подозрительной бутылкой под мышкой.

— Хлебнем за Новый Закон? — предлагает он, подъезжая. — Все так радуются, грех не порадоваться вместе с ними.

Пока стремянку устанавливают, мы пьем какую-то самодельную дрянь, лично им сотворенную.

— А теперь, посадите меня, — говорю я.

Посмотреть, как меня подсаживают, выходят еще трое. Дракон беспокоится, что я свалюсь, а Ангел — что меня стошнит на стремянку Стервятника. На самом верху, видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед Дракона. Места так мало, что банку приходится держать на коленях. И еще страшно оттого, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладыны.

Я тихо вздыхаю и, махнув столпившимся Птицам, начинаю рисовать. Как я и думал, им скоро надоедает мерзнуть, таращась на мои не видимые снизу каракули, и они разбредаются один за другим. От мерзкой фигни, которую Дорогуша почему-то окрестил текилой, кружится голова. Я рисую дракона, стоящего на задних лапах. Дракон получается странный: немного похожий на лошадь, немного на собаку. Рисуй я его в более удобном месте, вышло бы лучше, но здесь и так сойдет. Вывожу клыки и острые когти на передних лапах. Когти — это важная деталь. Когда уже можно догадаться, что передо мной именно дракон, вскрываю банку с краской и замазываю его белым.

Краска — одни комки, волосы и прочая давным-давно затонувшая в банке гадость. Все на моем бедном драконе. Дрожащей рукой вывожу по его хребту белые зубчики. Время мне не друг, хотя я, кажется, успеваю. Но радоваться рано. Не дожидаясь, пока дракон просохнет, достаю из кармана

перочинный нож и начинаю выковыривать дырку глаза.

Адова работа. Когда дырка уже почти готова, банка с краской падает с коленей и летит вниз. Грохот. Еще некоторое время она катается по полу, пока, наконец, не застревает где-то. А я все ковыряю глаз, хотя дырка уже довольно глубокая. Пробую ее пальцем. Остались лилии. На полусыром драконе я процарапываю их кончиком ножа — кривые геральдические лилии — где только можно. Когда заканчиваю, дракон — уже не просто дракон, а Лорд. Потому что если хочешь нарисовать его быстро, и чтобы всем было понятно, то лилия — это Лорд. Ставлю свою подпись.

Когда выключается свет, я уже почти закончил, и ищу в кармане заветный камешек цвета Лордовских глаз. Дракон, стена и я сам — все исчезает в потемках. Это не страшно. Достāju фонарик, свечу в глазницу и вставляю в нее камешек. Он держится. Может, подходит, а может, просто прилип к краске.

Я исполнил свой сон. Вот оно — драконье привидение в лилиях и с Лордовским глазом. Бежит, когтями вперед, в сторону нашей спальни. Это к возвращению, или еще к чему-то, о чем я сам пока не имею понятия. Мое дело было посадить его сюда. Гашу фонарик и сижу в темноте. Весь липкий от краски.

Сижу не знаю сколько, пока внизу не начинают топать, шарить фонариками и куковать.

— Ку-ку, ку-ку, — говорю. — Здесь я. Вы бы еще завтра утром вышли поискать. Может, нашли бы мои истлевшие кости.

— Не скандаль, совушка, — просит Сфинкс. — Кто же виноват, что ты решил ночевать в таком дурацком месте?

— Но-но! — встречает нетрезвый голос Стервятника. — Попрошу не хаять мой царственный насест.

Они светят на меня и хихикают. Потом кто-то спотыкается об банку и вялывается в краску. Тогда хихикать начинаю я.

— Черт! — кричит Горбач. — Весь коридор в дерьме! Он устроил здесь ловушку для ни в чем не повинных людей. Из птичьих какашек!

Меня снимают и уносят. Несет Македонский, а остальные сзади тащат Мустанга. Размахивают фонарями и поют:

За синие горы, за белый туман...

В пещеры и норы уйдет караван...

Больше всего не люблю быть трезвым в пьяной компании. Но мне за ними уже не угнаться. Даже с текилой Дорогуши.

За быстрые воды уйдем до восхода,
За золотом гномьим из сказочных стран...

Вносят меня и входят гуськом. Последним — Горбач, попискивая в флейту. Спальня раскуроченная и страшная. Свет ночников веерами по потолку. Македонский сажает меня на кровать, а «уходящий караван» цепочкой кружит по комнате. Должно быть выискивая «пещеры и норы».

В тарелке с бутербродами распластанная Нанетта. Вынимаю ее, нахожу уцелевший бутерброд, который и съедаю. Остальные тарелки пусты. На моем любимом месте спит Слон в обнимку с каким-то красным шаром. При ближайшем рассмотрении — с нашим китайским фонариком.

Шумели деревья на склоне крутом,
И ветры стонали во мраке ночном...

Рыжий и Слепой вальсируют, натываясь на мебель. Слепой громко считает: «Раз, два, три... Раз, два, три... Раз...» На каждом заключительном «раз» они застывают, вскидывая руки, а танцующий вокруг Горбач натывается на них и тоже застревает.

— За девушек! — провозглашает Стервятник непонятно кому и задумчиво нюхает свой стакан. Что он там нюхает? Вроде бы, они уже вылакали все, что здесь было жидкого. Догрызаю бутерброд. Я сварлив и сам себе неприятен.

Сфинкс плюхается рядом, подмигивает, и доводит до моего сведения:

— Дракон есть существо мифическое... Белый же дракон является существом мифическим вдвойне, будучи, впридачу к прочим своим качествам, альбиносом, то есть патологией даже среди себе подобных.

— Увидел! — удивляюсь я. — Разглядел! В такой темноте!

— Я вижу все. Не потолок же белить ты туда взобрался.

Сидим и смотрим на остальных, которые потихоньку угасают. Кто-то хрипло и фальшиво поет с подоконника.

— А это чье? — спрашиваю я, приподнимая за ремешок незнакомый протез. — Вроде бы, здесь нет никого из этих...

— Это шутка, — мрачно сообщает Сфинкс. — Веселая шутка.

Воровская шутка, можно сказать.

Больше ни о чем не спрашиваю. И вообще ложусь спать. Чувствую себя неопрятным и пожилым. Зато я выполнил свой сон — его нельзя было не выполнить. Долго не могу согреться, а когда наконец согреваюсь и засыпаю, меня тут же будит Черный, который декламирует Киплинга и стучит кофеваркой о спинку кровати. Многие еще не спят, и кто-то пробует его утихомирить, а у остальных что-то в самом разгаре — то ли спор, то ли научный диспут — я засыпаю опять, не вдаваясь в подробности.

Второй раз, ближе к утру, меня будит жуткий гиеновый хохот, переходящий во всхлипывания. Кроме гиены все спят, и даже свет уже выключен.

В третий раз я просыпаюсь на рассвете непонятно от чего. Праздник давно закончился, в окна вползает серое утро. Вокруг лежат вповалку и сопят. Все тихо и спокойно, если не считать еле слышного подозрительного тиканья — той самой гадости, которая меня и разбудила. Ищу на нюх, на слух — и нахожу. Чьи-то часы притаились в одеяльных складках. Осторожно снимаю их с руки, на которой они поселились и, свесившись с кровати и нашарив пустую бутылку, кладу их на пол и крушу доньшком, как молотком. Очень скоро они перестают тикать.

Спящий на полу Черный приподнимается, сонно таращится на меня. Потом падает обратно. Сбрасываю на него чей-то свитер и зарываюсь в свое пропахшее краской гнездо.

ИСПОВЕДЬ КРАСНОГО ДРАКОНА

«За грехи свои надо расплачиваться».

Это вдолбил в меня мой дед, мой сумасшедший дед, который, я надеюсь, горит сейчас в аду, потому что если и правда есть на свете такое место, то оно для него и для таких, как он. Я проклял его всеми доступными мне проклятиями и это его подточило — совсем слегка, потому что он умел сопротивляться, к тому же мы с ним одной крови, и я рикошетом получил часть своих проклятий обратно. Пусть горит, как газовая конфорка, разливая вокруг себя жар, он, не давший мне ни крупинцы тепла...

Белая табличка на стене с непонятными буквами, склоненные головы, пять десятков бритых голов, шепот молений и заклятий... «Три их лимонным соком, черт тебя подери, три, пока не устанут руки, потому что разве бывают ангелы, покрытые веснушками с головы до ног? Нет, не бывают, и ты покрылся ими мне назло, уж я-то наизусть все твои фокусы знаю!» Поэтому ни одного солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат, и, может быть, они и вправду появлялись назло там, где им не полагалось быть, рассыпались по коже ободранной лимонным соком, не видевшей солнца. Белая тога, забрызганная лимоном, засохший венок из ромашек с белой серединкой, и «сотвори же нам чудо, сотвори его!» Чудеса, которые не были чудесами, и лак на ногтях, и цветные линзы от которых слезились глаза. Но... «нангел же не может не быть, мать вашу, синеглазым!» Дед ругался, как матрос, когда его не слышали возлюбленные сыны и дочери. Стоило уйти последнему, лицемерная святость летела в мусорное ведро, и чудовищный старикашка садился поглощать свой обед из трех рыбных блюд. Венок набекрень и тонкие рыбы кости, извлекаемые из чавкающего отверстия. Он никогда не пользовался салфетками. Никогда. «Потому что это излишество, неподобающее божьему человеку, запомни, мой крылатый...» Вилки и ножи ему тоже не подобали. А мне — стол и стулья, и вообще, «ангелы не едят, хи-хи-хи, они сыты духом святым!» А проклятия ангелу подобают? Нет, конечно. Они бьют разрядами чистого тока, пронизывая тело до последнего волоска. Наконец, однажды... зачарованная рыба кость сделала свое дело. Это было первое настоящее чудо, которое я сотворил: из «ДОМА ОТЦА» — большими буквами — перешел просто в дом, который при желании можно было бы называть материнским. Вот только у меня ни разу ни возникло такого желания. Из

дома в дом, из ангела в дебилы, потому что «он даже не умеет читать, этот недоразвитый!» И «...за что нам, интересно, такое наказание?!» Чудеса их только пугали, они были им совсем не нужны. Кроме тех, что показывали по Ящику. Ящик был их богом. Они не склоняли перед ним голов и не шептали молитв, а просто смотрели через прозрачные стекла очков, но результат все равно был одинаков, что тут, что там. С той небольшой разницей, что там я был все-таки зачем-то нужен.

О старом авантюристе, околдовавшем множество людей, писали газеты. Ящик провозгласил это как истину. Но был он вовсе не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но Ящик непогрешим, он никогда не лжет — и меня повели в божий дом, отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли, окрестили — но продолжали приходить письма. И психи с обритыми наголо головами продолжали меня выслеживать, а выследив, валились лбами в асфальт, и цеплялись уже не за край белой тоги, как раньше, а за край свитера, карман куртки, отдирая его с мясом, и «...Боже, как мне все это надоело! Новенькая куртка! Мы целое состояние на нее потратили! Его просто нельзя выпускать из дому — это позор семьи!» И «неужели нам никогда не забыть этот кошмар?» И опять зашторенные окна и лампы, и гудение Ящика, а вокруг дома бродят бритоголовые — они обнюхивают стены, тихо скребут их ногтями в поисках своего ангела, который стал для них настоящим наркотиком, если не чем похуже. И то, что они ищут, надо убрать все равно куда, ведь так жить опасно, и в конце концов «они мочатся в подъезде, все соседи возмущены, и этот стук по ночам, и звонки, и все это невозможно, совершенно невозможно переносить!..» И вот, «материнский дом» сменился просто «Домом». А предшествовала этому молитва. Единственная настоящая из тысяч. Единственная, в которой я попросил что-то для себя самого, не зная толком, чего именно я прошу. Ее услышали — а может, это было просто совпадение, хотя совпадений не бывает, — и я очутился в Сером Доме, в месте, созданном для таких, как я, никому не нужных — или нужных, но не тем.

Только увидев его, я понял: это то самое о чем я просил. На стене было написано «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам... Всем уроненным, зашибленным и недолетевшим! Привет вам, дети стеблей!» Я умел читать, хотя жившие в материнском доме и утверждали обратное. И вошел, веря, что моя молитва была услышана. Я вошел и стал Македонским, оставив позади Ангела и Дебила — обоих без остатка, потому что ...Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес, ни плохих, ни хороших, ни средних.

Я сказал «да» и под пристальным взглядом зеленых глаз стал Македонским — чужой тенью и чужими руками. И я старался, очень старался, хотя сказать «да» — это просто, намного проще, чем потом все время об этом помнить. Серые стены Дома в говорящих буквах, и «не надоело тебе в рабстве, конопатый?» Нет, не надоело, совсем нет, ведь что это не рабство — и вообще, кто из вас знает, что такое рабство?.. Вам знакомо одно лишь слово, и представляется вам лишь негр на хлопковых плантациях — дядя Том или дядя Сэм — а слышали ли вы о тех, с бритыми головами, которых водили за невидимые кольца в носах? Или о ручном, бескрылом ангеле на цепи... Знакомы ли вам лимонные рассветы с ритуальными песнопениями? Чудо взорвавшегося Ящика-пророка, замолчавшего навек? Кот, который вдруг одичал, решив обрести свободу — малое чудо в божьем коробе чудес — я не заколдовывал его, нет, что бы ни говорили, это было просто чудо подаренное ему не мной, но через меня...

В каждом доме свои порядки, которые нельзя нарушать. В каждом доме свой цербер, следящий за порядком. Дед, мать, Сфинкс. Они ставили передо мной заслоны из запретов, перегородки, отделяющие меня от меня самого, но только преграда, которую поставил передо мной Сфинкс, остановила меня. Потому что я сам этого захотел. Сфинкс ни в чем не был виноват передо мной. Он не производил меня на свет и не продавал сумасшедшим родственникам, он не лишал меня детства и не морил голодом. Он поставил одно-единственное условие и больше ничего не требовал. И... Все-таки я сам захотел покоя и тишины, и новой жизни, как у всех, и сам произнес молитву, перенесшую меня в Дом. Вот почему это не было рабством. Только Сфинксу я рассказал о других домах, только он знал обо мне все. Тонкой леской он связывал меня с прошлыми жизнями и незаметно приучал к новой. Он совсем не боялся меня — я давно научился различать страх под тонкими корочками человеческих лиц. Почему именно он, я и сам не знал. Так вышло. Только вначале он неприятно напоминал мне бритоголовых, но потом это прошло. Все что было в нем от них — лысый череп — никогда, никогда я не видел собачьего выражения в его глазах. «Найди свою шкуру, Македонский, найди свою маску, говори о чем-нибудь, делай что-нибудь, тебя должны чувствовать, понимаешь? Ты исчезнешь, если тебя не будет все время с нами». О чем говорить? Что делать? Откуда взять маски, которых никогда не носил и слова, которых не знаешь? Он кричал и ругался, потом успокаивался... «Черт с тобой, не делай ничего, если не можешь, это, в конце концов, тоже маска. Но когда твое тощее тело находится в этой комнате, ты должен присутствовать здесь же, и ты должен что-то делать, чтобы на тебя не пялились и не втягивали в

разговоры». И... С утра до ночи — чужие окурки, мокрой тряпкой по ключьям пыли, губкой по кофейным следам, ложкой в чужой рот, а надо всем этим — глаза, пронзительнее, чем у деда, в них не смотреть ни за что... Это табу, нельзя... И «проветри комнату, Мак». И «передай мне брюки». И «помоги влезть в эту дурацкую майку». «Где спички?» «Помой Толстяка...» И «подгони-ка коляску...» И занозы в пальцах, белых от воды, ноющих от порошка пальцах, и плачущие ранки от заусениц... И «он опять выключился, этот тип... Слушай, где гуляют твои мысли, Македонский?» «Полководец опять в облаках. Дайте ему веник, пусть очнется...» «Он странный парень, этот Македонский, ему только дай поубираться...» Это — и стены Дома, и закон Дома, и воспоминания Дома, и драки, и игры Дома, и сказки Дома — и все хорошо и просто, если бы не страх, который всегда рядом, который можно лишь ненадолго забыть, но совсем ненадолго, потому что он всегда возвращается, обрастая новыми колючками. Страх перед неизбежным концом, перед прилюдным сдиранием новой, свежевыросшей кожи, перед длинноногим Сфинксом, который носит в себе знание обо мне настоящем. Имеющий власть над кем-то, неужели не воспользуется ей?

— Ты боишься меня, Македонский? — зеленые глаза прожигают, и я сворачиваюсь черной коркой с углов, и... Да! Да! Да! Я боюсь, и что дальше? Ты не боялся бы на моем месте? «Если бы я мог быть в двух местах одновременно, в тебе и во мне, я бы не боялся. И ты не бойся. Поверь, мне ничего от тебя не нужно». Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно, я этого не понимал. Он заставлял меня читать и заставлял говорить с ним о книгах, он заставлял слушать музыку и говорить о ней, заставлял придумывать глупые истории и рассказывать их ему. Сначала только ему, потом другим. Он выжал из меня страх и заставил верить себе. И я был счастлив и больше не боялся его глаз. Я вообще больше ничего не боялся, хотя запрет не был снят, мне надо было помнить об этом. Но мне было слишком хорошо, я растаял от тепла, которое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде, от их тепла, от тепла, что я получал от них и отдавал им обратно. Надо было помнить, а я забыл. Первыми начали руки — потихоньку, машинально они крали чужую боль, а я уносил ее в горячих ладонях и смывал в раковину. Она уплывала по трубам, а я стоял на дрожащих ногах, чувствуя усталость и пустоту; это было прекрасно, и — честное слово — вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал своей клятвы. Так я думал тогда. Постепенно вокруг меня вырос мир, сияющий в золоте рассветов и пламени закатов. Я вскакивал раньше всех, босой, и выбегал в коридор, чтобы не упустить самый прекрасный

час, пробежать по пыли, почувствовать свое тело, свои ноги, и как они умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ, дрожа, и пел — старые гимны и песни, которым научился недавно, — распугивая тараканов, и устраивая наводнения. Это был я. Македонский, весь в веснушках, белый и тощий. Македонский — про которого никто ничего не знает. Македонский, который грызет ногти, Македонский, которого надо подкормить, Македонский у которого торчат передние зубы, которому скоро шестнадцать, у которого весь мир, у которого восемь друзей, который счастлив.

А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух, а я молчал, просто жил рядом. Хотел бы я действительно быть лишь одним из них и больше никем.

Я дарил им тайные обрывки, ошметки чудес — то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было, вообще ничего. Это у меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не почуял мою тайну. Это было неизбежно. У них хороший нюх, не испорченный Ящиками и многолюдным наружным дурманом. А я был неосторожен. Маленький Шакал знал, что... Македонский не такой, как все. И Слепой знал. А Волк... Это было смешно и грустно. Его я опасался меньше всех, и, нарушая свое обещание, отдавал ему больше запретных чудес. Как ядовитого скорпиона, я снимал с него то жгучее, что чувствовал, когда проводил ладонью по его позвоночнику, и, пока я доносил его до раковины, оно успевало пустить в меня яд, и ладони распухали от чужой боли, но я был счастлив. Они научили меня благодарности и любви, и ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп. Сфинкс знал, что говорил в тот первый день. «Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес».

В душной, мягкостенной Клетке, двое всегда и близки, и одиноки. Слишком много часов пролетает в близости и в одиночестве, и... «Я же не дурак, Македонский, я же чувствую. Волки всегда такое чуют». И... «Черт возьми, ты что, не доверяешь мне? Разве мы не друзья?» Я должен был услышать это «черт возьми» и вспомнить рыбью кость, и беззубый рот, и седую гриву старого безумца, любителя говорить «черт возьми»; должен был вспомнить и запереться на миллион замков — ведь это было предупреждение — но я забыл прошлые жизни. Мой разум растопило тепло, лившееся из жизни этой. И я заговорил с ним, как когда-то со Сфинксом, отдавая ему в руки свою судьбу, Но он вовсе не был Сфинксом. Я понял это там же, в душной тесноте Клетки, когда он показал кривые клыки и сказал: «Ну, теперь ты мой!» Я угодил в капкан, но было уже

слишком поздно. Я опять сидел на цепи — не ангел, а, скорее, черт, потому что только это ему и было нужно, а я всегда превращался в то, что нужно другим. За одним-единственным исключением. «Эй, не распускай сопли, я ведь многого от тебя не потребую». Я плакал и обнимал его колени, я ползал у его ног, как последний бритоголовый, и кричал от боли очередного перевоплощения. Ведь это очень больно — меняться. «Да что ты развылся, как будто тебя режут, оставь в покое мои ноги, псих несчастный!» Я забился в мягкий угол, но он вытащил меня оттуда, долго тряс и лупил по щекам, с холодным любопытством глядя мне в глаза. Я знал, чего он хочет. Заветные желания Волка ни для кого не были тайной. «Я не хочу его смерти, понимаешь? Я не убийца. Пусть просто уйдет. Сбежит из Дома в наружность и никогда не вернется, ладно?» Стены-подушки в цветочек, белый свет, его потное лицо, и злые руки... И... «Да что ты ведешь себя, как истеричка? Чего я такого страшного от тебя потребовал?» То, что он требовал, было ужасно, но я не сумел объяснить почему. Лучше убить человека, чем сделать его рабом своих желаний. Волк этого не знал. Подобают ли черту проклятия? Конечно. Но я не сделал ничего. До последней минуты, пока это было возможно, я старался быть Македонским. Зная, что завтра все будет кончено. Серый Дом узнает правду и меня раздавят жаждущие чудес. Македонского больше не будет. Будет кто-то другой и будет другой дом, без Сфинкса, без Табаки, где я буду совсем один, и где меня, как выпотрошенное насекомое, распластанного на стекле, будут рассматривать сквозь толстые линзы микроскопа. «Я все расскажу про тебя, чудотворец, каждый Фазан узнает, каждая шавка! Тебя разнесут в клочья, ты понял?» Я отполз и лег на пол, чувствуя приближение тока, покалывание в ладонях и жар, и дрожь в стенах. Мне уже было все равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ — свое падение из окна или с крыши, лучше с крыши — и порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит, во веки веков аминь... Потом пришло освобождение, я вылетел из себя с криком, и унесся прочь, через стены и потолки, через дождь и тучи — прочь, в жгучую космическую темноту.

Два дня он меня не трогал и ни о чем не напоминал. Но я устал жить в страхе. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. А я убежал от своего греха, заперся в ванной, молился и плакал. А потом пошел искать дорогу на чердак. Но ни чердак, ни дороги к нему я не нашел. Тогда я спустился во двор и взобрался на крышу по пожарной лестнице. Я стоял там, у самого края, когда рассвел — , и мир стал бирюзово-золотым, и стрижи пронеслись с радостными криками — а я

стоял, и не мог заставить себя прыгнуть, это оказалось страшнее, чем я думал, намного страшнее. Я опух от слез, я шатался, и просил ветер помочь мне, но как назло ветер был слабенький. Я стоял долго, солнце совсем уже поднялось, а я никак не мог себя заставить. Потом услышал жуткий вопль: мне показалось, что это кричит Сфинкс — и ноги сами толкнули меня. Я прыгнул, но поскользнулся, чиркнул ногой по закругленному железному листу и повис на руках. Разжать руки оказалось еще невозможнее, чем прыгнуть. Я висел и плакал, и меня ласкал ветер. Наконец подтянулся и лег грудью на край. Ладони горели и кровоточили, по ноге что-то стекало, кеда начала промокать. Я уже понял, что я трус и не прыгну. Лежал и ненавидел себя, край крыши втыкался мне под ребра, и солнце пекло. Меня увидел кто-то из девчонок из окна в их корпусе, я услышал еще один крик и залез на крышу целиком. Но встать и спуститься не смог. Так и лежал, пока два белых длинноруких Паука не утащили меня вниз.

Позже я попробовал еще раз, по-другому, но и во второй раз не удалось... В Могильнике меня навестил Слепой. Он пришел в безразмерном белом халате, в котором таких Слепых поместилось бы еще двое, уселся на кровать по-турецки и стал слушать мое молчание. Долго. Потом спросил: зачем? «На мне великий грех, — сказал я. — Его не искупить». Волк отучил меня доверять им. И я ждал. Что скажет этот, затаившийся в себе? Не милый, каким когда-то казался Волк, совсем наоборот. От такого можно ждать чего угодно. Он мог обернуться Сфинксом, которому я дал обещание, и нарушил его: «если хочешь оставаться с нами»... Тогда мне пришлось бы уйти. Мог обернуться Волком и сделать из меня оружие. Я не сказал, кого мне было велено навеки посадить на цепь за порогом Дома. Он мог решить, что обязан мне, а этого я не хотел. «Возвращайся, — сказал он. Никто не узнает». «Почему? — спросил я. И что взамен?» «Дурак», — ответил он. И ушел.

Я вернулся. Время течет, мой грех по-прежнему со мной, и я ничем его не искуплю. Так будет всегда, пока я жив. Многие призраки проходят сквозь стены и сквозь меня, один из них является мне в темноте и показывает клыки. Он на подоконнике, когда я отдергиваю занавеску, он в душевых кабинках, он в ванной, когда я хочу туда влезть, смотрит из-под воды горящими глазами. Я почти привык к нему и больше не срываюсь при встречах. Чтобы не видеть снов, я ложусь позже и встаю раньше, чем прежде. Потому что в снах он может делать со мной все что угодно. Я устал от него, а он устал от меня, но избавиться друг от друга мы не можем. Таблетки помогают, но ненадолго.

Утром я спускаюсь во двор и кормлю собак — тех, что бегают в

предзакатные часы по ту сторону сетки, в наружности. Они уже знают и ждут. Половина моего ужина и еще хлеб. Они рассказывают о своей бродячей жизни, а я рассказываю о своей. Они живут в стаях, я тоже. Нам есть о чем поговорить. Только я никогда не спрашиваю, знают ли они, что такое грех. Но мне кажется, они знают. Иногда, очень редко, я творю для них чудеса: заживляю порезы на лапах, наращиваю шерсть на ожогах или сотворяю фантом Большой Белой Суки, немножко похожий на северного медведя. Им нравится гонять его вдоль сетки. Потом мы расходимся. Они убегают по своим драчливым делам, я ухожу в Дом. Бывает, в коридоре я встречаю Слепого, который возвращается с ночной прогулки. Чаше это случается по пути в двор, но иногда и на обратном пути. Мне кажется, если выйти среди ночи, то он будет в миллиарде облиций и повсюду, совсем как мой призрак. Но ночью я не выхожу, я боюсь темноты.

Я боюсь темноты, боюсь своих снов, боюсь оставаться один и входить в пустые помещения. Но больше всего я боюсь попасть в Клетку один. Если это когда-нибудь случится, я, наверное, там и останусь. А может, не выдержу, вырвусь оттуда как-нибудь не по-человечески, и это будет еще хуже. Не знаю, буду ли я гореть в аду. Скорее да, чем нет. Если он все-таки существует. Хотя я надеюсь, что это не так.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

И катали его, щекотали его,
Натирали виски винегретом,
Тормошили, будили, в себя приводили
Повидлом и добрым советом.

Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них — тоже. Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понуро, с повязанной полотенцем головой. В глазах у меня колючки, в горле — скребущие слюны.

— Эй, — говорю слабым голосом. — Какой сейчас час?

Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом.

— Помирает, должно быть, — говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой.

Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. Зря я его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит. И я уже сожалею о сказанном, хоть и приятно вызывать в людях такие бурные эмоции.

— Что же ты, в первый день Закона? — эгоистично упрекает меня Лэри.

— Дату смерти не выбирают, — говорю.

У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней, но каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала Горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом, по методу Сфинкса, меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо. Вытащив, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс к тому шерстяные носки и два одеяла и шарф, под которым — компресс из спирта.

На этой стадии лечения я уже не разбираю где чей метод и пробую все с себя содрать. Но меня крепко держат. Слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда — совсем маленькую — и торжественно демонстрирует

ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скормливают мед, а чтобы запить, дают молоко с маслом. Приходится все это терпеть, поглощать мед и запивать его молочной рекой, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками.

Бедный я, признающий только один метод лечения больных — нежное обращение.

Сфинкс читает мне вслух отрывки из «Махабхараты», Горбач играет на флейте, Лэри давит в миске лимоны, а Слепой следит, чтобы я не вывернулся, и от всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненно-медовом коконе, и невысказанными остаются все замечания о палачах и пыталъщиках, которые я собирался высказать стае, и они щекочут меня всю ночь напролет, проникая в потливые сны.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Снарки в общем безвредны.
Но есть среди них...
(Тут оратор немного смутился.)
Есть и БУДЖУМЫ...
Булочник тихо поник
И без чувств на траву повалился.

Утром от ангины не остается и следа. От меня тоже почти ничего не остается. Одни кости и сладкий сироп. На медосмотре отмечают мой бодрый вид и молочный запах. При упоминании молока начинает тошнить, но Пауки, к счастью, этого не замечают. Для человека, побывавшего под пытками, я выгляжу совсем неплохо.

Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоём организме дотошные Членистоногие. Когда оказывается, что ничего они в тебе ничего не обнаружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому дни эти тихие. Настороженные, а потом усталые.

Профильтрованный через восемь кабинетов и кучу Пауков, все еще в центре общего внимания как самое слабое звено в стайной цепочке, я валяюсь в одеялах с подарком Горбача: пакетом грецких орехов, колю их, заедаю изюмом, и уже начинаю думать, что это совсем неплохо — быть выздоравливающим. Другое дело, что в коридор меня не пускают, так что я не могу поглядеть на девушек и понюхать Новый Закон в действии. Сфинкс говорит, что ничего интересного там не происходит, но я ему не верю, потому что сидя в спальне он никак не может знать, что происходит и чего не происходит в других местах. Еще очень хочется поглядеть на своего дракона, которого я толком не видел, — но и завтрак, и обед мне подают в постель, а Сфинкс, который меня стережет, тоже ест не сходя с поста. Остаются орехи и изюм. Которые понемногу заканчиваются.

— Будешь ворчать — приведу в гости Длинную Габи, — грозит Сфинкс. — Будет тебе Новый Закон во всей своей неповторимой красе.

— Чашечку кофе, пожалуйста, — говорю я Македонскому, а Сфинксу отвечаю: — Врешь ты все. Слабо тебе ее привести.

— Ты меня не провоцируй, — зловеще предупреждает он.

Но это и не нужно, потому что Длинная приходит сама. Без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и всплывает жирафьей походкой. Плюхается на кровать Македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам:

— Ну привет, чуваки...

Юбка на ней еле заметная и видны резинки на черных чулках, а над ними — полоска белой кожи. Ноги вообще-то красивые. Есть чем любоваться, в отличие от лица. Черный, сняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на Сфинкса.

— Это что еще? — спрашивает он.

— Это я, дорогуша, — хрипит Габи. — А ты как думал?

Черный темнеет лицом. История запертой двери до него так и не дошла, и теперь он воображает что-то интересное, но не совсем то, что на самом деле. Швыряет книгу и тычет пальцем в Сфинкса:

— Это ты ее позвал!

— Разумеется нет, Черный, — оскорблено вздыхает Сфинкс. — Странное у тебя обо мне мнение.

— Тогда кто? Это ведь ты про нее сейчас говорил.

— Это была шутка. И вообще, что ты возмущаешься? Новый Закон принят. Кто кого хочет, того и приглашает.

— Точно, — поддакивает Габи, закуривая. — Да ты не кипятись, парень. Глядишь, придет и твой черед.

— Кто?! — орет Черный, сдирая с ушей очки. — Кто тебя позвал?

— Слепой, — Габи подмигивает Черному. — Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать.

Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из скорлупок. Очень интересная ситуация.

На вежливые замечания Сфинкса о погоде и учителях, Длинная весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбач и Македонский предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встает и начинает слоняться по комнате.

— Это у вас чего? А это? Хорошо живете...

Грудь на стол, задом к нам, и пыхтит над пластиночными рядами:

— Вот это клевая музычка. Я ее, вроде бы, слышала. Зашибись, что за песенка там, на второй стороне, вот уж не знала, что вам такие нравятся.

Горбач бледнеет и вытягивает шею. Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по полсотни отпечатков.

— Пылющие они у вас, — говорит Длинная. — Совсем не чищенные. Нельзя так... — Достает платок, плюет на него...

— Стоп! — орет Сфинкс вскакивая. — Замри, сучка!

Вскочивший одновременно с ним Горбач падает обратно на кровать. И вытирает пот с лица.

— Хочешь орешков? — вежливо предлагаю я Длинной, которая честно стоит замерев, как велел ей Сфинкс, и, наверное, размышляет, стоит ли обижаться.

— В зубах застревают, — ворчит она. Но от стола все же немножко отодвигается. — Нервные вы какие-то. Чуть что — в крик. Заикой можно стать.

— Так день осмотра, — объясняю я. — Все злые. Это такая традиция, можно сказать.

— Ага, — Длинная наваливается на спинку кровати и свешивается в мою сторону. — Меня вот тоже осматривали. Ну и что? Мне это по фигу. Осмотрев я ихних не видела, что ли? Вот помню, как-то раз меня изнасиловали...

Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь.

— Ух, бедняжка, — вздыхает Длинная. — Болеешь, да? Ничего. Бывает. Я вот тоже как-то раз болела...

— Ну хватит, — говорит Черный и встает. — Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел! — Он выходит, гроыхнув дверь так, что все вздрагивают.

— Про чего это он? — спрашивает Габи.

— Так, неважно, — сорванным голосом отвечает Сфинкс. — Дела...

— Наверно, с книжкой в сортир пошел, — фыркает Длинная. — Знаю я эту породу. Очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел?

— Голос сорвал.

— Ну? — удивляется Длинная. — Не хило же ты крикнул.

— Точно, — соглашается Сфинкс. — Весьма не хило.

Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит.

Промаргиваюсь и ловлю ее в фокус. Она бредет к двери.

— Пойду, пожалуй. Мир погляжу. Слепому привет. И этому вашему книгочею тоже. А сами не болейте.

— Передадим, — обещаю я. — Ты заходи, не стесняйся.

— Я не из стеснительных, — хрюкает Габи. — Да ты, небось, и сам уже это просек.

Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады — и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребая в кучку скорлупки.

— Как ты сказал? Заходи, не стесняйся? — интересуется Горбач. — Я тебе этих твоих слов не забуду, Табаки.

— Простая вежливость, — объясняю я. — Так принято, когда гости уходят. Особенно, когда уходит дама.

— Ну-ну, — говорит Горбач. И идет проверять диски. Их целость и отсутствие следов слюнной чистки. А я пью свой кофе и раскладываю пасьянс. Веселая штука — этот Новый Закон. Разнообразит жизнь.

После возвращения Черного, Курильщик начинает расспрашивать, кто такая матушка Анна. Это Сфинкс виноват. Сказал про себя Черному, что он не матушка Анна, чтобы гонять из спальни подружек Слепого. Ну тут он, положим, соврал. Сам гонять не станет, но Длинная вряд ли еще у нас появиться, я Сфинкса не первый день знаю. Черный тоже, но с пониманием простых вещей дела у него обстоят хуже некуда. Поэтому много нервных клеток тратится впустую.

— Так кто она такая? — спрашивает Курильщик. Меня.

Сложный вопрос. Сфинкс ухмыляется. Еще бы. Не его спросили — не ему объяснять.

— Ну, понимаешь, — начинаю я без особой охоты, — жила когда-то, давным-давно, такая женщина...

Хорошее начало. А с чего еще было начинать? С нас, придумывавших себе развлечения? Может с песен, или с шуток Волка — вроде снежной бабы, на которую надели (хотя для этого пришлось ее разрушить и слепить заново) — майку Лэри? С «Ночей сказок»? Если вспомнить все, что придумывалось когда-то... Все, что делалось, чтобы не помереть от скуки...

— Миллион лет назад она была здесь самой главной теткой, — говорю я.

Да... была. Директрисой.

Коричневые, обкрошившиеся по краям фотографии... Полная

женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе. Наверное, щеки ее были красными и обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки. Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой. Лопаты с углем... В спальнях — тогда они назывались дортуарами — дымили камины и печи, и каждый день, из дворовых сараев притаскивались кучи угля, чтобы обеспечить всех теплом.

Дети в грубых ботинках подбитых гвоздями. В куцых курточках с большими круглыми пуговицами. Зимой всегда обветренные щеки. «Дом призрения обездоленных сирот». Дом носил это елейное, пахнущее Диккенсом название, с гордостью. Так значилось на табличке, привинченной к низким, чугунным воротцам. По субботам ее начищали песком, как и все остальное, чему полагалось блестеть. Табличка была огромная, на ней, кроме названия размещались имена двадцати восьми попечителей. Каждому из которых по праздникам отправлялись открытки, исписанные корявыми детскими почерками, плюс письмо от самой М.А. «С благодарностью... Ежедневно возносим молитвы о вашем здравии и благополучии». Может, они и впрямь возносились, эти молитвы о здравии. Ведь каждый попечитель дарил им толику радости, которой в тогдашнем Доме было не так уж много.

Мы сидели в подвале — я и Сфинкс — перебирая кипы заскорузлых бумаг, стянутые проволокой. Бумаги были и совсем истелвшие, и почти целые, но все они, каждый обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры болот. Мы рылись в них с упоением. Эту мою страсть — выкапывание прошлого Дома из самых потаенных его закоулков — разделял со мной только Сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала в лучшем случае с отвращением. Сфинкс же...

— Ого! — шептал он, натыкаясь на связку пожелтевших счетов. — Да это клад! — И мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас.

Сукно серое.

И давние дети Дома облачались в костюмчики из серого сукна.

Мотки шерсти.

И сестры Марии и Урсулы, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами (по сестре на дортуар, по табуретке на сестру), а из-под огрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже, шерстяные носки.

Так, шаг за шагом, бумажка за бумажкой, мы складывали тот давний

Дом. Мы узнали, как выглядели его комнаты, чем занимались его обитатели — и даже страсть М.А. к яблокам не осталась для нас тайной. Зачем это было нужно? Мы и сами не знали. Но разрыли содержимое подвала, как два сумасшедших крота. С 1870 до последнего выпуска. Все это время в спальню стаскивались кипы того, что Волк называл древним хламом, а Лэри использовался в качестве носильщика. Стаю заинтересовал только последний выпуск. Я составил два альбома из самых интересных документов, и мы временно охладели к раскопкам.

И вот теперь я пытаюсь объяснить Курильщику, кто такая была матушка Анна, и самому смешно, потому что это невозможно объяснить, не объясняя, чем тогда был Дом. Пока я гадаю, имеет ли это смысл, язык работает не переставая, и в какой-то момент мне уже самому становится интересно, что это я такое плету.

— Ее здорово боялись. Чтобы ей угодить, надо было быть богобоязненным и знать наизусть кучу древних текстов, которые невозможно запомнить, а когда она помирала, то все время заставляла монашек носить к ней в комнату простыни и пересчитывала их. Это у нее в голове уже помутилось. А когда она померла, и главной стала ее бывшая помощница, то якобы видели призрак матушки Анны, как он ходит из комнаты в комнату и все считает, и пересчитывает и проверяет, в общем, никак не упокоится с миром...

Курильщик моргает и хмурится. Не сразу, потому что занят, но все же я это замечаю.

— Ты что, не веришь? Не веришь? Сфинкс!

— Это правда, — подтверждает Сфинкс. — Все так и было, как говорит Табаки.

— Но вы-то откуда об этом знаете?

— А мы знаем все. Все-все, что есть Дом!

Хотя я слукавил, умолчав про подвал, в моем хвастливом заявлении — неожиданная правда. Я с удивлением слышу ее. Это так. Это мы и искали. Все, что есть Дом. Любой человек рано или поздно спрашивает, кем был его прадед, и выслушивает семейные предания, а мы со Сфинксом спустились в подвал и сами рассказали себе все старые истории. Мне вдруг становится не по себе. Слишком уж оно наше — это место. Мы почти создали его. Ведь ни в каких подвальных бумагах не упоминался призрак, беспокойно бродивший по комнатам и пересчитывавший простыни...

Вечером мне удастся вырваться в коридор. Под предлогом ужина, но на самом деле Сфинксу просто надоело меня стеречь. Вокруг никаких

девушек, а мой дракон снизу совсем маленький и еле виден. Хотя глаз блестит. Но чтобы различить детали, надо быть великаном. А вот следы пролитой краски видны очень хорошо. Даже, можно сказать, бросаются в глаза. Специально проезжаю по ним. В знак своей причастности.

На ужин мерзкое пюре с комками, и мне, весь день объедавшемуся изюмом с орехами, даже смотреть на него неловко. Зато на обратном пути я вижу девчонок. Сразу двух. Сидят на перекресточном диване, выщипывают губку из его внутренностей и бросаются ею в окна. А вокруг куча Псов. Действительно, ничего интересного. Тем более, что подъехать ближе мне не дают, и я не могу послушать, о чем они говорят и вообще поучаствовать в происходящем. Я только вижу, что это Суккуб с Бедуинкой и что губку они потрошат весьма изящно. На этом наблюдения заканчиваются. Длинная больше не приходит, хотя я жду ее весь остаток вечера и очень надеюсь, что она придет.

УЛИЧНАЯ КОПОТЬ

ОСКОЛКИ

Инструкция о времяпрепровождении колясника.

Пункт 1. Клуб гонщиков. Рекомендую всем колясникам, желающим встряхнуться. Гонки в колясках по пересеченной местности. Регулярные состязания с возможностью выиграть кубок «Золотая Ко». Состязания проводятся посезонно.

«...»

2. Общество кулинаров. Собираются по выходным дням в каб. биологии. Если умеешь готовить хоть чтонибудь, присоединяйся. Если не умеешь, но хочешь научиться, присоединяйся тем более. Прим.: желательно приходить со своими продуктами.

3. Общество поэтов. Принимаются все желающие, способные срифмовать пару строк. Если ты не способен и на это, не огорчайся. Достаточно умения слушать других. Желательно, с восторгом. Прим.: не можешь с восторгом — найди себе другое занятие. Поэты обидчивы!

4. Качки-энтузиасты. Преимущества для желающего вступить в это сообщество — не требуется ничего, кроме спортивных трусов. Минусы — думай сам. Они — ЭНТУЗИАСТЫ!

5. Клуб картежников. Закрытый клуб с ограниченным членством. Вряд ли примут, если ты еще не там.

Также:

Астрологи. В Коф. по средам.

Менялы. По вторникам на первом этаже.

Бильярдисты. В бильярдной в любое время.

Гитаристы. В сушильне по понедельникам, средам и пятницам.

Романисты. В Коф. по субботам и воскр.

Контактеры. В пятничные ночи по тринадцатым числам каждого месяца на Перекрестке.

А ПРЫГУНОВ И ХОДОКОВ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Желаю приятно провести время!
«Блюм». № 22

РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА

— Бросьте, — говорит Курильщик. — Такого никто не может знать.

— А мы знаем все! — возмущается Табаки. — Все-все, что есть Дом.

Сфинкс с улыбкой кивает Шакалу, Шакал кивает Сфинксу. Оба ухмыляются, и Курильщику делается тошно. Кажется все сговорились его доводить.

— А ты не спрашивай, — советует Сфинкс. — Сиди молча, и все будет хорошо.

— Может, мне лучше вообще онеметь?

Сфинкс вскакивает.

— Пошли. Прошвырнемся. Подышим уличной копотью. А то ты совсем скис.

Курильщик нехотя сползает с кровати.

— Что значит «подышим уличной копотью»? Очередной прикол?

— Почему ты не слушаешь, когда тебе что-то говорят? — спрашивает Сфинкс на ходу. — Когда отвечают на твои вопросы?

Курильщик не поспевает за ним:

— Кого слушать, Табаки?

Коридор пропускает их через себя, щерясь сочувственными улыбками. Стены кричат: «УБЕЙ В СЕБЕ КУКУШКУ!» «ПЕРЕЙДИ НА НОВЫЙ ВИТОК!»

— А хоть бы и Табаки. Табаки отвечает на вопросы лучше любого из нас. Пытается, во всяком случае.

Курильщик притормаживает:

— Ты это серьезно?

— Абсолютно.

Встречаясь глазами с девушками, Курильщик краснеет. Сфинкс шагает стремительно, словно имея в виду какую-то цель, и Курильщик вспоминает «уличную копоть», насчет которой так и не получил разъяснений.

— Мы что, и правда идем на улицу?

— А как ты думаешь?

— Черт! Хватит отмахиваться от меня этими «А как?» Никак! Никак я не думаю! Тебе что, лень лишний раз рот раскрыть? — Он вжимает голову в плечи, испуганный своей внезапной вспышкой и еще тем, что лицо Сфинкса вдруг оказывается у самого его лица.

— Курильщик... — говорит Сфинкс. — Хочешь поползть по полу?

Курильщик отчаянно мотает головой.

— Я почему-то так и предполагал, — Выпрямившись, Сфинкс отталкивает его коляску коленом. — Тогда води себя прилично и не повышай на меня голос. Я понимаю: интересно проверить, где у Сфинкса кончается терпение. Мне и самому это иногда интересно, но не сегодня. Сегодня я не в том настроении. Так что давай договоримся... — он уходит вперед, так и не сказав, о чем они должны договориться.

Курильщик едет следом, хотя не знает, стоит ли. Кажется Сфинкс уже жалеет, что потащил его с собой. Но он не сказал, чтобы Курильщик остался, и поразмыслив, Курильщик решает все же ехать за ним, как будто ничего не случилось. У лестницы он теряет Сфинкса из виду, но съехав по пандусу, обнаруживает, что тот ждет его на площадке первого этажа.

— Не расстраивайся, Курильщик. Когда я спрашиваю, как ты думаешь, это означает только одно: что мне на самом деле хочется заставить тебя думать. Давай начнем сначала. Seriously ли я говорил о том, что Табаки лучше слушать, чем не слушать?

— Перестань Сфинкс. Я просто так спросил.

Сфинкс заглядывает в урну, набитую окурками:

— Тебе нравится этот запах, Курильщик? Которым тянет из этого сосуда? Полагаю, что нет. Даже учитывая твою кличку, это было бы извращением.

— Тогда зачем ты спросил?

Сфинкс пинает урну и принимает.

— А как насчет уличной копоты? Ответь на этот вопрос — и я отвечу на твой. Ты думал, что я веду тебя в наружность? Что я прогуливаюсь там вечерами, когда у меня плохое настроение, и теперь решил взять тебя с собой? Прямо так, не одетого?

Курильщик достает сигареты:

— Мне просто было интересно, что ты имел в виду, говоря об «уличной копоты». Это неправильно?

— Ты не так спросил. Ты спросил, правда ли мы идем на улицу.

— Зачем придирается к словам? Ты ведь прекрасно понял, что я имел в

виду.

Сфинкс опять пинает урну.

— Это ужасно, Курильщик. Когда твои вопросы глупее тебя. А когда они намного глупее, это еще ужаснее. Они как содержимое этой урны. Тебе не нравится ее запах — а мне не нравится запах пустых мертвых слов. Ты ведь не стал бы вытряхивать на меня все эти вонючие окурки и плевки? Но ты засыпаешь меня гнилыми словами-пустышками, ни на секунду не задумываясь, приятно мне это, или нет. Ты вообще об этом не думаешь.

Бледный Курильщик мусолит в пальцах сигарету.

— Я действую тебе на нервы. Так и скажи. Я могу ни о чем не спрашивать.

— Спрашивай о том, чего не знаешь.

— Да. Например о матушке Анне. Чтобы потом ничего не понять из ваших ответов. Это конечно очень интересно...

— Табаки попробовал о ней рассказать. Не его вина, что ты не поверил ни единому слову. Даже не попытался понять.

— Потому, что он болтал чепуху. Почему его мусор тебя не раздражает, Сфинкс? Почему его слова не кажутся тебе мертвыми? Он болтает без умолку — если бы каждое его слово превращалось в окурочек, Дом бы давно погребло под ними. Осталась бы одна гигантская гора окурочков.

Сфинкс вздыхает:

— Нет. Это гора окурочков лишь для того, кто не умеет слушать. Научись слушать, Курильщик, — и тебе станет легче жить. Научись у того же Шакала. Слушай его внимательно. Как он задает вопросы. Он берет только то, что ему нужно. А болтовня... Он действительно болтун. И любит приврать. Но в мусоре его слов всегда прячется честный ответ, а значит, это уже не мусор. Просто Табаки надо уметь слушать. И не говори, что это невозможно. У других получается.

Курильщик смотрит на Сфинкса с возмущением:

— Сфинкс, не делай из Табаки великого гуру. Пожалуйста! Просто признай, что он на привилегированном положении. Что ему можно то, чего нельзя другим.

Сфинкс кивает:

— Хорошо. Он на привилегированном положении. Ему можно то, чего нельзя другим. Ты доволен? По-моему, нет. Чего ты хочешь на самом-то деле?

Курильщик молчит. Сфинкс выходит с лестничной клетки в коридор первого. Чуть отставая, Курильщик едет следом. Обида заткнула ему рот.

Он едет, думая о том, как трудно быть белой вороной. Как тяжело им живется, и как их никто не любит.

— Возможно, я избалован, — говорит Сфинкс, не оборачиваясь. — Еще Македонским. Его бессловесным пониманием. Или даже Лордом, слишком гордым, чтобы задавать вопросы. Возможно, я пристрастен или раздражен, но, мне кажется, что и ты ведешь себя странно, Курильщик. Так, как будто мне есть в чем перед тобой оправдываться.

Курильщик догоняет его и едет вровень.

— Это правда, что ты избивал Лорда, заставляя его ползать?

Сфинкс останавливается.

— Правда. Правда Черного.

— Но это было?

— Было.

Коридор первого — лампы-фонари, линолеум, испещренный следами шин... В актовом зале кто-то насилует рояль, из раздевалок доносится Песье потягивание. Сфинкс мимоходом заглядывает во все двери. Ищет Слепого и думает: неужели Курильщик не видит, как все это похоже на улицу? Неужели не чувствует копоть и невидимый падающий снег?

На Слепого они натыкаются в самом конце коридора. Он избивает автомат с газированной водой, в надежде вернуть заглоченную монетку.

— Мучает жажда? — спрашивает Сфинкс.

— Уже нет.

Слепой в последний раз бьет по автомату, и на пол падает картонный стаканчик. Слепой поднимает его.

— Девятый, — говорит он. — И хоть бы один полный.

— Слепой, из этого автомата уже сто лет ничего не вылезало, кроме стаканов.

По соседству Пузырь из третьей, рулит по автостраде сбивая встречные машины и сотрясая игровой автомат.

— Тебе Рыжий в этих краях не попадался?

— Что у тебя с голосом? — интересуется Слепой. — С чего это ты осип?

— Оберегал стайное имущество от длинноногих шлюх, — мрачно отвечает Сфинкс.

— Да? Габи заходила?

Сфинкса охватывает жгучее желание пнуть Слепого. Разнести ему щиколотку вдребезги, чтобы любимый вожак надолго охромел.

— Заходила, — цедит он, борясь с собой. — И надеюсь, что больше не зайдет. Что ты об этом позаботишься.

Слепой вслушивается, склонив голову. Потом предусмотрительно заходит за автомат, убирая ноги из пределов досягаемости Сфинкса.

— Мое упущение, — признает он. — Впредь буду более бдителен. Кто это с тобой? Курильщик?

— Он самый. Вытащил его прогуляться.

— Нервничает? — равнодушно спрашивает Слепой. — А я тебе говорил. Черный его попортил.

Онемев от возмущения, Курильщик смотрит на них снизу вверх. На двух наглых, самовлюбленных ублюдков, обсуждающих его так, словно его здесь нет. У Пузыря выключается экран, автомат с дребезгом проигрывает ему несколько тактов похоронного марша. Он слушает, обнажив голову.

В актовом зале прыщавый Лавр отодвигает от рояля стул-вертушку и платком вытирает пот со лба.

— А теперь сыграй что-нибудь не такое занудное, — просят его.

Лавр надменно усмехается в пространство. Никто ничего не смыслит в джазе. Посвещать их бесполезно. Колясники в ошейниках дружно аплодируют. Его улыбке, а не его игре.

Потерянный, Курильщик катается по первому этажу. «Дышит уличной копотью». Он демонстративно отъехал от Сфинкса и Слепого и теперь жалеет об этом. Стоило послушать, что бы они еще сказали. Когда первый приступ злости прошел, Курильщик заподозрил, что все сказанное было адресовано ему. Что как только он отъехал, они заговорили о другом, а Сфинкс еще раз убедился, что он не умеет слушать.

— Ну и черт с вами, — говорит он. — Не обязан я выслушивать ваши дурацкие замечания.

— Чьи? — с интересом спрашивает кто-то, и, подняв глаза, Курильщик натывается на улыбку Чеширского кота в исполнении Рыжего.

— Неважно, — растерянно бормочет он. Ему никак привыкнуть к тому, что с ним заговаривают члены других стай. Их готовность к общению сбивает с толку, как будто он все еще Фазан. Рассердившись на себя, он поправляется:

— Сфинкса и Слепого. Обсуждают меня в глаза, как будто я глухонемой. Это бесит.

Улыбка Рыжего делается шире.

— О-о, — тянет он. — В какие сферы я ненароком взлетел...

Курильщика передергивает. Над ним издеваются. Но невольное уважение к вожаку, пусть даже такому клоуну, как Рыжий, мешает

развернутся и уехать.

Рыжий как ни в чем ни бывало протягивает ему сигареты и закуривает сам, плюхнувшись на пол. Волосы у него, как засохшая кровь, и губы такие же яркие, словно в губной помаде. Подбородок в розовых царапинах от бритья, на шее — связка сухих куриных костей. Он чудной, как все Крысы, а вблизи кажется даже еще более странным.

— Рыжий, — неожиданно для себя спрашивает Курильщик, — что ты знаешь о Матушке Анне?

Рыжий задирает голову. В лягушачьих очках сверкают блики коридорных лампочек.

— Очень мало, — признается он, стряхнув пепел прямо на белые брюки в цветочек. Ужасающе грязные. — Честно говоря, я не силен в истории. Кажется, она тут была директрисой в конце прошлого века. Жутко религиозная. Слышала голоса святых. Этакая Жанна Д'Арк на пенсии. Впрочем, она ведь была монахиней. При ней к Дому пристроили лазарет. До того имелся один жалкий кабинетик с медицинской сестрой и палата на две койки. За каждой мелочью приходилось мотаться в город. Дом-то тогда еще находился в пригороде.

— Откуда ты все это знаешь? — Курильщик потрясен информированностью Рыжего и тем, что тот, оказывается, умеет нормально говорить. Ему казалось, что Крысы объясняются в основном междометиями.

Рыжий пожимает плечами:

— Откуда? Да, в принципе, это все знают. Здесь ведь как? Хочешь что-то выяснить — покопайся в старых бумагах. В дальнем подвале их свалены целые груды. Что-то конкретное откопать нелегко, но, при желании, можно. Ближе к выходу лежат бумаги поновее, а совсем давние — в ящиках у стен.

Курильщик ежится при мысли о том, что Рыжий — Рыжий! — мог копаться в старых документах, интересуясь историей Дома. Да бог ты мой! Если бы его спросили полчаса назад, он бы, скорее всего, ответил, что Рыжий неграмотный.

— И Табаки знает оттуда же.

Курильщик не спрашивает, он утверждает. Но Рыжий расценивает его слова как вопрос.

— Табаки! — смеется он. — Табаки знает лучше всех. Он-то в основном и откапывал эти бумажки. Откапывал, сортировал и заставлял всех читать. Спроси его, расскажет куда подробнее.

Курильщик затягивается с такой силой, что начинает кашлять. Разгоняет перед лицом дым и говорит сипло:

— Он рассказал. Только не упомянул о документах.

— Любит темноту, — соглашается Рыжий, зевая. — Такая порода.

Перед ними возникает Сфинкс.

— А я тебя искал, — говорит он Рыжему.

Рыжий садится прямее:

— Кажется, ты меня нашел.

— Ты подсунул Слепому Габи. Я это кое-как пережил. Но регулярные набег на спальню терпеть не намерен. Учти, если она еще раз у нас появится...

Рыжий вскакивает, так старательно изображая ужас, что Курильщик не может не рассмеяться.

— То ты об этом горько пожалеешь, — заканчивает Сфинкс. — Я ясно выражаюсь?

— Более чем. Ну, а если сам Слепой вдруг...

— Со Слепым я уже поговорил.

Рыжий отвешивает шутовской поклон:

— Все, что в моих силах. Всегда. Я преисполнен рвения, амиго!

— Не паясничай, — просит Сфинкс.

— Не буду!

Курильщик опять фыркает. Сфинкс и Рыжий не обращают на него внимания. Сфинкс задумчиво рассматривает Рыжего, словно пытаясь что-то припомнить. Рыжий почесывается.

— Чем еще могу быть полезен?

— Сними пожалуйста, очки, если тебе не трудно, — просит его Сфинкс.

Рыжий морщится:

— Ловишь на слове? Не очень-то это по-дружески. Ладно, так и быть. Но ненадолго.

Он поворачивается спиной к коридору и, воровато оглянувшись, сдергивает очки. И исчезает.

Во всяком случае, так кажется Курильщику. Что Рыжий исчез. На Сфинкса печально смотрят темные глаза в медных ресницах, а худое лицо их владельца принадлежит какому-то незнакомцу, который никак не может быть Рыжим. Исчезли бритые брови, шрамы на подбородке, мерзкая ухмылка. Глаза ангела стерли их, изменив лицо до неузнаваемости. Длится это наваждение пару секунд, после чего Рыжий надевает очки, и ангел исчезает. Остается неврастеник и извращенец.

— Все, — заявляет он, облизываясь. — Аттракцион окончен.

— Спасибо, — без тени иронии благодарит его Сфинкс. — Я

соскучился по тебе, Смерть. Действительно соскучился.

— Скучай дальше, — огрызается Рыжий. — Смерти больше нет. Оставим стриптиз до лучших времен.

— Извини, Рыжий, — встревает в их разговор Курильщик. — Это конечно не мое дело, но очки тебя очень уродуют.

— Ха! — мрачно откликается Рыжий. — А зачем, по-твоему, я их ношу? Чтобы казаться лапочкой? И с чего это, как ты думаешь, у нас в Крысятнике все дрыхнут в спальнях мешках? Да затем же. Чтоб мне не прикручивать эту блядскую оптику к морде скотчем. Высокая должность, скажу я тебе, не такое дело, при котором стоит выглядеть героем манги.

— Я это давно понял, — говорит Курильщик. — Что вожаку в Доме желательно выглядеть восставшим мертвецом. Почему-то.

— Умница! — радуется Рыжий. — Правильно понял. А еще учти: даже настоящему бывшему мертвецу непросто все время выглядеть, как полагается. Он же не рокфор.

— Откуда ты знаешь, как они выглядят?

— А я специалист в этом вопросе.

Хихикнув, Рыжий кланяется Курильщику — куриные кости на шее сухо побрякивают — и удаляется. Мерзкий, краснотелый, не вызывающий доверия Крысиный вожак. Специалист по ожившим покойникам.

— Знаешь, Сфинкс, — говорит Курильщик глядя ему вслед, — я когда-то играл сам с собой в такую игру: мысленно раздевал всех подряд... ну не всех, в основном вожakov — раздевал их, брил, или там прически менял. Довольно интересная игра. И вот с Рыжим у меня ничего не вышло. Я думал оттого, что у него очки такие. Слишком заслоняют лицо. А, оказывается, это оттого, что то, что под очками, вовсе не он.

Сфинкс смотрит на Курильщика с интересом.

— Странные у тебя игры. Необычные.

Он ни о чем больше не спрашивает, и ничего не уточняет и вообще отходит, потому что кто-то его позвал, но Курильщик так взбадривается от проявленного к нему интереса, что возвращается в спальню почти веселым. Может, все не так страшно? Может, и со Сфинксом можно общаться по-человечески? Говорил же он с Рыжим вполне по-дружески. Поднимаясь в лифте, он слышит, как на лестнице хихикает парочка, только что отлипшая друг от друга с влажным чмоканьем. С площадки этажом выше доносятся звуки гитары. Девушки. Новый Закон.

В туалете четвертой Лэри, присев на край унитаза, достает из кармана пустую пудреницу и, заглядывая в зеркальце, начинает выдавливать угри.

Его дергает от боли. Он шипит, и не переставая шипеть, смазывает ранки одеколоном. Завинчивает флакон и прячет его в унитазный бачок.

В спальне третьей на заправленной постели корчится Стервятник. Брючина подвернута, нога обмотана мокрым полотенцем, но это не помогает. «Громче музыку!» — не открывая глаз, рычит он, и Птицы наперегонки бросаются к магнитофону. Слон, посмотрев на жожака, косолапит к окну. На подоконнике в красном горшке мерзнет Луис — любимый кактус Стервятника. Цветок его съежился жалким клочком пустыни. «Ну, что же ты?» — укоризненно шепчет Слон кактусу. «Не видишь разве? Ему больно. Помоги». За окном кружат чуть заметные снежинки. Первые в этом году. Засмотревшись на них, Слон забывает о Стервятнике.

В классе первой Фазан Джин с черной повязкой на рукаве открывает «Вечер памяти безвременно ушедшего от нас Ара Гуля». Фазаны шуршат бумажками с подготовленными к случаю стихами и вздыхают, в ожидании своей очереди.

Черный в библиотеке листает энциклопедию на букву «Ф». Между страниц сложенная бумажка. Он разворачивает. «Свобода в тебе самом», — многозначительно сообщает косой почерк.

Курильщик рассматривает альбом с репродукциями Босха. Подняв голову, встречается взглядом с Табаки.

— Чему грустим? — спрашивает Шакал.

— А что, нельзя?

«Слушай его», — сказал Сфинкс.

Курильщик слушает.

— Чему? — переспрашивает Шакал.

Он берет то, что ему нужно.

— Иногда мне кажется, что я вас совсем не знаю.

Табаки щедрым жестом распахивает обе жилетки:

— Смотри, вот он я. Как на ладони. Чего тут можно не знать?

Под жилетками замызганная рубашка. Красные жирафики на голубом.

Заканчивается ужин. Воспитатели на своем этаже отгораживаются от Дома дверью с двумя замками, и пытаются представить, что его нет. Со двора выезжают машины работников столовой. Падает первый мокрый

снег, высвеченный фарами.

У лестницы, ведущей к девушкам, Лэри в самой красивой рубашке из оставленных Лордом прощается с белобрысой Спицей.

— Да не бойся ты так, — говорит он. — Они нормальные ребята, вот увидишь. Ты им понравишься. Точно тебе говорю.

Спица мотает головой, челка прикрывает ей правый глаз:

— Ни за что! Не пойду к вам, даже не проси!

Долговязая Габи прячет под матрас фотографию Мэрилин Монро и садится сверху, зябко поджав ноги в черных чулках. На обогревателе сушатся еще три пары таких же. Габи берет их по очереди, просовывает в каждый руку и пытается найти два целых, которые можно совместить друг с другом в одну приличную пару.

В первой комнате Фазаны, размахивая траурными повязками, хором поют, «мужественно сдерживая слезы в этот скорбный час».

В четвертой спальне Курильщик устает от их пения, не слыша его. Карты ложатся на одеяло — Табаки раскладывает пасьянс. Сфинкс играет с кошкой: опрокидывает ее носком ботинка и отдергивает ногу от острых когтей. На кровати Горбача лицом к стене лежит Черный. Снизу его не видно, но все знают, что он там. Он не спит. Он читает стихи Горбача, написанные на стене цветными мелками, читает немного стыдясь, как чужое письмо, случайно оказавшееся перед глазами.

Гаснет свет, и последние застрявшие в коридорах Логи спешат разойтись по спальням. Девушка в коляске, похожая на японку — Кукла — поднимает над головой зеленый фонарик на цепочке. Рядом с ней идет Красавица, почти не спотыкаясь даже в темноте. Кукла красива. Маленькая, с безмятежно гладким лицом. Мимо пробегают Логи с оттопыренными губами сплетников, хихикают, и засмотревшись на Куклу, натыкаются на стены.

Черный уже на своей кровати. Лежит, пытаясь вспомнить так понравившееся ему стихотворение о старике, который вытащил из реки собаку. На верхнем ярусе той же кровати, Горбач яростно трет стену смоченным слюной платком, стирая именно этот стих. Курильщик вздыхает и ворочается во сне. Одеяльные холмы в розовых отблесках ночника.

Меж холмов и складок вырастает белое здание и ползет вверх башней в двадцать два этажа. Загораются кнопки окон. Курильщик взлетает до четырнадцатого и заглядывает в него. Отец, мать и брат, очень прямые, до ужаса смахивающие на манекены, сидят на диване в гостиной и смотрят на него.

Он влетает в форточку, неловко виляя задом и размахивая руками.

— Вот наконец и ты, сынок... Садись с нами.

Он в своей кровати, шторы опущены, в комнате темно. Пол вибрирует. «Что это?» Как солдаты на марше, они въезжают рядами, все с одинаковыми стрижками, черно-белые, как сороки... Фазаны.

— Ну... встать! — скрипит голос покойного (он же умер! я помню!) Ара Гуля и длинный палец-макаронина упирается точно в середину его лба. Лоб сразу начинает болеть, как будто в этом месте синяк. — Встать!!!

«Они ведь знают, что я не могу!» Курильщик лежит неподвижно, а визгливые голоса все выкрикивают: «ВСТАТЬ! ВСТАТЬ! ПОДЪЕМ!» Пока он не начинает плакать.

— Ты не пришел меня помянуть! — шипит Гуль, ввинчивая палец в ноющий лоб Курильщика.

— В этот скорбный час! — поют Фазаны хором: — Когда мы говорим «прощай»...

Они меня хоронят? Но я же еще жив?

На тумбочке горшок с геранью. Курильщик всматривается в ее листья и на одном из них замечает крошечное зеленое пятнышко.

— Иди сюда, — шепчет голос Сфинкса. — Давай, не бойся...

Лист заслоняет комнату. Каждая прожилка на нем — размером с дерево, пушок, что покрывает листья — некошеные травы. На краю этой изумрудной саванны сидит Сфинкс в зеленом плаще с прозрачными крыльями, и болтает ногами.

— Видишь, как все просто? И нечего бояться.

— Мы теперь всегда будем здесь жить?

Лист вздрагивает, слышится отдаленный грохот.

— Что это?

— Это слоны бегут, — отвечает Сфинкс, помахивая длинными усами. Они растут у него прямо из лба. — Бегут... бегут...

— Да, сынок, — отец кладет руку ему на колено. Они в гостиной на диване, рядом мать и брат. — Понимаешь ли, они иногда здесь пробегают по своим делам...

Курильщик всматривается в бежевый ковролин, на котором

отпечатался гигантский след слоновьей ноги.

На чердаке Дома со скрипом поднимается крышка напольного люка. Слепой протискивается в щель и, встав на колени, опускает крышку на место. Сверху на люке есть железное кольцо, а снизу — ничего. Это дверь только для Слепого. Он отряхивает пыль с одежды и, мягко ступая по дощатому полу, крадется через чердак. Пять шагов от крышки люка до стула, обратно почему-то четыре с половиной. Он знает, что стул с дырявым сидением будет там, где он его оставил в прошлый раз. Здесь никто не бывает. Только он сам и Арахна. Она висит в своем углу — крошечная, почти незаметная — и притворяется мертвой. Опустившись на дырявый стул, Слепой достает из-под свитера флейту.

— Слушай, Арахна, — говорит он в пустоту. — Это только для тебя.

Тишина. Чердак — самое тихое место в мире. Отрывистые, дрожащие звуки заполняют его, струясь из-под пальцев Слепого. Слепой плохо представляет, чего он хочет. Это должно быть как сеть. Как ловчая сеть Арахны — огромная для нее, и незаметная для других. Что-то, что и ловушка, и дом, и весь мир. Слепой играет. Впереди ночь. Он выводит знакомые мелодии. То, у Горбача получается красиво, у него сухо и оборванно по краям, только свое у него получается красивее. В погоне за этим «своим», он не замечает шагов проходящей ночи — и она проходит мимо, сквозь него и сквозь чердак, одну за другой унося его песни. Арахна делается все больше. Она заполняет свой угол и выходит за его пределы; серебряная паутина опутывает весь чердак, в центре ее — Слепой и огромная Арахна. Арахна вздрагивает, и ее ловчая сеть вздрагивает вместе с ней — прозрачная паучья арфа от пола до потолка. Слепой чувствует ее вибрацию, слышит звон, бесчисленные глаза Арахны жгут ему лицо и руки, он улыбается ей, уже зная, что получается именно то, чего он хотел, еще не совсем, но уже близко.

Они играют вдвоем, потом втроем, с ветром, поющим в трубах. Вчетвером — когда к ним присоединяется серая кошачья тень. Этажом ниже ее двойник пересекает коридор, летит по ступенькам, останавливается в другом коридоре, и присаживается вылизать грудь и лапы.

Когда Слепой обрывает песню сразу исчезает в пыльном углу Арахна, уменьшившись до размеров ногтя, а кот утекает в напольную щель. Только взбесившийся ветер продолжает выть и стучать по трубам, рвется в слуховое окно, дергает раму — стеклянный дождь — и он врывается внутрь, засыпая дощатый пол мусором и снегом.

Не обращая внимания на осколки, Слепой проходит по ним босиком. Подойдя к звездообразной дыре, протягивает руку в рамку стеклянных ножей, берет с крыши снег — пушистый и мягкий под твердой коркой — и пьет его с ладони.

— Я пью облака и замерзший дождь. Уличную копоть и следы воробьиных лапок. А что пьешь ты, Арахна?

Арахна молчит. Ветер улетает, затухая и тоскуя. Взмолнованный песней кот пушистой стрелой мчится вниз сквозь этажи. Ниже и еще ниже, до пропахшей чужими котами площадки, потом прямо — и оказывается рядом со своим двойником. Три круга кошачьего танца, соприкосновение всезнающих носов, две истории: о ночной жизни дворового мусорного бака и о концерте с пауком. Потом они бегут — лапа к лапе, ребро к ребру — мимо погасшего экрана телевизора, мимо уснувших тел, и наконец сворачивают в дверной проем, в душную темноту, где сидит хозяйка с третьим котом на коленях. Синхронным прыжком коты запрыгивают на острые хозяйские плечи. Их шкуры смешиваются, образуя одно пушистое одеяло.

ДОМ

Интермедия

Ветер звенел стеклом. С крыши капало. Слепой услышал тихое журчание и вздох Красавицы, который, не просыпаясь, устроился поудобнее в собственной луже. Вонючка посвистывал носом. Слепой крался между кроватями, прижимая к груди одеяльный сверток с кедами. Сиамцы лежали в одной постели, с точностью до сжатых кулаков повторяя одну и ту же позу. Волк наверху спал в обнимку с гитарой, когда он ворочался во сне, струны тихо гудели. Комнату заполняли фантомы. Слепой их слышал. Каждый, как призрачную песню.

Над спящим Красавицей снежной горой сверкала необъятная соковыжималка. Она работала без передышки, извергая разноцветные потоки, пахнущие фруктами. Потоки захлестывали кровать и спящего в ней Красавицу, унося его, как на плоту, в апельсиновый океан, и скромная лужица мочи терялась в этом царстве соков, так что ее можно было не замечать.

Над постелью Фокусника шуршал звездным плащом человек в маске — повелитель цилиндров и разрезанных пополам женщин в купальниках. Гром аплодисментов невидимых зрителей распугивал соседних призраков.

Слон спал безмолвным холмиком. С верхних кроватей доносился шелестящий шепот. Их посещали родители Горбача. Безликие люди в ярких одеждах. К их разговорам Слепой никогда не прислушивался. Наверху бывали только они и кошмары Волка. Темные коридоры-лабиринты, по которым Волк, лязгая зубами, убегал в пустоту, и куда за ним устремлялись тяжелые, грохочущие шаги. Волк вскрикивал. Успокаивая его, тихо звенела гитара, привязанная за гриф к спинке кровати.

Миновав фантом соковыжималки, Слепой остановился. От кровати Кузнечика донесся протяжный, бархатный голос старшеклассницы: «Слушай. Когда ты вырастешь, станешь, как Череп. Я это знаю, потому что я Ведьма».

Слепой шагнул, споткнулся о чей-то ботинок, и призраки снов исчезли, спугнутые шумом. Он толкнул дверь и очутился в коридорном блоке, на холодящем босые ноги полу. Надел кеды. И вышел в общий коридор.

Он шел, легкий, как перышко, в изжеванной одежде, с одеялом на плечах — плащом, подметавшим его следы. В одном месте он остановился, отколупнул от стены мажущийся, крошащийся кусок штукатурки и съел. Не удержался и отколупнул еще один. Чумазое лицо побелело от мела. Он миновал спальни старших и классные комнаты, поднялся по лестнице и прошел коридор воспитателей, чистый и сухой, где не было трещин в стенах и неоткуда было брать штукатурку. За одной из дверей гудел телевизор и Слепой задержался его послушать. Наконец он остановился у двери Лося. Осторожно нажал на ручку, хищно ссутулясь, приготовившись бежать при малейшем шорохе. Дверь открылась, и он вошел, вытянув руку, чтобы не стукнуться о дверь туалета, но она оказалась закрыта. Он спокойно подошел к двери спальни, и приник к ней, вслушиваясь в тишину и еле различимое дыхание спавшего внутри. Слепой слушал стоя, потом — опустившись на корточки, слушал как тихую мелодию, говорившую: «Ему хорошо, он спит и не видит снов», потом расстелил одеяло у порога и лег — страж и хранитель егосна, об этом никто не знал и никто не должен был знать. Из-под двери сочилась полоска света, о которой Слепой не догадывался. Но сон его был чуток, и когда за дверью послышался кашель и скрип пружин, он подскочил, как собака, услышавшая чужие шаги. Чиркнула спичка, зашелестели страницы. Слепой слушал.

Он читал долго. Читал и курил. Пружины опять заскрипели, освобождаясь от тяжести, и он пошел к двери, шаркая тапочками. Слепого сдуло под вешалку. Плащ и пальто сомкнулись и укрыли его, сжимающего скомканное одеяло. Лось прошел в туалет, ничего не заметив. Так же он прошел обратно, щелкнув выключателем. Дверь хлопнула. Слепой вынырнул из-под одежды, вернулся на прежнее место и, расстелив одеяло, лег. Полоска света под дверью исчезла. Опустив голову на ладонь, Слепой задремал. Сон его был прозрачен.

Выходя во двор, Сиамец Рекс первым делом обходил ловушки. Их было три, и две из них он сделал сам. Но сработала третья — та, на которую он рассчитывал меньше всего. Цементная яма. Непонятно было, кто ее выкопал и зачем, но ловушка получилась неплохая. Рекс побросал в нее рыбки потроха, найденные на помойке, и прикрыл досками, пряча от посторонних глаз. Дожди мешали проверять яму каждый день, но иногда он о ней вспоминал. Потроха с каждым днем пахли сильнее. В одну из проверок, подойдя к яме, он услышал возню и тихое урчание.

Подкравшись, он встал на четвереньки и заглянул под доску. Пахнуло тухлой рыбой. Облезлый от дождей и грязи рыжий кот, зашипел на него,

выгнув спину. Рекс радостно присвистнул и отполз прочь. Вернулся он с карманами, набитыми камнями. Кот, почуяв свою участь, попытался выскочить. Рекс сбил его обломком кирпича. Потом начал метать остальные. Доски мешали целиться, и камни летели мимо. Рекс боялся, что кот выскочит или что он начнет орать. Кот действительно начал орать, и его вопли привлекли внимание. Рекс не сразу заметил Хромого, а когда заметил, было уже поздно делать вид, что он очутился у ямы случайно.

Хромой — златокудрый горбун с неприятными глазами и вывернутой ногой — был из людей Черепа.

— Развлекаешься? — поинтересовался он, остановившись возле Рекса и заглянув в яму.

Кот метался, штурмуя гладкие цементные стены. Может он бы и выпрыгнул, если бы не подбитая лапа. На трех ногах кот потерял прыгучесть.

— Доставай животное, — велел Хромой, закуривая.

Сиамец попятился. Хромой поймал его за шею.

— Я не могу. Там глубоко. Если убрать доски, он сам выпрыгнет.

Хромой промолчал. Рекс начал снимать доски. Убрав последнюю, посмотрел на Хромого.

— Доставай, — сказал тот безразлично. — Пока я тебя самого не скинул.

Рекс нагнулся и заискивающе помурлыкал, но кот затаился, не подавая признаков жизни. Вздыхнув, Сиамец начал сползать в яму. Прыгать он боялся. Из-за ноги.

Хромой стоял на самом краю. Рекс покосился на него — на злую, безгубую прорезь рта — и, зажмурившись, рухнул на дно ямы.

Кот от его падения совсем обезумел. Рыжей молнией понесся по стенам, срываясь, мяукая, и расшвыривая рыбы потроха... Рекс ощупал ногу и, убедившись в ее целости, попробовал поймать его, но кот не давался.

— Не могу поймать! — крикнул Сиамец. — Он царапается!

— Лови, — ответил непреклонный голос.

Кот выписывал вокруг Рекса летучие зигзаги. Рекс попробовал ухватить его за хвост. Извернувшись, кот полоснул когтями, со сдавленным воплем прыгнул Рексу на голову и выскочил из ямы. В руках у Сиамца остались рыжие шерстинки. Кошачьи вопли удалились в направлении гаражей и взмыли к небесам.

Рекс затаился, выжидая. Лицо и руки горели царапинами. Сначала наверху было только небо. Потом появился Хромой. Окруженный

золотистым сиянием волос, в полосатом пиджаке цвета горчицы. Он держал обломок кирпича. Сиамец испуганно уставился на этот обломок.

— Поиграем, — предложил Хромой. — Ты будешь кот, а я буду ты. Очень интересная игра. Начнем?

Обломок кирпича полетел вниз. Вскрикнув, Рекс присел на корточки, прикрывая голову.

— Интересно, правда? — спросил его Хромой. — Только зря ты не уворачиваешься. Я ведь могу и попасть.

Швырнув еще два камня, Хромой выдернул Сиамца наверх за ворот. Провонявший рыбой, Сиамец висел в его руке, закрыв глаза, обмякший, как тряпка. Но стоило Хромому положить его на землю, Рекс ожил и, переваливаясь по-крабьи, рванул к Дому. Хромой проследил за ним взглядом, сел на сложенные доски и закурил, стряхивая пепел в яму.

В Чумной мальчишки перебрасывались боксерской перчаткой. Кричал транзистор. Фокусник накрывал хомяка цилиндром, поднимал цилиндр — и грустно вздыхал. Хомяк, уже привыкший к цилиндру, жадно ел картофельную шелуху. Сиамец Макс в рубашке в горошек сидел на подоконнике, расплющив о стекло нос и губы, и тоскливо смотрел во двор. Ему было не по себе. Его тошнило от тревоги.

— А Слепой опять ночью уходил, — сообщил Вонючка, обнимая пойманную перчатку. — Интересно, куда?

— Очень хочешь знать — съезди за ним и посмотри, — предложил Волк.

Перчатка стукнула Волка по щеке. Он ее отшвырнул.

— И поеду, — пригрозил Вонючка. — Только он услышит. И никакой пользы от моей поездки не будет.

— Оставь бедного грызуна в покое, — попросил Горбач Фокусника. — Он из-за тебя ест, как сумасшедший.

— Значит, на него действует, — обрадовался Фокусник. — Может, он ест, чтобы не исчезнуть. Лишний вес набирает.

Вошел Сиамец Рекс. Исцарапанный и грязный, провонявший тухлой рыбой. Не глядя на брата, прохромал к своей кровати и лег лицом к стене.

«Я знал» — грустно подумал Макс. — «Что что-то с ним приключилось. Что-то нехорошее».

Сиамец лежал тихо. Двигалась только его рука, бритвой выскребая на стене: «Смерть Хромому». Макс подошел к брату и заглянул через плечо.

Дохлаки тактично ни о чем не спрашивали. Хомяк вперевалку убежал под кровать. Волк рисовал у себя на щеке татуировку.

Дом не спал. Спали разве что учителя и воспитатели, собаки и телевизоры. В недрах Дома, в подвале, у самых его корней, рождалась музыка. Он чуть заметно вздраивал, а она поднималась вверх, струилась сквозь потоки.

По темным коридорам скользили фигуры Чумных Дохлаков. Тихо постукивал костыль Фокусника. Слон сопел под тяжестью Вонючки, сидевшего у него на шее. Цепочкой белых пижам они спустились по лестнице, отворили наружную дверь и вышли во двор, в черноту безлунной ночи. Такой же цепочкой прокрались к подвальным окнам и сели на землю. Потом легли, заглядывая внутрь. В подвале, оборудованном под бар, бесновались старшие. Окна вспыхивали оранжевым и зеленым, стекла дребезжали от топота, в разноцветном калейдоскопе метались темные фигуры. Замерев, мальчишки не сводили с окон глаз.

Прекраснее драк старших только их развлечения. Пивные оргии, фантастические танцы, колясочные вальсы, и дикая, скрежещущая музыка, которую они непонятно где берут. Дохлаки изо всех сил таращились в низкие окошки и уверяли друг друга, что им что-то видно, хотя кроме сменявшихся цветов ничего разглядеть было нельзя. Оставалось только глохнуть, слепнуть и умирать от зависти. Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали от вспышек, и им казалось, что они и вправду что-то видят.

Лежа между Сиамцем и Фокусником Кузнечик глотал цвета оранжевый, зеленый, белый, синий... и воющую музыку. Он ничего не видел, но с каждым всхлипом высокой ноты думал, что вот сейчас, под вой и стон этого прекрасного шабаша, рассыпая искры и дико хохоча, вылетит из подвального окна старшеклассница на метле. Конечно же, это будет Ведьма...

«ДАВАЙ! СКОРЕЕ!» — взвизгнула песня. ...пробьет дыру в стекле, а за ней и в дыру за ней вылетят и все остальные: спланируют вровень с землей, а потом взмоют свечками — один, другой, третий!.. И понесутся среди туманных облаков, на лету превращаясь в веселых, лохматых чертей. А на земле от них останутся разве что оборвавшиеся амулеты... и то лишь может быть.

Песня была об этом. Старшие метались, раскачивались, загорались, окрашиваясь в разные цвета, но оставались на месте, не могли улететь, как будто подвал держал их на привязи. Некому было разбить для них стекло.

«ДАВАЙ ЖЕ! СКОРЕЕ!» — звенело у Кузнечика в ушах. Цвета разрывались вспышками:

Оранжевый!

Зеленый!

Белый!

Синий!

Он дышал ртом, сжавшийся, как пружина.

«ДАВАЙ!»

Зеленый!

Белый!

Ахнув, Кузнечик перевернулся на спину, и с размаху ударил каблуками в стекло. Оно зазвенело, осыпаясь, а Кузнечика подхватили с обеих сторон за руки и потащили прочь, выдернув из прутьев решеток застрявшие было ноги. Еще через несколько шагов он вскочил и побежал сам, обгоняя всех, потому что песня продолжала кричать: «Скорее, скорее!» Только теперь это был призыв к бегству. Дохляки взбежали по лестнице (Кузнечик по-прежнему впереди всех) и с грохотом, спотыкаясь и хохоча, пронеслись по коридору. Троим хромавшим казалось, что они летят быстрее ветра, двоим, тащившим третьего, что они бегут быстро, и даже самому большому, жалобно кряхтевшему в самом хвосте, казалось, что он бежит. А еще им слышался шум погони. Ворвавшись в спальню и повалившись на кровати, Дохляки зарылись в одеяла, как ящерицы в песок. Их душил хохот. Они старались лежать тихо, и только незаметно скидывали под одеялами ботинки. Упал на пол один ботинок, потом другой — всякий раз они замирали, прислушиваясь. Но было тихо. Никто за ними не гнался, никто не собирался проверять, спят ли они на самом деле. Сдавленно дыша, они играли в спящих, покуда хватило терпения. Потом медленно один за другим слезли с кроватей, сползлись на середину комнаты (к тому самому месту, где в их пещере во все вечера горел невидимый костер) и сели полукругом, поджав босые ноги.

— Зачем ты это сделал? — спросил Фокусник.

— Меня два раза уронили, — пискнул Вонючка. — Один раз на лестнице. Я мог насмерть разбиться.

Слон дрожал и сосал палец.

— Я хотел их выпустить, — объяснил Кузнечик. — В небо.

Руки Чумных Дохляков грязные от лежания на асфальте и от ржавых решеток, потянулись его ощупать.

— Эй, что с тобой?

— Это оттого, что ты туманно смотришь, — сказал Горбач. — Я-то знаю.

— Кто-то должен был их выпустить, — сказал Кузнечик. — На волю. Песня была про это.

Он замолчал и пробовал услышать песню. Через два этажа. Но все

теперь было не так. Где-то далеко просто слушали музыку. И никто никого никуда не звал.

— Я бы что угодно отдал, чтобы стать взрослым, — простонал Сиамец, — и оказаться там. Чтобы как они. Я бы и сам что-нибудь разбил. Ну почему мы растем так медленно?

— А я его узнал. Черепа, — похвастался Фокусник. — Правда-правда!

— Никого ты не узнал, — сказал Волк. — Хватит врать.

Красавица обнимал соковыжималку.

— Это было... как сок, — сказал он тихо. — Как будто там все облито соком. Апельсиновым. Потом клубничным. Потом не знаю каким...

— Когда мои письма дойдут, и у нас так будет, — пообещал Вонючка. — Все это ерунда. Подумаешь — ночные пляски. Хлещут пиво и завывают. Тоже мне веселье. У нас будет лучше.

— Их и сейчас слышно, — Волк поднял палец. — Там, внизу. Они, может, и не заметили, что у них стекло полетело. А может, им все равно. Когда они веселятся.

— Давайте мы тоже будем веселиться, — предложил Горбач.

— У нас нет девчонок, — сказал Кузнечик. — И подвала нет. И проигрывателя с колонками. Но когда у нас все это будет, мы точно улетим. Не станем топтаться на одном месте.

— Ага, — закивал Вонючка. — Шарахнешь ногой по стеклу — и улетим в небеса. В белых пижамах, как привидения. Прямо на луну.

— Никто меня не заставит носить пижаму, — проворчал Горбач, — когда я буду взрослый. Пусть только попробуют...

Кузнечик пробирался вдоль стены, наступая в сметенные опилки. По кафе стлался перламутровый дым, облачками переплывая от столика к столику. Из динамиков звучала музыка. Старшие, распластав на клеенчатых скатертях локти, сближали патлатые головы и пускали дым из ноздрей. Общались. Он тихо прошел мимо, и забился в угол между пластмассовой пальмой и выключенным телевизором. Сел на корточки и застыл, переводя взгляд от одного стола к другому.

Это были обычные классные столы, застеленные клеенками. В углублениях для стаканчиков с карандашами стояли пепельницы. Старшие сами придумали это кафе и сами его обставили. Барная стойка была из ящичков, обтянутых ситцем. На ней шипели и плевались кофеварки, сохли стаканы в сушилках, а рукастый старшеклассник Гиббон жонглировал чашками, сахарницами и ложками, разливал, смешивал, взбивал и расставлял свои произведения по подносам.

Со стульев-вертушек на тонких ножках, расставленных по всей длине стойки, за ним следили жадные зрители. Наблюдатели ерзали вельветовыми задами по грибовидным сидениям, ложились на стойку, размазывая коричневые полукруги кофейных следов, запускали пальцы в сахарницы. Этот шик был доступен только ходячим. Колясникам оставались столы.

С листа пальмы над головой Кузнечика свисала картонная обезьяна на шнуре. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на старших. Динамики, прищипленные к стенам, зашуршали вхолостую. Далеко в клубах дыма за стойкой Гиббон вытер ладони полотенцем и сменил пластинку. Кузнечик уткнулся подбородком в колени и закрыл глаза. Это была не та песня. Но он верил. Если сидеть долго и никуда не уходить, в конце концов они поставят ту самую.

За окнами быстро темнело. Большинство столов были заняты. Голоса старших гудели, сливаясь в шелестящий поток. Песня танцевала, постукивала жестянками, вскрикивала. Как будто целая толпа шоколадных людей в набедренных повязках, вертела задами и стучала в песок пятками, а ладонями — в бубны. Кузнечик нюхал кофе и дым. Может, кофе — взрослящий напиток? Если его пьешь, становишься взрослым? Кузнечик считал, что так оно и есть. Жизнь подчиняется своим, никем не придуманным законам, и одним из них был кофе и те, кто его пил. И возможность превратить лекционный зал в кафе, тем самым узаконив его употребление и утвердив себя в правах взрослых.

Протезы лежали на полу ладонями вниз. В пушистой фуфайке цвета асфальта Кузнечик сидел, положив подбородок на колени и сонно сомкнув ресницы. Картонная обезьяна раскачивалась на шнуре. Кто-то подкинул пивную банку и поймал ее. По оконному стеклу побежали серебряные трещинки. Дождь. Раскаты грома заглушили музыку. За столами засмеялись и посмотрели на окна. Гиббон протер стойку. Кузнечик терпеливо ждал.

Шоколадные люди стучали и пели, неумно жизнерадостные, неуместные ни в дождь, ни в наступающие сумерки, чуждые лицам за столами, подходящие только к запаху кофе и его цвету, муляжу пальмы и картонной обезьяне. Почему никто не слышит, что они здесь лишние? Они и их солнечные песни?

Наконец, покачав бедрами и бубнами, кофейно-шоколадные исчезли, к радости и облегчению Кузнечика. Осталось только шуршание и тихий треск затухающих костров. А потом и этот тихий звук перекрыл шум дождя, и кроме дождя не осталось ничего.

Гиббон сменил пластинку. Сквозь шорох дождя просочилась гитара.

Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос — тот самый, что кричал из подвального окна. Зажатый с двух сторон телевизором и пальмой, Кузнечик вздохнул и вытянул с пола руки-не-руки. Над столами и головами старших стонал и шептал голос. Сквозь водные потоки и тучи выглянуло закатное солнце, и комната окрасилась лиловым. Неважно, что это была не та песня. И эта казалась Кузнечику знакомой. Он знал ее как самого себя, как то, без чего не было бы ни его, ни остальных. Вместо подвала было кафе, но голос все равно звал. Уйти куда-то через стену дождя. Куда — никто не знает. И даже стекло разбивать незачем. Пройти его, как воду, потом сквозь дождь — и вверх. Клетчатой мозаикой скатертей и лиц таяли столы, растворяясь в дожде и в музыке. Время застыло. Дождь отстучал по лицам и ладоням. Сиреневый свет исчез, золото растаяло. Только голова Кузнечика золотисто тлела в темном углу — его голова и ресницы.

Песня закончилась, но для тех, кто умел слушать, у голоса на пластинке было еще много таких же. Кузнечик слушал, пока Гиббон не сменил пластинку на другую, с другим голосом, не приковывавшим к себе внимание. Головы старших закачались, пальцы забегали, мусоля стаканы и наполняя пепельницы. С жалобным мяуканьем под столами прошла кошка с блестящей спиной, ей бросили окурок и мятный леденец. Кузнечик вздохнул. В этой песне не было даже кофейных людей. В ней не было ничего. Просто пиццала женщина. Две девушки с ярко-красными губами отъехали от своего стола. Одна подняла с пола кошку и прижала ее к груди. Кто-то включил свет. Везде защелкали выключатели. Над столами засветились зеленые зонтики торшеров. Женщина пела о том, как ее бросают. Уже вторую песню.

Кузнечик встал, отлипая от стены и от нагретого его теплом телевизора. Пальма качнулась, и обезьяна перевернулась пустой задней стороной. Как белая нитка, он прошел между столами, разрезая дымную завесу подводного царства. Подводного из-за зеленых торшеров и позеленевших лиц. Подойдя к стойке, он тихо задал вопрос. Старшие свесились со стульев-грибов, переспросили:

— Что-что? — и засмеялись. Гиббон в белом фартуке посмотрел на него сверху, как на букашку.

Кузнечик повторил вопрос. Лица старших весело оскалились. Гиббон достал из кармана фломастер, почиркал им по салфетке и кинул ее в Кузнечика.

— Прочти, — приказал он.

Кузнечик посмотрел в салфетку:.

— Ведомый дирижабль, — произнес он тихо.

Старшие захохотали:

— Свинцовый! Дурачок!

Кузнечик покраснел.

— Почему свинцовый?

— А чтобы удобнее было стекла бить, — безразлично ответил Гиббон, и старшие опять захохотали.

Под их дружный хохот Кузнечик, мокрый от стыда, вылетел из кафе, пряча в зажиме протеза комок салфетки. Кто им сказал? Откуда они узнали?

В Чумной по стенам летели звери. Подстерегая беспечных прохожих, в засаде прятался гоблин. Кузнечик сел перед тумбочкой на которой стояла пишущая машинка, и разжал зажим. Салфетки не было. Кулак руки-не-руки не сжимался по настоящему. Кузнечик зажмурился, потом открыл глаза и отстукал на клавишах то, что помнил и без бумажки. Выдернул листок и спрятал в карман. Он был расстроен. Дирижаблем. Потому что не мог понять: при чем тут дирижабль? Они толстые, неуклюжие, и давно уже вымерли. А еще тем, что старшие знали про стекло. Что это он его выбил.

— Самое обидное, — сказал Кузнечик, — самое обидное, что это кто-то из вас им рассказал.

— Чего? — переспросил Горбач, свесившись сверху.

— Ничего, — сказал Кузнечик. — Кому надо, тот расслышал.

Красавица был в бумажной короне с загнутыми краями. Он улыбался и его улыбке не хватало зуба. Вонючка во второй такой же короне улыбался выжидающе и с интересом. Его улыбка была чересчур зубастой. Сиамец вырезал из журнала картинки. Он поднял на Кузнечика стальные глаза и опять защелкал ножницами.

— Кто кому чего сказал? — не выдержал Вонючка. — И кому что надо было услышать?

Горбач опять свесился вниз.

— Про стекло, — сказал Кузнечик. — Что это я его разбил. Старшие знают.

— Это не я! — выпалил Вонючка. — Я чист. Никому никогда!

Сиамец зевнул. Горбач возмущенно завопил в одеялах. Слон ковырял карман комбинезона.

— Я им сказал. Кузнечик... Очень хотел. Вас выпустить. Очень волновался. Я им сказал.

— Кому? — Вонючка сдвинул корону набок и поковырял в ухе. —

Кому ты сказал?

— Им, — Слон неопределенно помахал рукой. — Большому. Который спросил. И еще — который рядом стоял. Ему тоже. Нельзя было? Они не обиделись.

Незабудковый взгляд Слона переполз на Сиамца, палец потянулся в рот.

— Нельзя было, да?

Сиамец вздохнул.

— Сильно досталось? — спросил он Кузнечика.

— Нет, — Кузнечик подошел к Вонючке и подставил ему карман. — Достань. Я тут кое-что записал для твоих писем. Чтобы ты упомянул.

Вонючка рванул карман, выхватил бумажку и завертел в руках, внюхиваясь в написанное.

— Ого, — сказал он. — Ничего себе... Думаешь, в хозяйстве пригодится?

Горбач тоже прочел и недоуменно уставился на Кузнечика:

— Дирижабль?

— Я, конечно, могу написать, что бедный парализованный малютка хочет заняться воздухоплаванием, — мечтательно протянул Вонючка. — Мне не трудно. Но поймут ли?

— Это название песни, — перебил Кузнечик. — Или группы. Сам не понял. Если, конечно, Гиббон не пошутил.

— Выясним, — Вонючка спрятал листок. — И напишем.

Слон тяжело протопал по журнальным обрезкам и остановился рядом с Кузнечиком.

— Я тоже хочу корону, — прохныкал он. — С зубчиками. Как у него. — Слон показал на Красавицу.

Вонючка протянул ему свою.

Слон спрятал ладони за спину:

— Нет! Как у него. Красивую!

Горбач снял корону с Красавицы и нахлобучил на Слона. Чтобы не упала, пришлось ее приплюснуть. Слон отошел, боясь шелохнуть головой.

— Обошлось без рева, — обрадовался Горбач. — Повезло.

Сев на свою кровать, Слон осторожно ощупал голову.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Это крик Хворобья! — громко выдохнул он

И на сторону сплюнул от сглазу.

После Помпея я не был на первом. Как-то меня перестал привлекать этот этаж. Можно назвать это трусостью. Но на самом деле я жду. Места бывают плохие, а бывают — временно плохие. Временную «худость» можно переждать. Я думаю об этом все утро. О том, как соскучился по меняльным делам. И о том, что после Помпея времени прошло уже достаточно. Вторники — меняльные дни.

И вот, после уроков я разбираю свое хозяйство. Все, что набито в коробках и в мешках. Ничего путного не нахожу, может, оттого, что давно не менялся. Когда отрываешься от этого дела надолго, теряется нюх на спрос. Роюсь в самых древних залежах, натываюсь на позабытый фонарик с голой теткой. Ручка в виде тетки, которую полагается держать за талию. Гнусная штука. Совсем слегка облупленная. Беру. Становится стыдно, и я набираю еще по три связки бус. Из ореховых скорлупок, из финиковых косточек и из кофейных зерен. Их немного жалко, но если умеешь, всегда можно сделать еще. Увязываю все в узелок. Совсем маленький.

Лезу в пластинки, проверяю дальние ряды. Ингви Малмстин. Не мешало бы обменять. Лэри с ума сойдет, но мне виднее, что у нас в хозяйстве лишнее. И потом, вполне может статься, что менять его окажется не на что. Верну его на место. Я почти уверен, что так и будет. Прячу диск в пакет, чтобы не бросался в глаза, и еду.

Уже на лестнице слышу гул, а ниже мелькают спины. Народу больше, чем обычно. Намного больше. Не понимаю, отчего это так, и только в самом низу вижу, что половина менял девчонки — и удивляюсь своему удивлению. Как будто у них не может быть могло ничего годного для обмена. Опять я забыл про Закон. Мне делается немного не по себе. Вообще-то я застенчивый и не люблю, когда меня застают меня врасплох. Закон — это интересно и здорово, но только не тогда, когда ничего такого

не ждешь. Я как раз и не ждал. Но не поворачивать же обратно, если уже спустился у всех на глазах.

И вот я медленно еду мимо всех — стоящих и сидящих, с тем и с этим — и стараюсь выглядеть как обычно. Как будто они всегда тут торчали, и в этом нет ничего особенного. Впрочем, не так уж трудно сохранять спокойствие, когда вокруг — толпа принарядившихся Крыс и Псов, в которой тебя почти не видно и сквозь которую ты с трудом продираешься.

Филин с лампами и сигаретами в своем углу. За сокоавтоматом — Мартышка с наклейками. Все остальные затеряны среди девчонок. Никто ничего не держит на виду, надо спрашивать — а я стесняюсь и уже понимаю, что зря спустился. Кому сегодня интересны пошлый фонарик и самодельные бусы? Все пришли за новыми знакомствами, менялки — только предлог. Но все равно я еду до конца, чтобы потом с полным правом вернуться обратно.

— Что у тебя? — спрашивает Гриб, пятнистый от прыщей, как мухомор. Смотрит поверх головы. Плевать ему, что там у меня. Просто так спрашивает. Рядом томная Габи держит огромнящий плакат с Мэрилин Монро. И зевает как крокодил.

Быстро проезжаю. К пластинкам очередь из четырех Псов и двух девушек в очках. А сразу за ними — пустота, только одна сидит единственная девчонка. Совсем неожиданно застаю рядом. Вообще-то, чтобы поправить пластинку, которая сползает с Мустанга, одновременно норовя вываливаться из конверта. И вдруг вижу...

У нее на коленях — жилетка всех цветов радуги, расшитая бисером. Горит, переливается, как солнышко. Не может быть, чтобы такую вещь принесли на обмен. Это понятно, но меня все равно притягивает. Как-то само собой. Она поднимает голову. Глаза зеленые, чуть темнее, чем у Сфинкса, а волосы... на волосах она сидит, как на коврике.

— Привет, — говорит она. — Нравится?

Станный вопрос. Нравится ли она мне?! Срочно надо ехать обратно и искать что-нибудь стоящее. За плеер могут и убить, но есть еще рубашки Лорда и мои бесценные амулеты.

— У меня с собой нет ничего подходящего, — отвечаю я. — Так, одна никчемная мелочь. Надо кое-куда съездить.

Она встает. Как ее зовут? Вроде бы, Русалка. Совсем маленькая. Кажется из бывших колясников. А может, я ее с кем-то путаю.

— Примерь. Это очень маленький размер. Вдруг не налезет.

Ингви Малмстин опять начинает сползать.

— Да нет, не стоит, — стараюсь затолкать его поглубже, — я тут

просто гулял себе... — Уши почему-то раскаляются и ужасно мешают.

— Но тебе же нравится? Примерь, — она сует мне жилетку. — Давай. Хочу посмотреть, как она выглядит на ком-то другом.

Снимаю две свои и надеваю эту. Застегиваюсь. Совсем моя. По всем параметрам.

— Здорово, — говорит Русалка обойдя коляску. — То, что надо. Как будто на тебя сшита.

Начинаю расстегиваться.

— Нет, — качает головой она. — Это тебе. Подарок.

— Ни за что! — стаскиваю жилетку и протягиваю ей обратно. — Нельзя так.

Да, была у меня такая нехорошая привычка. Спускаешься в меняльный вторник без ничего, выбираешь, что лучше, и спрашивать хозяина «Не подаришь?» Они, конечно, дарят. А куда им деваться? Потом начали при моем появлении разбегаться и прятать свое добро. Тогда я перестал кланчить подарки. Самому уже надоело. Но брать подарок от девушки я и тогда бы не стал. Совесть у меня все-таки есть. Поэтому трясу перед ней этой прекраснейшей жилеткой и умоляю забрать ее обратно.

— Я ее принесла, чтобы кому-нибудь подарить, — объясняет она. — Тому, кто оценит. Ты оценил, значит, тебе. А то обижусь.

Волосы ниже колен цвета кофе с молоком. А рубашка зеленая, под цвет глаз. Ей подойдут все мои бусы. Поэтому развязываю узелок.

Из него немедленно вываливается пошлый фонарик. Ужас и позор. Но она смотрит только на бусы. И по тому, как смотрит, сразу видно, что в таких вещах она понимает.

— Красота какая, — говорит. — Неужели сам сделал?

— Бери, — отвечаю я. — Они не стоят и кармашка твоей жилетки.

— Эти, — она выбирает финики и сразу вешает на шею. На свете не так уж много девчонок, которым такое пойдет. Но она как раз из таких.

— Эти тоже, а то обижусь, — и сую ей остальные бусы. Я очень спешу, потому что только что краем глаза заметил, что сквозь ряды менял в моем направлении рвется Лэри с перекошенной мордой.

— Пока! Спасибо за подарок!

Быстро отъезжаю. Лэри уже совсем близко, но тут он случайно наступает на чей-то сигаретный склад и его останавливают для серьезного разговора. Поэтому у меня появляется время, и я его использую.

— Эй, кто подкинет до четвертой? Оплата по прибытии!

Сразу находятся три услужливые Крысы. Микроб и Сумах не вышли комплекцией, так что я выбираю Викинга. Он сажает меня на загривок и

мы бежим. Я в новой жилетке очень красивый, он в роли лошади тоже ничего.

— Стой, скотина! — визжит где-то позади Лэри. — Стой!!!

Мы, конечно, не останавливаемся. Погоня! Их я люблю больше всего на свете! Ноги Викинга мелькают белыми бутсами. Меня потряхивает.

— Е-еху! — кричу. — Поддай жару!

Викинг взлетает по лестнице. У него перед глазами бахромой болтаются желтые волосы. Убираю их, чтобы он не споткнулся. Потом выуживаю из-под его ворота шнурочки наушников и запихиваю себе в уши. Длины шнурочков еле хватает, и мне очень удобно, зато теперь мы бежим под музыку.

Да! Никогда не угадаешь сколько радостей может принести обычный меняльный вторник.

Мы бежим. Очень трясущая музыка. Очень резвый Викинг. Крепко сжимаю узелок. Среди коридорных голов мелькает знакомая лысина. Выдергиваю наушники и кричу Викингу:

— Эй, тормози! Прибыли!

Он ссаживает меня на пол. Прямо под ноги Сфинксу.

— Это еще что за верховая езда? — интересуется Сфинкс.

— Не езда, а спасение от верной гибели, — объясняю я, расплачиваясь с Викингом.

— Что это за роскошная жилетка? Раньше я ее не видел.

Рассказать про жилетку мешает подбежавший Лэри.

— Ты его обменял! — орет он. — Моего Ингви! Пусти, Сфинкс! Я его убью!

Сфинкс, конечно, не пускает. Лэри весь в слюнях и в соплях, его вот-вот хватит удар.

— Эй, — говорю, — не распускайся так. Кругом полно Логов. Что они подумают? К тому же, не обменивал я твоего Ингви. Клянусь ногами Сфинкса.

— Тогда где он? Торгаш! Кровопийца!

— В коляске, наверное, остался. Там внизу, где я высадился перед отправлением.

Лэри ударяет себя кулаком по лбу, разворачивается и мчится обратно.

— Пожалуй, Крысы поспеют раньше него, — говорю я вслед. — Знаешь, они ведь такие жадные до чужого...

— Про жадных до чужого ты бы помолчал, Табаки, — Сфинкс садится на корточки, и я влезаю ему на плечи. — Если его диск стащили, подаришь один из своих. Понял?

В ответ я молчу. А что отвечать? Сфинкс не хуже меня знает, мои диски Лэри даром не нужны. Как и мне его. С высоты хорошо видны самые верхние фрагменты настенных росписей, вот я их и рассматриваю их. Хотя Сфинкс шагает быстро, так что особо не порассматриваешь. У входа в спальню свешиваюсь к его уху:

— Знаешь, я лучше подарю ему фонарик. Очень красивый. Даже, в своем роде, пикантный. Идет?

Перерыв между обедом и ужином самый длинный. И к ужину обычно уже звереешь от ожидания. Но это если день скучный, а если не скучный и есть о чем поговорить — совсем другое дело. Мне есть о чем поговорить, и я говорю со всеми подряд, пока сам не устаю от повторяющихся подробностей. Единственный, кто отказывается слушать, — Лэри. Приволакивает своего «Ингви», грозит мне кулаком и уходит. Как будто ему совсем не интересно, откуда взялась моя новая жилетка.

Снимаю ее, чтобы получше разглядеть, надеваю — и снимаю опять. С каждым осмотром она все краше. Даже Нанетта согласна. Нанетта разгуливает вокруг и пробует склонуть бисеринки. Приходится отгонять ее журналом. Считая сегодняшний день, до вторника целая неделя, но я решаю запастись свежими меняльствами, тем более, что в наличии полный мешок со свежей ореховой скорлупой.

В наушниках, чтобы не отвлекаться и не встречать в стайные разговоры, нанизываю скорлупки на леску — только самые маленькие и красивые. Слушаю всякую радиодребедень для детей дошкольного возраста.

Ужас, чем пичкают наружную детвору! Волосы встают дыбом. Сказка о Снежной Королеве совсем неплохая, но мне ее рассказывает грудной женский голос с сексуальными придыханиями и постанываниями, так что сказка приобретает совсем не свойственные ей оттенки.

«Лодку уносило все дальше и дальше», — стонет голос у меня в ушах. — «Красные башмачки плыли за ней, но не могли догнать! Может, река несет меня к Каю? — подумала крошка Герда...» — Голос замолкает от волнения.

Скорлупка, еще скорлупка...

Черный роется в тумбочке, потом в столе. Находит бритвенный станок и уходит, увешанный полотенцами. У него уже растет борода. А у меня ничего не растет...

«Давно мне хотелось иметь такую маленькую девочку», — со значением сообщает шипящий вампирский голос. — «Дай-ка я причешу

тебя, моя красавица». — Кого-то причесывают. Подозрительно при этом хрустя. «Ой, я засыпаю, что со мной?» — пищит Герда. Герде за сорок, и это как минимум. Очень увлекательная история. Нитка бус почти готова, пальцы жутко устали и болят. Дырявить орехи совсем не так просто, как можно подумать. Дую на пальцы и вешаю первую заготовку на гвоздь. Красивые получатся бусы. Скорлупки почти одинаковые.

«Кар-кар-кар, здравствуй девочка!» — Ворон, судя по голосу, не дурак выпить. А его супруга — первое молодое существо в этой постановке — каркает нежным сопрано... Беру вторую леску.

Вбегает Горбач. Лицо у него очень странное, сразу понятно: что-то стряслось. Роняю орехи, смотрю на его губы. В детстве я умел читать по губам, но с тех пор много времени прошло. К тому же он все время отворачивается, не разберешь... Проще всего снять наушники, но мне почему-то страшно. Потому что, кажется, он только что сказал «Лорд». А этого быть не может.

«Да-да, это он! Это Кай!» — озвучивает у меня в голове Герда-за-сорок. — «Ах, ну проводи же меня скорее во дворец!»..

Краем глаз замечаю, что Сфинкс слегка не в себе. Пятится до кровати и садится, не сводя глаз с Горбача. Входит Слепой. Тоже странноватый с виду. А за ним коляска Лорда, а в ней Лорд, а толкает коляску Ральф.

«Это только сны... Сны знатных вельмож...»

Сдираю наушники к чертовой матери.

Тишина. Слышно гудение Дома за стенами и даже наружность — ведь это настоящая тишина, какая у нас бывает очень редко. Ральф смотрит на нас, мы на Лорда. Гремит самый громкий в моей жизни звонок на ужин. Ральф поворачивается к выходу и сталкивается в дверях со свежевыбритым Черным.

Черный ему:

— Извините... — а потом, — Ой! — это он заметил Лорда.

— Да ради бога, — отвечает Ральф и выходит.

А мы глядим на Лорда. Это действительно он. Живой, настоящий, не в песне и не во сне. Можно пощупать, понюхать, подергать за волосы... Надо узнать, надолго ли его к нам и еще кучу важных вещей, но я в ступоре и никак не могу из него выйти. Лорд сидит сгорбившись. Жалкий, как тот, что померещился мне под гармошку. Голова острижена. Не наголо — но лучше бы наголо. Потому что стриг его какой-то шизофреник. Волосы торчат неровными пучками, а кое-где, как при стригущем лишае, сквозь светлую щетинку просвечивает кожа. Не мог быть в своем уме тот, у кого поднялась рука на волосы Лорда, да еще таким манером. На нем куртка

Горбача и моя жилетка. Обе в значках. Глаза стали еще больше, лицо меньше, пальцы теребят значки, а глаза бегают. Ужас, как выглядит. А еще ужаснее, что все молчат и только смотрят.

Начинаю нервно раскачиваться. Обстановка все хуже и хуже. Наконец Слепой подкрадывается к коляске и протягивает Лорду сигареты:

— На, покури. Какой-то ты уж очень тихий.

Лорд вцепляется в них, как утопающий в спасательный круг. И я сразу выхожу из ступора. И остальные тоже. Я ползу на предельной скорости, но успеваю последним. На Лорда уже налетели, пихают, щупают, нюхают, орут. Я вливаюсь в общий хор и заглушаю всех. В разгар приветствий Лорд вдруг начинает плакать.

— Все, хватит, — сразу командует Сфинкс. — Все на ужин. Оставьте его в покое.

Но я слушаться не собираюсь. Влезаю ему на колени — оттуда ближе к ушам — потому что надо же объяснить, как я по нему скучал и все такое. Слушает он, или нет, неважно. Он роняет сигарету, взамен ему дают еще шесть.

— Волосы у тебя, — Горбач ерошит уродливую стрижку, — просто кошмар. Кто это постарался?

— Как тебе в моей жилетке? — спрашиваю я. — Если хорошо, я не буду ее отбирать. Тем более, у меня теперь еще одна, совсем новая.

— Ты насовсем? — осторожно уточняет Сфинкс.

Лорд кивает.

— Ура! — кричит Горбач и подбрасывает в воздух Нанетту. Слепой с огорченным присвистом щупает голову Лорда.

— А у нас теперь Новый Закон... — начинаю я, но Сфинкс не дает ничего рассказать.

— Ужинать! Марш! — кричит он сварливо. Меня снимают с Лорда и уносят, хотя я сопротивляюсь.

В коридоре я рядом с Горбачом, который разговаривает сам с собой:

— Я знал, что он стоящий тип... — и это, конечно, про Ральфа. А чуть дальше от нас Сфинкс и Слепой:

— Пахнет психушкой, — это уже Сфинкс про Лорда.

Разгоняюсь и наезжаю им на пятки. Мне плевать, чем там пахнет от Лорда. Главное — он вернулся, а все эти разговоры — ерунда. Когда случается такое случается, можно только петь и греметь чем-нибудь. И я пою. Пою, буйствую и переворачиваю посуду. Я делаю Лорду огромный бутерброд и поливаю его сиропом. Бутерброд, а также тарелку, скатерть и себя. Из супа вытаскиваю мясные тефтельки — тоже для Лорда, на каждую

вытащенную две уроненных — и прячу их в другой бутерброд. Вокруг озеро жира и сиропа. Сфинкс смотрит на меня бешеными глазами, но молчит, зато Лэри заявляет:

— Если меня спросят, то я не из его стаи. Перед людьми же стыдно...

Потом мы едем обратно: я быстрее всех, но под конец отстаю, потому что вспоминаю про Ральфа и начинаю его высматривать. Я бы ни о чем не спросил, даже если бы и нашел его. Но Ральфа нигде не видно, поэтому мне кажется, что мог бы и спросить. Например, откуда он привез Лорда. Это так интересно! А у самого Лорда не спросишь, нельзя. Не принято, некультурно, бестактно, одним словом, нельзя, если только Лорд сам не скажет, а он ничего не скажет, это я понял, стоило только его увидеть. Поэтому высматриваю Ральфа, но его не видно, так что я нагоняю своих, которые тоже застряли, принимая поздравления от тех, кто уже узнал, что случилось.

Я бы тоже с удовольствием принял поздравления, но у меня бутерброды, которые текут и засаливают все вокруг, так что я машу рукой и проезжаю мимо. Вроде бы, среди поздравляющих затесалось две или даже больше девчонок, но, опять же, времени присматриваться и удивляться нет, потому что я очень спешу.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Разберем по порядку. На вкус он не сладкий,
Жестковат, но приятно хрустит
Словно новый сюртук, если в талии туг,
И слегка привиденьем разит.

С утра, наблюдая за Лордом, подмечаю много странного. Он не меняет свитер, украсившийся кофейным пятном. Роняет свою подушку на пол и не замечает этого, а заметив, не спешит сменить наволочку. Дарит Лэри две свои самые красивые рубашки, а когда я по ошибке надеваю его носки, не скандалит и вообще удивляется моим извинениям. Все это мелкие мелочи, но из таких мелочей состояла существенная часть того прежнего Лорда, которого я знал. И странно видеть, как он не делает того, что не задумываясь сделал бы раньше, и наоборот — делает то, что прежде ему и в голову бы не пришло. В наружности он оставил вместе с длинным волосами немало других вещей, и я не знаю, радоваться этому или грустить.

— Вот какое дело, люди, — делится с нами Лэри до пути с завтрака. На нем голубая рубашка Лорда с белыми цаплями и выглядит он в ней шикарно. — Я ему говорю: извини, Лорд, одел тут кое-что из твоего, пока тебя не было. Сам понимаешь, нельзя же с девушкой гулять, когда весь в обноски... Говорю и жду, чего он мне сейчас устроит. А он мне: бери, говорит, их себе насовсем. И эти, и еще какие захочешь. Вывалил передо мной рубашки: бери давай, не стесняйся... Ну я и взял. Так он мне потом еще и зажигалку насовсем отдал. Говорю: до чего классная у тебя, Лорд, зажигалка. Просто так говорю, без задних мыслей, а он раз — и мне ее в карман. Бери, говорит, если нравится.

— Ты у него скоро последние трусы выклянчишь, — ворчит Горбач. — Имей совесть, оставь человека в покое.

— Да я просто так сказал! Без задней мысли!

Мы с Горбачом качаем головами. Лэри краснеет и замолкает. Но у

двери класса опять останавливается, преградив нам дорогу.

— Ладно. Черт с ней, с зажигалкой. Честно говоря, я знал, что отдаст, потому и похвалил. Но вы мне скажите, разве раньше я бы мог подумать, что он вдруг отдаст? Никогда бы не подумал. Вот скажите мне, что это с ним такое. Он вроде как на себя не похож. Он ведь только с виду наш. А ведет себя совсем по-другому. Это вам как, не подозрительно?

— Катись ты! — Горбач толкает его в грудь. — Дай пройти. Встал на дороге и порешь всякую муть. Зажигалка задницу не жжет?

Лэри огорченно рассматривает центральную нагрудную цаплю, весь в подозрениях, что Горбач ее заляпал. Даже ткань ощупывает.

— Зачем толкаться? — спрашивает он. — Говорю, чего вижу, не хотите — не слушайте. Зачем сразу толкаться и намекать на всякое? Я что, не рад что ли, что его привезли? Очень даже рад! Но есть мнение, и я его высказываю. Потому что не просто так ведь все эти истории про оборотней рассказывают. Тут есть о чем подумать.

Горбач тянется к его вороту, но Лэри, увернувшись, забегает в класс. Мы с Горбачом переглядываемся.

— Подлая душонка, — говорит он. — Надо было ему врезать.

Дергаю себя за серьгу, кручу ее в ухе.

— Вообще-то надо было. Этому никогда не помешает. Но кое в чем он прав. Я тоже заметил. Лорд здорово изменился.

Горбач удивленно хмурится:

— Конечно, изменился. Повзрослел, вот и все. И соскучился. Лэри — дурак и не понимает, но от тебя я не ожидал. Где твои глаза? И уши, и все остальное?

Он проталкивает меня в дверь и пятится на свое место. Пристраиваюсь к столу, раскладываю тетради. Ухо горит оттого, что дергал серьгу, щеки — от слов Горбача. Гляжу на Лорда. Он за соседним столом — рассматривай, сколько душе угодно. Он корпит над моей тетрадью, что-то исправляет в моих каракулях. Я не просил, но он и раньше так делал без всяких просьб. Горбоносый профиль, тонкий и неестественно красивый, над замусоленными листами. Даже мерзкая стрижка с проплешинами не смогла его изуродовать. Волосы не желтые, как раньше, а бежевые, какими были у корней. Еле заметной тенью проступает борода. Вернее, ее призрак. Может, поэтому, а может, из-за слов Горбача, мне кажется, что Лорд действительно повзрослел. Неужели все дело в этом? Только в этом, и больше ни в чем? Весь урок ни о чем другом и не думаю.

За окном завеса снега. Падает и падает, только к ужину перестает.

Двор весь в складках и холмиках под белым, сахарным одеялом, очень красивый. И наружность не похожа на себя, и вообще кругом так тихо, как будто Дом вдруг очутился в зимнем лесу. Жаль, что уже темно, и не видно, как вся эта снежность сверкает и искрится.

После ужина народ высыпает во двор. Я тоже еду. Снег я люблю, и хотя коляски в нем увязают намертво, он приносит немало развлечений.

В удобном месте вываливаюсь в сугроб, леплю кучу снежков, и всем, кто шел мимо, достаётся снежком по затылку. Я вообще очень меткий, всегда попадаю куда хочу. Было бы чем бросаться. Ко мне присоединяется Лорд. Вдвоем мы задаем жару ходячим из шестой и Лэри с его шайкой. Логи все как один в полосатых вязаных шапочках с помпонами, таких ярких, что и целиться не нужно.

Когда появляются девушки, все уже порядком разошлись и остервенели. Их забрасывают снежками прямо на крыльце, даже во двор спуститься не дают спуститься. Но на крыльце снега тоже навалом, а прятаться там удобнее, так что как только они приходят в себя, то отвечают целой лавиной снежков. Мы с Лордом на самом открытом месте и не можем сбежать, поэтому больше всех достаётся именно нам. Я вбит в сугроб и временно выхожу из строя, а когда вылезаю, кругом полно полуразвалившихся снарядов, а Лорд ранен прямо в рот. Он плюется, вперемешку со снегом вылаивая проклятия.

— Как ты назвал их? — уточняю я. — Нежные и прелестные?

Лорд не успевает ответить. Девчонка в синей куртке залепляет ему снежком в переносицу, и, вскрикнув, он с мстительным видом начинает лепить целый арбуз. Пока он занят, я отвлекаю огонь за себя и сбиваю высовывающиеся шапки, но девчонка в синем все-таки умудряется залепить в него еще два раза. Наконец Лорд приподнимается и зашвыривает свой смертоносный снаряд ей под ноги. Взрыв и вопли. Синяя куртка падает, как подстреленная. Мне как-то не верилось, что эта штука долетит, куда надо, я удивлен и даже восхищен, о чем тут же и говорю Лорду. Он смотрит растерянно.

— Я ведь ее не очень сильно зашиб, как ты думаешь?

— Думаю, она упала, чтобы сделать тебе приятное, — говорю я. — Вряд ли ее так уж зашибло.

Но Лорд не верит и ползет проверять лично. Вообще-то слово «ползет» ему не подходит. Это медленное слово, а Лорд передвигается очень быстро. Но сейчас ему мешает снег, и пока он добирается до цели, девчонка успевает встать и вытряхнуть большую часть снега из волос. Он спрашивает что-то снизу. Она смеется и качает головой, потом плюхается

рядом в сугроб, должно быть, чтобы он не чувствовал себя неловко рядом с ней, стоящей. Так они и общаются — оба белые, залепленные снегом, как пара комиков угодивших в гигантский торт. Нет времени смотреть на них — кто-то обстреливает меня из-за перил, и я отвечаю, хотя противник невидим, и все мои снежки впустую разбиваются о крыльцо. Жду, не высунется ли этот кто-то, но он, — вернее, она — хитра и не высовывается, хотя меткости это на пользу не идет, и снежки летят мимо. Можно сказать, мы взаимно мажем.

Наконец я случайно смотрю вверх и в окне нашей спальни вижу силуэт Сфинкса. И неважно, что это лишь силуэт, неважно, что его невидимый рот сейчас, наверное, улыбается. Я знаю, о чем он думает, глядя на нашу снежную свалку. Полжизни я вот так же провел на подоконниках, таращась вниз и задыхаясь от зависти. Поэтому одной его далекой тени достаточно, чтобы растерять всякую охоту резвиться.

Отбрасываю заготовленный снежок и ползу к Мустангу. Ползу целую вечность, обстреливаемый со всех сторон, а когда, наконец, доползаю, выясняется, что Мустанг весь скользкий и мокрый, потому что какой-то умник додумался использовать его как прикрытие. Пробую влезть, соскальзываю. Мне удастся это с третьей попытки, но снег вокруг весь разворочен, и Мустанг накренился набок, и наметво увяз. Печальная сцена. Мне помогают Конь и Пузырь, добросердечные Логи третьей. Вкатывают на крыльцо, где нас тут же окружают девушки и просят меня остаться и поиграть с ними еще немножко. Приятно и неожиданно. Всю дорогу на второй и до спальни я потею от волнения, вспоминая, как меня называли «Вильгельмом Теллем». Притом парней во дворе было навалом. Весь ходячий состав Дома, плюс самые чокнутые колясники.

Коридор пуст. Только Слепой бродит взад-вперед, разбрасывая ногами сырые опилки. А Сфинкс, когда я въезжаю в спальню, все еще стоит у окна и недовольным тоном допрашивает Македонского, с кем это Лорд любезничает, сидя по горло в снегу, и что за девица носится вокруг Черного с сальными глазами.

— Не понимаю, Сфинкс, — говорит Македонский, — как ты можешь разглядеть отсюда чьи-то глаза там внизу?

Высушенный и обогретый сажу в халате над шахматной доской. Напротив Сфинкс. Дергает бровями, изображая усиленную работу извилин, но сам больше прислушивается к дворовым воплям.

— Кипяти воду, — говорит он Македонскому. — Скоро явятся, начнут требовать чай и загоняют тебя до смерти.

Македонский ставит чайник на плитку и подсаживается к нам. В углу доски у меня тайная засада, которую Сфинкс не должен заметить, поэтому я пою отвлекающие песни-путалки, и таращусь в другой угол, где готовится фальшивая атака. Слепой сидит с ногами на столе. Зевает и ковыряется в распотрошенном ящике с инструментами. Дворовые крики все тише, наконец, они переходят в коридор. Взвизги и топот: кто-то несется галопом, и его на бегу забивают снежками.

Оборачиваюсь к двери с преувеличенным интересом, а когда смотрю обратно на доску, моя хитроумная засада разрушена, и Сфинкс кончиком граблезубца спихивает с доски мою королеву.

Королева вверх ногами в пепельнице — игра, считай, закончена. Македонский говорит:

— Сколько снега нанесут! — а за дверью грохот и скрип, и, отряхнувшись, они вваливаются, белые, как толпа снеговиков: Черный, Горбач, Лорд и Лэри, а с ними две девушки: синяя куртка и фиолетовая — всем ужасно весело. Лэри с идиотским гоготом обрушивает в самый центр доски крупный снежок.

Фигуры повержены, Сфинкс, криво улыбаясь, вытирает лицо коленом. Очень любезно скалится, но Лэри все же раздумал бросать второй снежок. С той же идиотской ухмылкой он разбивает его о свою голову.

Черный и Горбач помогают девушкам раздеться. Куртки летят на подоконник, снимаются шапки и разматываются шарфы. Девушка в синем оказывается огненно-рыжей. Конечно, это Рыжая — лицо, как у лисички и чернильные глаза. А девушка в фиолетовом — Муха, очень смуглая и зубастая, вся усыпанная родинками. Опознав их, подпрыгиваю на подушках и приветственно верещу.

Они сразу, не сговариваясь, садятся на пол. Сфинкс пристраивается туда же, а Черный и Горбач мечутся, раскладывая вокруг чашки, тарелки и пепельницы, и кругом мокрые, хлюпающие следы, которые Македонский незаметно подтирает тряпкой.

Тоже сползаю на пол. Располагаемся полукругом. Я под кроватью, как черепаха, только голова торчит. Пьем чай. Над нами очень живописная коллекция мокрых носков на веревке, она тянется через всю комнату и пахнет сыростью. На батареях сохнут ботинки. Рыжая и Муха в одеялах, как индейские скво, и из-под одеяльных капюшонов текут струйки дыма.

Лэри самозабвенно ковыряет в носу, как ему кажется, незаметно для окружающих. Лорд и Горбач тоже в одеялах, Македонский бродит между нами раздавая чашки, магнитофон бурлит никому не нужной информацией,

в общем, мы очень приятно, по-домашнему, проводим время. Не совсем так как провели бы его друг с другом или со «Старой Чумной Гвардией», потому что девушки — это все-таки девушки, и их присутствие сковывает. Можно сколько угодно представлять себе, как говоришь что-то ужасно остроумное, но сами остроты не придумываются, разве что плоские и вымученные, совершенно не заслуживающие произнесения. Лучше уж молчать, чем говорить такое. И до поры до времени я молчу. Только приноживаюсь и слушаю других.

Все обсуждают снежные бои. Никак не могут успокоиться. Я сижу ближе к Рыжей, из-под ее одеяла виднеются босые ступни. Молочно-белые, расцарапанные, с поджатыми пальцами. Когда она говорит, пальцы шевелятся. Муха тихо раскачивается, сопит и хихикает. Давится дымом и стягивает одеяло с головы. Теперь видны сверкливые зубы и маленькие кольца в ушах — по пять в каждом ухе. Брови присыпаны алмазной пудрой. Муха гримасничает и корчит рожи, похожая на вороватого цыгана. Может, оттого что все время выпячивает губы, а может, оттого что шевелит ноздрями. Ее проще простого представить себе за каким-нибудь необычным занятием вроде конокрадства. И говорит она слишком быстро — даже для меня.

А Рыжая молчит. Если не курит, то грызет ногти. Глядя на них со стороны, любой сказал бы: вот скромная и тихая девушка, а вот — развязная и болтливая. Все просто и понятно, выбирайте, кому какая по душе. Но те из нас, кто знакомы с ними с детства, знают, что все не так просто, как кажется. Потому что именно Муха пять лет — от шести до одиннадцати — молчала, не будучи ни глухой, ни немой, и пряталась под кроватями от любого, кто пытался к ней подойти. А Рыжую примерно в то же время воспитатели прозвали «Сатаной». Даже меня так не называли. Так что кротости в ней не больше, чем во мне, и то лишь если поверить, что с тех пор она притихала с каждым годом.

Дергаю ее за край одеяла:

— Эй, Рыжик, а девчонок сейчас сажают в Клетки?

Она нагибается ко мне:

— Конечно. Только они в нашем коридоре, а не в Рептильем. Крестная не доверяет нас Ящикам. Они вечно пьяные и распускают руки. Сама нас запирает, сама выпускает. Ключи только у нее.

— Ух, — говорю. — Ей это подходит.

Крестная — железная леди Дома. При взгляде на нее кажется, что при ходьбе она должна бы погромыхивать и позвякивать, как Железный Дровосек. Но стучат только ее каблук.

Лэри спрашивает, как поживает новая воспитательница. Новая воспитательница девочек — любимая тема Логов. Они ее обожают. С тех самых пор как впервые увидели.

— Пока притирается, — сообщает Муха. — Миленькая, но какая-то уж очень нервная. Наверное, не возьмет себе отдельную группу. Так и останется на побегушках. А волосы у нее натуральные, представляете? Натуральная блондинка. Очень красивый оттенок.

Лэри сглатывает слюни и мечтательно вздыхает. По мне, так таких блондинок лучше всего живьем в землю закапывать. Может она и красивая, не знаю. Я видел ее два раза, но оба раза мог смотреть только на часы. Здоровенные, с луковицу. Тикающие, как бомб а с часовым механизмом. Гнуснейшие из им подобных. Мне было как-то не до волос.

— Наш Толстый в нее влюбился, — рассказывает Сфинкс. — Мы выгуливали его на первом, а она вышла от Акулы прямо нам навстречу, и Толстый сразу выкинулся из коляски и пополз к ней. С огромной скоростью. Мы и не знали, что он так умеет.

— И чего? — спрашивает Муха, сделав большие глаза.

— Ничего, — морщится Сфинкс. — Обслюнявил слегка. Но крику было много.

Некоторое время мы молчим, отдавая дань разбитому сердцу Толстого. Рыжая вылупилась из своей паранджи — и в красной футболке Горбача плюс к собственным огненным волосам она — как горящий факел. На такое лицо просто нельзя было сажать черные глаза. Это пугает и оставляет царапающее ощущение на коже.

Муха вертит головой, что-то высматривая.

— А где ваша ворона? У вас ведь ворона живет? Так хочется на нее поглядеть!

Горбач идет доставать Нанетту, которая в это время смотрит десятый сон.

— Как дела у Русалки? — спрашиваю я. — Такая маленькая, с длиннющими волосами, — уточняю внешность, потому что не уверен, что правильно помню кличку.

— Это к ней, — Муха тычет пальцем в Рыжую. — Они из одной комнаты. Самая жуткая комната у них.

Не глядя на Муху, Рыжая вздергивает брови. Подбородок на коленях, задумчиво водит пальцем по губе.

— Я хотела сказать, самая оригинальная, — кашлянув поправляется Муха. — Самая необычная комната, я хотела сказать...

Горбач приносит заспанную, оцепеневшую от негодования Нанетту и

демонстрирует ее девушкам. Муха осторожно гладит синеватые перья. Птица вздрагивает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой. В более бодром состоянии истребительница бы вражьи пальцы в кровь.

— Прелесть... Душечка, — безмятежно воркует Муха. — Красавица!

Душечка и красавица косит начинает угрожающе похрипывать и Горбач поспешно возвращает ее на насест.

— Душка! — не унимается Муха. — Так бы и съела ее.

— Сначала запасись вставными глазами, — советует Черный. — Она вовсе не такая уж душечка.

— Ну нет, — ноет Муха, расстроено провожая взглядом Нанетту, — не может быть, чтобы такая прелесть была злючкой.

— Так как там Русалка? — снова спрашиваю я. — Мы с ней немного пообщались вчера.

Рыжая смотрит на мою жилетку и улыбается.

— У Русалки всегда все хорошо, — говорит она. — Бывают на свете такие люди. А может, вид у них такой. Они редко, но встречаются, Люди, у которых не бывает проблем. Которые так себя ведут, как будто у них нет проблем.

Все смотрим на Македонского. Он краснеет и путается в шнуре кофеварки. Пока распутывается, мы на него уже не смотрим.

У меня во рту странный привкус от нашего разговора. Как будто я тоже знаю, какая она — девушка, что шьет лучшие в мире жилетки и дарит их первому встречному. После такого разговора надо покурить. Мы с Рыжей закуриваем одновременно, только к ней, в отличие от меня, со всех сторон тянутся зажигалки, первая от Лорда, и я вдруг замечаю, что он какой-то странно пунцовый и глядит на Рыжую тоже как-то странно. Обшаривающе и огненно. Даже, можно сказать, хищно. Это так бросается в глаза, что я слегка смущаюсь. И кошусь на Сфинкса — заметил ли он?

Сфинкс если что и увидел, по нему этого не скажешь. Крутит граблей пепельницу, весь из себя сонный. У них с Волком всегда был такой вид, когда они настораживались. Фальшиво дремлющий.

— Я вот защищал-защищал свое ухо, — невпопад сообщает Лэри. — А мне все равно по нему попало. Да еще как сильно. Боюсь, опять воспалится, как в прошлый раз... — Он щупает ухо, потом рассматривает пальцы. Как будто от того, что он потрогал свои уши, воспаление могло из них выпасть, перейдя на руку..

— По тебе не скажешь, что у тебя проблемы с ушами, — любезно отмечает Муха.

Лэри задумывается. Расценивать ли эти слова как комплимент.

Обсуждаем последнюю выставку. Картин там было раз-два и обчелся, зато Дракон из третьей выставил расписанного себя, и это действительно было интересное зрелище. На Дракона страшно смотреть и без росписей. А уж на разрисованного... От разговора о выставках Курильщик немного оживляется и рассказывает о паре выставок, которые посетил в наружности. Потом мы обсуждаем «Гадальный салон». Я там поработал неделю гадалкой-хироманткой, так что мне есть чего рассказать. Муха и Лэри сплетничают о девчачьих воспитательницах, то есть конечно Муха сплетничает, Лэри только поддакивает, а мы с Рыжей затеваем спор о Ричарде Бахе, тоже вполне себе сплетнический. Сходимся на том, что хоть он и писал неплохие книги, но с женщинами себя вел, как скотина. Чего стоили хотя бы поиски «Единственной», в ходе которых девушкам приходилось чуть ли не сдавать экзамен по пилотированию самолета.

— Курящие исключались с ходу! — кипит Рыжая. — Только потому, что он, видите ли, не курил. Как будто нельзя бросить, если уж очень приспичит.

Мне хочется еще поговорить о Русалке, но я не решаюсь.

Слепому интересно, когда вернется из похода в наружность Крыса — главный Летун Дома, которой он надавал заказов на крупную сумму. Рыжая не знает, когда вернется Крыса. Никто этого не знает. Даже сама Крыса. Черный начинает выпрашивать, где Крыса ночует в наружности и как ей удастся оставаться там так подолгу, но ни Рыжая, ни Муха ничего не могут ему сказать, потому что сами ничего об этом не знают.

Рыжая глядит в потолок.

— У вас когда-то была стена, на которой жили звери... — совершенно невпопад говорит она. — А дверь вы держали запертой. И ставили перед ней ловушки. Крысоловки и капканы. Так говорили. Я представляла себе эту вашу стену так часто, что в какой-то момент стало очень важно увидеть ее на самом деле. Тогда я влезла в вашу спальню через окно...

— Там решетки и нет карниза, — шепчет Лорд, не сводя с нее горящих глаз. Рыжая глядит на него мельком и усмехается.

— Тогда решеток еще не было. А вдоль стены есть такой крошливый выступ. Я прошла по нему до середины и испугалась. Проторчала там целую вечность, не могла пошевелиться. Пока меня не засекли старшие. Это было ужасно.

— Они тебя сняли, — угадываю я. — Притащили лестницу и спустили вниз.

— Нет. Они просто стояли внизу и смотрели. Им было интересно. Пришлось идти дальше.

— Ага, — содрогается Горбач, — смотреть с интересом они умели. Лучше не вспоминать...

— Не мешай! — Я подползаю ближе, подозревая, что вот-вот услышу что-то ужасно интересное. Что-то важное. — Ну, ну! — подбадриваю я Рыжую. — И чего было дальше? Ты влезла и...

— И очутилась в вашей спальне, — Рыжая, смущенно улыбаясь вертит окурок. — Сначала просто радовалась, что стою на земле, такой надежной и твердой. Потом рассматривала стену. Она оказалась не совсем такой, как я ее себе представляла, но все равно была удивительная. У нее как будто не было краев. С обеих сторон, — Рыжая разводит руками, показывая что-то необъятное. — Трудно объяснить. У меня было мало времени, я знала, что вы вот-вот вернетесь, а ведь еще надо было заставить себя вылезти в окно, пройти по этому жуткому карнизу и съехать по трубе... Но я не удержалась. Нашла в тумбочке толстый фломастер и нарисовала на стене птицу. Она получилась такая невзрачная, уродливая... Испортила вам всю стену. Я так расстроилась, что даже не заметила, как вылезла обратно и спустилась. Потом пол ночи проревела.

— А через два дня, — заканчивает Сфинкс, — ты вернулась, чтобы раскрасить свою чайку. Белилами. И подписалась — Джонатан. И Джонатан стал оставлять нам подарки...

— Господи! — стонет Горбач. — Так ты и была Джонатаном? А мы-то мучились, капканы расставляли...

— Вот это вот, — сообщаю я своим ногтям, — это и называется потрясением. Когда вдруг узнаешь неразгаданную тайну. На старости лет. От такого запросто можно получить психическую травму. Понимаешь, Черный, мы все время находили...

— Я все понял, — перебивает Черный. — Не надо объяснять.

Но ему не понять. Ни ему, ни Лорду с Македонским, ни Лэри. Поймут только Стервятник, Валет, Красавица и Слон. Если им рассказать. А больше никто.

Все чем-то тихо шуршат. Горбач хлопает себя по карманам, Слепой тоже где-то роется. Я выуживаю из уха серьгу. Наши руки встречаются над расстеленным одеялом. На ладони Горбача бронзовый колокольчик. У Слепого — монета на шнурке. Я держу серьгу. «Дурнопахнущему пирату от Джо, Летуна над морями» — цитирую я. — Только записка, конечно, давно потерялась.

Рыжая кусает губу:

— Вы их храните! До сих пор!

— Это же подарки Джонатана, — смеется Сфинкс. — Реликвии. Если

я не ошибаюсь, одна даже перешла по наследству к Лорду. Ракушка.

Лорд хватается за ракушку и сжимает ее в кулаке. С очень фанатичным видом.

— Да, кстати, — припоминаю я. — Больше всего подарков получал Слепой. Почему-то. Всяким жадным людям было даже как-то обидно.

Рыжая вспыхивает и бросает на меня взгляд в котором смешаны упрек, просьба не углубляться в воспоминания и еще много чего, так что язык сам собой прикусывается, а в голове начинают вертеться запоздалые догадки насчет того, кто по какой причине очутился этим вечером в нашей спальне.

— Вот как? — говорит Черный, отпивая остывший чай и ни на кого не глядя. — У Джонатана, значит, были свои любимчики?

Рыжая краснеет еще сильнее, но гордо выпрямляется и кивает:

— Да, были. И сейчас есть. А что?

Под взглядом Лорда, я бы на месте Рыжей, такого говорить не стал. Вообще в присутствии полыхающего очами, нечеловечески красивого Лорда, я бы на ее месте потерял дар речи. Но девушки — странные существа. Если ей больше нравится Слепой, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов Джонатан не просто так рисковал жизнью, лазая в чужие окна.

— Я вспомнила один пасьянс, — говорит Муха, смущенная общим молчанием. — Называется «Голубая Мечта». Почти никогда не выходит, но если вышел, считай, главная мечта сбылась. Интересно, правда?

— Жуть, — говорю я. — Показывай скорее. У меня полным-полно всяких мечт.

Македонский передает карты и отодвигает чашки на край одеяла. Муха начинает раскладывать пасьянс, по ходу давая путанные объяснения. Рыжая дрожит и кутается в одеяло, поджимая под него босые ноги.

— Если ты замерзла, надень мои носки, — предлагаю я. — Потом вернешь как-нибудь. Когда зайдешь к нам еще.

Она не возражает, и Македонский идет доставать из шкафа мои носки.

— Может, и мой свитер? — робко говорит Лорд. — Он теплый...

— Вот, — горестно сообщает Муха, застыв с последней картой в руке, — не вышел! Как всегда. Я же говорю, он почти никогда не выходит. Это специально так, чтобы было интереснее.

Она поворачивается к Лорду:

— Можно я надену твой свитер? Я тоже что-то замерзла. Прямо вся дрожу.

Лорд вяло кивает:

— Конечно.

— А какая у тебя голубая мечта? — спрашиваю я Муху. — Та, что никогда не выходит?

Она отмахивается от меня картой:

— Что ты! Нельзя рассказывать, а то никогда не сбудется.

Горбач и Лэри тайком позевывают. Рыжая натягивает мои носки.

— Хорошо у вас, — говорит Муха. — Но вроде уже поздно. Ни у кого нет часов?

— Шшш... — шипят на нее со всех сторон, и удивленная Муха зажимает себе рот.

— Чего? — бормочет она в ладонь. — Я что-то не так сказала?

— Не стоит упоминать в присутствии Табаки вот это самое, что ты только что упомянула, — говорит Горбач качая головой. — Правда, не стоит.

— А чего я такого упомянула? — шепотом спрашивает Муха. — Я уже и сама не помню.

Горбач и Лэри стучат себя по запястьям и таращатся на несуществующие часы. Лэри, подразумевая меня, с преувеличенным отвращением, но бедную Муху его вид окончательно запутывает.

— Что это? — спрашивает она. — Болезнь какая-то?

От этого разговора, и особенно от жестов, меня начинает тошнить. Слегка. Обиженный что, что они заостряют внимание на моих психических аномалиях, отползаю под кровать и зажимаю уши — пусть себе обсуждают. От одного упоминания часов, я еще никогда не впадал в буйство — это всем известно. Когда выползаю, говорят уже о другом. И вообще собираются.

Девушки стоят без одеял, у Мухи из-под серого свитера Лорда торчит собственный, пестрый. Одергивая оба, она любит свое отражение в полированной дверце шкафа и весело скалит зубы. Лэри натягивая сапоги, поет дифирамбы ее ременной пряжке, которую я прозевал. Македонский сворачивает одеяльную скатерть. Сфинкс и Слепой тоже собираются, а Лорд, отъехавший в угол, чтобы освободить пространство, следит оттуда за Рыжей, как охотник за дичью, пристально и жгуче.

Чтобы ничего не пропустить, выползаю совсем. Хотя пропускать уже нечего: гости уходят, вечер давно стал ночью, диджей приветствуют страдающих бессонницей — еще чуть-чуть, и все впадут в предрассветный ступор. Самое печальное из состояний. Не все могут болтать ночь напролет, не теряя при этом бодрости, как, например, я. Рыжая до сих пор на моих носках и, вроде бы, так и собирается уходить, значит, есть надежда, что придет еще. Хотя может, конечно, просто передать с кем-нибудь носки.

— Пока, — говорят они с Мухой мне, Лорду и Македонскому. Все остальные намерены их провожать. С фонариками.

— Пока, Джонатан, — говорю я Рыжей. — Приходи еще.

Она неопределенно кивает и косится на Слепого. Слепой, конечно, не в курсе, но мог бы и догадаться, потому что остальные честно выдерживают паузу перед тем, как начать ее уговаривать, уступая ему первенство. Заодно уговаривают и Муху, а Лэри, хихикая, даже предлагает им прихватить с собой Длинную Габи. Совсем дурак.

Наконец они выходят. Всей компанией. Остаемся мы с Македонским, Курильщик, и Лорд, который с уходом Рыжей, сразу теряет всю сверкливость и огненность, сделавшись тусклым и мрачноватым.

Влезаю на кровать и начинаю приводить ее в порядок. Расстелив пакет, стряхиваю на него пепельницы и огрызки того и этого, отрываю от прутьев спинки катышки жевательной резинки, сгребаю в кучу учебники и тетради. Когда весь беспорядок сместился к подножию постели, раскапываю себе в изголовье нору и ныряю в нее. Темно и уютно, тихо шваркает веник Македонского, а Лорда вообще не слышно. Нагоняю на себя немного сонного тумана, совсем слегка, для большего уюта, и начинаю вспоминать.

Джонатана. Призрака нашей комнаты. Наверное за всю историю Дома, только у нас был свой собственный призрак и мы этим очень гордились. Не сосчитать, сколько раз мы обсуждали его подарки, пытаюсь угадать кто он, сколько устраивали засад и ловушек, в которые он ни разу не попался. Что окончательно убедило всех в его нечеловеческом происхождении. Сначала мы подозревали ближайших соседей. Потом старших. Но ни те, ни другие не могли ничего знать о наших ловушках и засадах, а Джонатан каким-то образом узнавал. Отчаявшись поймать его самого, мы пробовали вычислить его по почерку. Неделями собирали образцы, выкрадывая из учительской тетради, оставленные для проверки. У нас их скопилось целая куча и мы как раз собирались ее уничтожить, когда на нее наткнулся уборщик и выдал нас дирекции.

Лежу, перебирая в памяти события тех дней. Смешно. Никому из нас и в голову не пришло стащить хоть одну девчоночью тетрадь. Потому что Джонатан, ясное дело, был мужчиной. Мы одного не понимали: почему он не придумал себе более интересную кличку, почему выбрал имя? Когда надежда вычислить его исчезла, мы стали писать ему записки.

«Почему Джонатан?»

Вместо ответа нам была оставлена тонкая книжка про чайку. Мы прочли ее друг другу вслух, как было у нас тогда принято. Из-за Слепого, из-за Красавицы, читавшего по слогам, и из-за Слона, так и не одолевшего

алфавит. Это повелось как-то само собой. Лучшим чтецом был, конечно, Волк, и ему доставались самые длинные куски, а худшим, по общему утверждению, был я. Мы узнали все про чайку Джонатана, но и это не помогло нам понять, кем был наш тайный гость. Книжка не была библиотечной и улики не прибавила, а громкие упоминания о чайках не вывели на предполагаемого хозяина книги. Из старших книжку читали почти все, из младших — только мы.

«Ты чайка?» — спросили мы Джонатана в следующей записке. Джонатан промолчал, но оставил подозрительное бурое перо. Перо мы сохранили и показывали всем, кто хоть немного разбирался в орнитологии. Знатоки сошлись на том, что оно не чайчье, но сказать, чье именно, не смогли.

Я вспоминаю все это и еще много разного из тех времен, засыпаю, просыпаюсь, опять вспоминаю — и вдруг до меня доходит, что я упустил возможность раскрыть одну из загадок, мучивших нас в детстве. Как она узнавала про наши засады? Откуда? То, что Джонатаном оказалась Рыжая, абсолютно ничего не объясняет. Чем больше я думаю, тем делается обиднее, что не догадался спросить. Теперь придется ждать ее следующего прихода. А она, может, и не придет больше. От таких мыслей сон окончательно улетучивается. Ворочаюсь и вздыхаю, обзываю себя глупцом. Ну я, допустим, не сообразил, а что же остальные, якобы умные? Никто не спросил о самом главном! А может быть... Может и спросили. Даже наверняка! Встряхиваюсь, высовываюсь из норы, и осматриваюсь.

Спят. Все как один, свински посапывая. Курильщик в ногах, Сфинкс слева, а Лорда что-то не видать, хотя на подоконнике какой-то романтически уединившийся силуэт любителю звездами, и это, скорее всего, он. Пихаю Сфинкса в бок.

— Эй, проснись! Мне срочно нужно кое-что узнать!

— Табаки! Скотина! — Сфинкс поднимается, сонно мотая лысиной. — В жизни не встречал второго такого вредного типа! Чего тебе?

— Ты случайно не догадался спросить, как она узнавала о наших засадах? Вот это самое главное и интересное?

— Догадался, — ворчит Сфинкс, ложась обратно на подушку. — Но тебе не скажу, потому что ты ведешь себя, как свинья.

— Сфинкс! Ну, пожалуйста! Я ведь не засну. Ну скажи... — тихонько пихаю его в процессе молений, — Скажи, Сфинкс...

Он опять садится:

— Черт бы тебя побрал, Табаки! Я бы все тебе рассказал, когда мы вернулись, если бы ты не спал! Я, между прочим, пощадил твой сон, и хотя

бы из благодарности...

— Я не спал! — возмущенный, вылезая из норы целиком — Вот же, видишь, я совсем одетый? А если бы спал, то был бы в пижаме.

— Понятно. Я должен был раскопать твоё гнездо и проверить, одет ты или в пижаме.

— Должен был! Тем более, что я вовсе не спал. Я размышлял.

Слепой садится на своём напольном матрасе:

— Да скажи ты ему, Сфинкс! Он же, если не выяснит, всех нас к утру изгрызет.

— Она все узнавала от Слона, — нехотя признается Сфинкс. — Всего-навсего. А взамен разрешала потрогать свои волосы.

Я сразу вспоминаю. Как только Слон видел Рыжую, он начинал тянуться к её волосам и пыхтеть: «Дай! Дай!» Что-то очень необычного цвета там, где у других людей не растёт ничего яркого — только это он и видел. А большего всего на свете Слон любил трогать необычное: будь то мыльный пузырь, кошачий хвост, или горящая спичка. Даже вздыхаю от разочарования. Такое прозаичное объяснение самой неразрешимой загадки детства. Лучше было бы не знать.

— Надо же, — говорю. — Как все просто и неинтересно.

— И стоило меня из-за этого будить? — мстительно спрашивает Сфинкс.

— Стоило. Я бы не вынес неизвестности. Теперь уже можно спать.

Слепой закуривает, и Сфинкс перебирается поближе к нему перехватывать затяжки. Нора моя разворочена, придется соорудить новую. Напевая, складываю подушки. Тайны раскрыты, Джонатан разоблачен. Если задуматься, то это ужасно здорово, и нечего расстраиваться из-за всяких мелочей.

Истина дороже всего. Спите спокойно, дети.

Правда пришла в ночи. И постучалась в дверь.

Рухнул снежок на доску! Следом вошла она!

И принесла свет истины. Вот как было дело...

— Она тебе нравится? — спрашивает Сфинкс у тенеобразного Слепого. Обрываю песню, чтобы послушать ответ.

— Нет, — отвечает Слепой, поразмыслив. — Не очень. В детстве у нее была мерзкая привычка сбивать меня с ног и уноситься хохоча. Это жутко действовало на нервы. Лось запретил мне трогать девочек, а то я бы

обязательно ее поколотил.

— Верно, — говорит Сфинкс задумчиво. — Она тебя вечно толкала. Я никак не мог понять почему. За ней такого не водилось.

Сажусь у лаза в свежевырытую нору и обнимаю подушку Сфинкса.

— Да, — говорю. — В цивилизованных мирах маленькие мальчики дергают девочек, которые им нравятся, за волосы и забрасывают им в сумки дохлых мышей. Не говоря уже о подножках. Так они выражают свою любовь. Это повадки, заимствованные у первобытных предков. Тогда ведь все было просто. Выбрал, полюбовался, приложил костью мамонта по макушке — свадьба, считай, состоялась. Более поздним поколениям было интереснее заглянуть под длинные юбки своих сверстниц, но те тоже были не дуры и носили снизу кружевные панталоны. К тому же вид плачущей девочки, забрызганной грязью, так трогателен и вызывает такую бурю чувств в душе влюбленного! Они так хороши в слезах!

— Не думаю, что Слепой был таким уж симпатичным, когда его сбивали с ног, — бормочет Сфинкс. — Не говоря уже о панталонах и слезах. Ты что-то чересчур расфилософствовался, Шакал.

— Я же выше подчеркнул, что все это принято в цивилизованных обществах. У нас, естественно, все наоборот.

— Давайте спать, — предлагает Слепой. — А то еще окажется, что Черный все детство был от меня без ума, оттого и лупил с утра до ночи. Чтобы посмотреть, как я прекрасен в слезах.

— А что? — фыркает Сфинкс. — Интересная версия. По ней, правда, выходит, что в меня он вообще влюбился с первого взгляда. Мои слезинки его радовали больше твоих. Я на них не скупился.

— Слушайте, хватит сплетничать, — гудит сверху голос Горбача. — Человек спит, а вы бог весть что про него болтаете.

— Сыграй нам что-нибудь тихое, лохматый, — просит Сфинкс посмотрев вверх. — Ночную серенаду. Шакал спугнул наши сны. Остались одни сплетни. Отвлеки нас от этого гнусного занятия.

— Сыграй. Заодно перебудим всех остальных, — злорадствует Слепой.

Горбач шуршит чем-то, свешивает ноги, и начинает играть. Забираюсь в нору, чтобы уснуть под флейту, пока он не перестал. Но голову не прячу, потому что Сфинкс со Слепым не ложатся и вполне еще могут о чем-то интересном поговорить. Так и сидим. Они молчат, и я молчу, а Горбач играет, отвлекая нас от сплетен.

ДОМ

Интермедия

Войдя в десятую комнату, Кузнечик почуял что-то. Перемену, невидимую глазу. Седой сидел над шахматами, подперев подбородок костяшками пальцев, и думал.

Кузнечик сел на пол.

Седой не здоровался никогда. Он вел себя, как будто приходов и уходов не было, как будто их встречи не разделяли дни и часы. Кузнечик успел к этому привыкнуть, и ему это даже нравилось.

Он увидел коробку амулетов. Пустая, с откинутой крышкой, она лежала на матрасе рядом с шахматной доской. Вот. Вот что изменилось. Почему?

Седой поймал его взгляд и запустил длинные пальцы в коробку. Поднял их к свету и потер, стряхивая пыль.

— Больше ничего не осталось. Я все раздал.

Вытянув шею, Кузнечик рассматривал дно коробки.

— Все-все? — переспросил он смущенно.

— Да, — Седой захлопнул крышку и убрал пустую коробку.

— И больше не будет амулетов?

Загрустивший Кузнечик ждал объяснений. Прядь волос лезла ему в глаза, он не убирал ее, боясь шевельнуться.

— Я уезжаю. Домой.

В комнате Седого эти слова прозвучали странно. Как будто не он их произнес. Разве мог у него быть дом? Седой был сам по себе. Он родился, вырос, и состарился на этом самом месте. Так думалось смотрящему на него и говорящему с ним.

Кузнечик повозил ботинком по полу, черневшему винными пятнами.

— Почему?

Седой переставил на доске одну фигуру и сбил другую ногтем.

— Мне восемнадцать, — сказал он. — Давно пора.

И этим тоже что-то испортил. Как упоминанием о доме. Ему не могло быть сколько-то лет. Он был вне возраста и вне времени, пока не произнес расколдовывающие слова, назвав свой возраст. И это даже не было объяснением.

— Другие уедут летом. Почему ты не подождешь их?

— Здесь плохо пахнет, — сказал Седой. — Чем дальше, тем хуже. Ты понимаешь о чем я говорю — у тебя есть нюх. Сейчас плохо, но в самом конце будет хуже. Я знаю, я уже видел такое. Я помню прошлый выпуск, тот, что был до нашего. Поэтому хочу уйти раньше.

— Ты убегаешь? От своих?

— Убегаю, — согласился Седой. — Со всех ног. Которых нет.

— Боишься? — удивился Кузнечик.

Седой поскреб подбородок перевернутой королевой.

— Да, — сказал он. — Боюсь. Когда-нибудь — еще не скоро — ты поймешь. И тоже испугаешься. Выпускной год — плохое время. Шаг в пустоту, не каждый на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц, психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, кто боится. Хуже нет ничего. Лучше уйти раньше. Как это сделаю я. Если есть такая возможность.

— Ты поступаешь смело?

Теперь удивился Седой.

— Не знаю. Скорее, наоборот.

Кузнечик захотелось спросить про себя и про свой амулет, но он не спросил. Седой готовился к шагу в пустоту, к смелому поступку, который казался трусостью. В такой момент надо было молчать и не мешать ему. И Кузнечик промолчал.

— Я забираю только этих двух обжор, — Седой показал на аквариум. — Вместе с их комнатой. Они ничего не заметят. Даже не поймут, что переместились в наружность. Хотел бы я быть на их месте.

Кузнечик посмотрел на рыб. Он боится... Ему стало жалко Седого. Его и себя. Какой теперь станет эта комната? Логово Сиреневого Крысуна. Без Седого оно перестанет быть интересным. Перестанет быть «Логовом». Станет просто спальней номер десять.

— Я про тебя не забыл, — Седой опустил королеву на черную клетку. — Я думаю о тебе так часто, что это даже странно. Как ты думаешь, отчего так?

— Из-за амулета? — предположил Кузнечик.

— При чем здесь амулет? Он тебе не нужен. И все эти задания тоже. Ты открыт. В тебя все влетает само.

— Он мне нужен, — Кузнечик покачался на корточках. — Очень нужен. С тех пор, как он у меня, все хорошо.

— Я рад, — Седой вытряхнул сигарету из пачки. — За него больше, чем за остальные. И за тебя тоже.

Кузнечик вдруг заволновался:

— Что было во время прошлого выпуска, Седой? Что ты тогда увидел такого, что не хочешь видеть теперь?

Седой вертел в руках сигарету, не зажигая ее:

— Зачем рассказывать? Летом увидишь все сам, своими глазами.

— Я хочу знать сейчас. Скажи.

Седой посмотрел на него из-под полуопущенных век.

— Тогда это было похоже на тонущий корабль, — сказал он. — А в этот раз будет хуже. Но ты ничего не бойся. Смотри и запоминай. И не повторяй потом чужих ошибок. Каждому в жизни дается два выпуска. Один чужой. Чтобы знать. И один собственный.

— Почему в этот раз будет хуже?

Седой вздохнул:

— Тогда у Дома был один вожак. Теперь их двое. Дом разделился на два лагеря. Это всегда плохо, а в год выпуска — это самое плохое, что может случиться. Больше ни о чем не спрашивай. Возможно, я ошибаюсь и говорю глупости. Будет или так, или по другому, а скорее всего произойдет что-то третье, чего ни я, ни ты не можем себе представить. Не стоит загадывать наперед.

— Хорошо, — Кузнечик кивнул.

Седой смотрел на него как-то странно. Как будто издалека.

«Он прощается», — догадался Кузнечик. «До лета еще далеко, но он прощается уже сейчас. И такого разговора у нас больше не будет».

Седой вздохнул, склонившись над доской.

— Садись ближе. Научу тебя этой игре, — его пальцы забегали по клеткам, переставляя фигуры. — Твоя армия — белые. Моя — черные. Пешки ходят только вперед и на одну клетку. Но первый шаг могут делать на две.

Седой опять посмотрел на Кузнечика.

— Не думай о плохом, — сказал он. — Выкинь из головы все, что я наговорил. Смотри сюда...

Он пролез через чердачное окно и с любопытством огляделся. Больше всего это напоминало пустыню. Голую, серую, растрескавшуюся пустыню, в которой росли антенны вместо кактусов. И холмиком — другой чердак, казавшийся отсюда совсем маленьким. Со всех сторон было только небо. Кузнечик жался к чердачному окну, не решаясь отойти от него. Волк подмигнул и полез на чердачную крышу. У него под ногами загремела жесь. Он сел, свесив ноги, и поманил Кузнечика:

— Иди сюда. Ставь ногу на ящик.

Кузнечик влез наверх и осторожно присел рядом. Перевел дыхание, осмотрелся. Они были на самой верхушке Дома. Выше крыши. Отсюда была видна наружность — розово-цветная, отмытая дождями, готовая к лету. Пустырь, обнесенный забором. Круглые верхушки деревьев. Лабиринты обрушенных стен — место, где, к ужасу их родителей, любили играть наружные дети. В развалинах мелькали яркие пятна их дождевиков. По улице ехал мальчик на велосипеде. Кузнечик посмотрел назад. С той стороны улица была шире. Совсем вдалеке можно было разглядеть автобусную остановку — ту самую, с которой привела его мать в день, когда он впервые вошел в Дом.

— Меня убьют, если узнают, куда я тебя затащил, — сказал Волк. — Но это хорошее место. Тебе тут нравится?

— Не знаю, — честно ответил Кузнечик. — Надо подумать. — Он опять посмотрел вниз. — Наверное, это очень «думальное» место. Только непонятно, хорошие вещи тут думаются, или не очень.

— А ты расскажи, о чем думаешь, — предложил Волк. — А я скажу, хорошо это или плохо.

Кузнечик следил за автобусом, пока тот не скрылся из виду. Потом посмотрел на Волка.

— Ты только не смейся. Там, где мы жили раньше — я, мама и бабушка — рядом с домом был парк. С одной стороны. А с другой — большой магазин, а если пройти подальше — детская площадка. В магазине продавали зеркала. И еще много разного. И посреди всего этого стоял наш дом. На этой улице рядом с парком, и магазином с зеркалами. Понимаешь?

Волк покачал головой:

— Пока нет.

— Когда я вспоминаю тот наш дом, я вспоминаю и все это. Где он стоит, и что там вокруг. Понимаешь?

— Уже да, — Волк потер ухо. — Здесь этого нет?

— Совсем нет. Слишком нет. Как будто все это, — Кузнечик кивнул на улицы. — кем-то нарисовано. Картинка.

Волк посмотрел вниз.

— И если выйти, — продолжил он задумчиво, — то можно проделать в этой картинке дыру. Бумага порвется и будет дырка. А за ней что?

— Не знаю, — признался Кузнечик. — Я как раз об этом и думал.

— Никто не знает, — сказал Волк. — И не узнает, пока не выйдет. Лучше и не думать.

— Значит, это место плохое для думанья. Если о чем-то лучше не думать, а думается только про это. А как у тебя?

— У меня по-другому, — Волк подтянул ноги и положил локти на колени. — Я люблю крышу. Это и Дом, и не Дом. Как остров посреди моря. Как корабль. Как край земли. Как будто отсюда можно грохнуться в космос — и падать, падать, но никогда не упасть. Раньше я здесь играл сам с собой во все это — в море, в небо...

— А сейчас?

— А сейчас не играю. Давно сюда не приходил.

Прямоугольник крыши блестел осколками стекла, как рассыпанными алмазами. Они сверкали и искрились на солнце. На коричневых от дождей газетах лежали пустые бутылки. И сиденья от стульев, давно потерявшие цвет.

— Кто все это оставил? — спросил Кузнечик.

— Старшие, наверное. Не я один знаю это место. Сюда многие ходят. Здесь хорошо, когда дождь и ветер. Совсем по-другому, чем сейчас. Корабль в бурю. Можно бегать и скакать под дождем, и точно знаешь, что никто на тебя не смотрит из окон. Главное — не увлечься и не съехать на покатую часть.

Кузнечик представил Волка бегающим по скользкой мокрой крыше под дождем, и поежился.

Волк засмеялся:

— Ты просто не пробовал. Вот, гляди...

Он встал, покачнувшись, выпрямился и, запрокинув голову, крикнул в небесную синь:

— А-а! О-о! У-ху!

Небо проглотило его крик. Кузнечик смотрел, широко раскрыв глаза.

— Не бойся. Давай.

Волк помог ему подняться, и они закричали вместе. Неуверенный крик Кузнечика небо съело мгновенно. Он крикнул громче, потом еще громче. И вдруг понял, как это здорово — кричать в небеса. Лучше этого ничего быть не может.

Он кричал и кричал, зажмурившись от восторга, пока не охрип. Они с Волком одновременно сели на нагретую жечь чердачной крыши и посмотрели друг на друга сумасшедшими глазами. Стрижи пронесли над ними черными ножницами. Ветер подул в разгоряченные лица. Было очень тихо и звенело в ушах. «Я какой-то пустой», — подумал Кузнечик. — «Как будто все, что было во мне улетело. Остался один я, пустой, и мне хорошо». Волк схватил его за свитер:

— Эй, осторожно. Не свались. Ты как пьяный.

— Мне хорошо, — пробормотал Кузнечик. — Мне здорово.

Небо делили провода антенн. На них качались комочки воробьев. Ветер ворошил волосы. На носу у Волка еле заметно проступали веснушки. «Пахнет летом», — вдруг понял Кузнечик. Уже по-настоящему.

В спальне копались в коробке с фотографиями.

— Скорее! — крикнул им Горбач. — Глядите, чего притащили Максо-Рексы!

Они подошли и посмотрели.

Это были фотографии старших. Сделанные не в Доме. Сиамец ткнул в одну из карточек.

— Вот эти воротца, помните, слетели с петель? Оттого, что на них Колбаса раскачивалась.

— А вот моя голова! — показал второй Сиамец на расплывчатое пятно в углу другого снимка.

— А вон наше окно виднеется!

Они толкались, жадно выискивая хоть что-то знакомое там, где основное место занимали старшие. И находили. За спинами, за плечами, отдельными кусочками, тут и там. И эти кусочки они пытались связать в одно целое.

Кузнечик отошел и сел на свою кровать. Он не любил эти разговоры. Две поездки в летние санатории он пропустил, а в третий раз их отправили в шикарный оздоровительный центр, где персонал так ответственно относился к своим обязанностям, что ни о каких развлечениях сверх запланированных и речи быть не могло. Место было замечательным, но ни бассейны, ни спортивные залы, ни живые лошади не доставляют удовольствия, когда за тобой повсюду следует армия помощников. Судя по разговорам, которых вдоволь наслушался Кузнечик, таких гнусных каникул у жителей Дома еще не бывало. Вообще-то, если бы не эти разговоры, он бы считал, что неплохо провел время. Но люди Дома были консервативны. Вне Дома они признавали только два места отдыха. Заброшенную летом лыжную базу где-то в горах и старый санаторий на побережье. Все остальное не шло с ними ни в какое сравнение. Те два места тоже называли Дом — словно они были его продолжением, его отростками, протянувшимися в необозримую даль. Оба Дома Кузнечик знал так, как будто бывал в них не раз; и даже предпочитал тот, что стоял на берегу моря. Самый старый. Скрипящий, хрипящий, с проваливающимися кроватями и незакрывающимися шкафами, с облезлыми от сырости потолками и

стенами, с отстающими половицами. Где на четыре спальни одна душевая, и чтобы попусть в туалет, надо отстоять очередь. Где:

— У нас в спальне капало с потолка!

— А под Слоном рухнул стул, помните?

— А Спорт пробил дырку в стене, когда постучал соседям, чтобы они замолчали...

— А в ванной водились сороконожки!

— И мокрицы, и водоплавающие жуки!

Мальчишки перебрасывались фразами, как футбольным мячом, с упоением перечисляя недостатки «Того Дома», а Кузнечик слушал и умирал от зависти. «Тот Дом», младший брат Дома этого. Может даже между ними существует тайная связь. Может, они обмениваются крысами, привидениями или еще чем-нибудь интересным. В окна «того Дома» можно увидеть море. А по ночам его можно услышать. Воспитатели там немедленно влюбляются в загорелых девушек с пляжей и забывают о своих обязанностях, а когда идет дождь, дом протекает, и все закрываются в нем, как в раковине, проклиная погоду, и до утра играют в карты — и старшие, и младшие, и воспитатели. Играют, слушая звон капель в тазах, расставленных там, где течет крыша.

— Вы стащили их у старших? — спросил Кузнечик про фотографии.

Сиамцы заморгали:

— Ну и что? У них таких фоток целые вагоны, а у нас ни одной. Пусть будут хоть эти.

— А я ничего и не говорю. Просто спрашиваю. А где Вонючка?

— Его вызвали к директору, — сказал Фокусник. — И как сразу стало тихо, правда?

Вонючка въехал сверкая значками от ворота до колен.

— Слыхали? — взвизгнул он придушенно. — У директора в кабинете лежит четырнадцать посылок! И куча писем! Но письма — это фигня. Главное — посылки! Все мои!

— Ответы на те письма? — догадался Горбач.

— Они самые, — Вонючка закружил по комнате, мелькая спицами колес.

— Нет, вы когда-нибудь о таком слыхали? Они мне их не отдают. Говорят: кто послал и зачем? А какое их дело? Это мне послали, это мои посылки! Значит, они должны мне их вручить.

— И ты вот так спокойно уехал? — не поверил Волк.

— Еще чего! Я с ними поскандалил. Сейчас отдохну и поеду

скандалить дальше. Только мне нужен транспарант. Нарисуете?

Кузнечик рассмеялся.

— Ничего смешного! — возмутился Вонючка. — Куча полезных вещей гниет в директорском кабинете! Это не смешно. Давайте быстрее... Рисуите и пишите! — Он подкатил к тумбочке и зашуршал бумагой. — У нас что, нет большого листа? Не понимаю. Такая необходимая в хозяйстве вещь...

— Лучше на простыне, — загорелся Фокусник. — Разрежем ее на две половинки... И еще нужны две палки для ручек.

— Одна. — отрезал Вонючка. — Одной достаточно. Другая рука мне будет нужна. Чтобы дудеть в трубу.

Они лежали на полу перед расстеленными кусками простыни и задумчиво грызли кисточки.

— Что-нибудь вроде «Ирландию ирландцам!» — наседал Вонючка. — Или «Руки прочь от...» чего-нибудь.

— А может, «Посылки — хозяину»? — предложил Горбач.

— Тоже можно, — нехотя согласился Вонючка. — Хотя это и банально.

Красавица гладил банки с краской. Слон рисовал на полу солнце. Волк начал синим цветом выводить слово «посылки».

— Ровнее, ровнее, — волновался Вонючка. — И крупнее.

— Можно просто взломать замок, — сказал Сиамец Рекс. — И ночью все унести. Тогда и писать ничего не надо.

— Ну нет! Красть то, что и так свое? Пусть сами выдадут! — Вонючка поправил простыню. — Еще пожалеют, что так поступили. Еще будут умолять: возьмите, возьмите скорее!

— Четырнадцать посылок, — уважительно вздохнул Фокусник.

— А я о чем! Есть из-за чего трудиться.

Когда транспарант: «Посылки — хозяину!» был готов, Фокусник потребовал себе такой же. Волк сказал, что два одинаковых плаката — это неинтересно, и пока сохли «Посылки», они написали на другой половине простыни: «Нет директорскому произволу!», а на листе ватмана: «Руки прочь от достояния учащихся!» Потом к простыням приклеили ручки.

— Скорее, скорее! — торопил Фокусник.

— Можно нам тоже пойти? — спросил один из Сиамцев.

— Подойдете позже, — строго сказал Вонючка. — Когда мы выдохнемся. Тогда вы немного покричите «Долой!» и погромыхаете чем-нибудь. Пока мы передохнем.

Красавица вдруг заволновался и, заикаясь, принялся объяснять:

— Четыре яблока. Четыре. Это много!

Красавица делает сок, — перевел Волк. — Сиамцы отнесут его вам. Для поддержки ваших сил. Сок из четырех яблок.

Красавица засиял. Вонючка похлопал его по руке:

— Спасибо. Это будет великий вклад в наше общее дело. И я даже дам тебе лимон, чтобы вклад был побольше.

Фокусник, Вонючка и Горбач взяли транспаранты и ушли. Сиамцы начали искать что-нибудь гремящее. Красавица суетился вокруг соковыжималки. Слон принес ему еще одно яблоко. Волк лег на пол и закрыл глаза.

Кузнечик сел на свою кровать. Ему очень хотелось посмотреть, что станет делать Вонючка, но он стеснялся. Это будет что-то очень шумное и стыдное, на что сбежится поглазеть весь Дом. Сиамцы нашли салатницу, капкан и половник и принялись, обходя Волка, собирать обрезки бумаг и закрывать банки с краской.

— Четырнадцать посылок, — шептали они друг другу облизываясь. Красавица благоговейно запустил соковыжималку. Слон держал кастрюльку и смотрел, как она наполняется прозрачно-желтым соком.

Они ушли. Слон нес бутылку с соком. Красавица не нес ничего. Сиамцы несли то, чем собирались греметь. Красавица волновался. Он вписался в дверь только с третьей попытки, когда Сиамцы зажали его боками и вывели, как под конвоем.

Волк лежал на полу. Слепой на своей кровати.

«Слепой и так все слышит», — подумал Кузнечик. Ему не надо никуда идти. Он и здесь, и там одновременно.

Кузнечик сполз с кровати и сел на пол.

— Седой уезжает, — сказал он. — Навсегда. Его больше не будет в Доме. Он чего-то боится. Чего-то, что случится летом, перед тем, как старшим уходить.

Волк открыл глаза:

— Откуда ты знаешь? Ты что, говорил с ним?

Кузнечик кивнул.

— Он помнит прошлый выпуск. Тех, что были до них. Он говорит, что нет ничего страшнее последнего года.

— Это так, — приподнялся Волк. — Только странно, что он говорил о таком с тобой. Или ты подслушал?

— Нет. Он мне сам сказал. Только мне.

Волк опять лег.

— Все страньше и страньше, — пробормотал он.

Слепой закопошился на кровати. Встал с каким-то пыльным пакетом в руках, подошел к Кузнечику, уронил на него пакет и вернулся на свое место. Кузнечик удивленно принялся разглядывать дар Слепого.

— Что это? — спросил он, потыкав в пакет протезом.

Волк перевернулся, схватил подарок и заглянул внутрь.

— По-моему, это то, что ты хотел, — он вытряхнул на пол кассеты. Ободранные, частью без коробок, они лежали кучей, демонстрируя стершиеся надписи на боках.

— Твои «Дирижабли», — проворчал Слепой. — От которых у тебя мозги съезжают. Тот, кто дал, сказал, что это то самое.

— Спасибо, Слепой, — прошептал Кузнечик. — Где ты их взял?

— Подарили, — холодно отозвался тот. — Тот, кто не мог отказать.

Сразу стало понятно, что он говорит не о Лосе.

— Какая тебе разница? Ты радуйся.

— Еще один шантажист, — проницательно отметил Волк. — Много вас собралось на одну комнату.

«Это Череп ему их дал», — подумал Кузнечик. «Ведь Слепой носит его письма. Череп и не может ему отказать».

Слепой лежал, спрятав руки под мышки. Черные волосы блестели, лица не было видно.

— И кто это тебе не может отказать? — поинтересовался Волк.

Слепой не ответил.

Волк повернулся к Кузнечику:

— Он всегда молчит. Почти всегда. Иногда скажет что-нибудь — и опять молчит. Хотел бы я хоть один-единственный раз, услышать продолжение. Просто чтобы знать, есть ли оно вообще.

Кузнечик помотал головой:

— Что ты хочешь услышать?

— Окончание фразы. Чтобы понять, что он имеет в виду. Я не про сейчас говорю, а вообще.

Кузнечик посмотрел на Слепого:

— Слепой всегда говорит понятно, — сказал он. — Даже когда молчит.

Волк скосил на Кузнечика рыжий глаз:

— Тебе понятно. Мне — нет.

— Вот когда ты молчишь, мне ничего не понятно, — признался Кузнечик. — Иногда, когда ты говоришь, тоже.

— Может, хватит? — спросил Слепой. — А то вы оба перестанете

понимать, о чем говорите.

— Ты что-нибудь слышишь? — спросил Кузнечик.

— Весь Хламовник там. И много старших. Сиамацы уже вступили. Воют и стучат.

Кузнечик осторожно собрал кассеты обратно в пакет. Их было пять штук. И только две в подкассетниках.

— Как же я буду их слушать? — огорченно спросил он. — На чем? Ведь у нас нет ничего такого.

— Там четырнадцать посылок отвоевывают, — напомнил Волк. — И насколько я знаю Вонючку, среди них обязательно найдется что-нибудь, на чем можно слушать твои «дирижабли».

Кузнечик заволновался:

— Может, мне тоже пойти покричать?

— Там и без тебя много крику, — успокоил его Слепой. — Странно, что директор еще не сдался.

— Через полчаса пойдем, — сказал Волк. — Со свежими силами. Так будет больше пользы.

Кузнечик заглянул в пакет и еще раз пересчитал кассеты. Ровно пять штук. Ни больше ни меньше.

— Что еще тебе говорил Седой? — вкрадчиво спросил Волк.

Кузнечик удивленно посмотрел на него.

— Что уезжает. Что здесь плохо пахнет. Что потом будет хуже. То есть, он не совсем так говорил. Ну, в общем, про старших.

— Про наших дорогих кретинов, — уточнил Волк. — Понятно.

Кузнечик нахмурился. — Почему ты так говоришь о них?

— Потому, что это правда.

— И Череп крестин? — возмутился Кузнечик.

— Он — больше всех.

— Теперь давай продолжение. Как ты хотел от Слепого. Чтобы можно было понять. Почему они кретины. А потом, почему Череп?

— Мне нетрудно, — Волк смотрел на Слепого. — Дом один. И хозяин в нем должен быть один. Один вожак на всех.

«И Седой это же сказал», — подумал Кузнечик. — «Или что-то похожее».

— Они потому и дерутся. Каждый хочет быть тем, про которого ты говоришь.

— Долго дерутся. Так долго, что можно уже и не драться. Это просто смешно, — Волк покачал головой. — Если среди стольких людей не нашлось никого, кто прибрал бы к рукам остальных с их хотениями и

нехотениями, все они ничего не стоят.

— Череп может прибрать всех к рукам!

Волк улыбнулся. Он смотрел на Слепого. Слепой лежал тихо. Может, слушал Волка, а может, далекого Вонючку.

— Странные у тебя мысли, — сказал Кузнечик.

— Это примитивные мысли, — признался Волк. — Детские. На них надо надстраивать этажи. Один, второй, третий, десятый... Тогда они приобретут мудрый вид. А пока старшие — это старшие. Можно только нежиться в их дыму и помирать от зависти, слушая их пластинки. Как один мой знакомый.

— Я не помирал от зависти. Я просто слушал!

— Зато я помирал, — признался Волк.

— Все равно, — упрямо сказал Кузнечик. — Череп не кретин. И Седой не кретин. Ты им просто завидуешь.

— Неужели вы сами ничего не слышите? — спросил вдруг Слепой.

Действительно, теперь было слышно. Отдаленные голоса и крики. Кузнечик заглянул в пакет с кассетами, потом посмотрел на Волка.

— Ладно, пошли, — Волк встал с пола. — Поддержим собственнические инстинкты Вонючки. Чует мое сердце, после сегодняшнего митинга его перекрестят.

— В крокодила? — предположил Кузнечик.

— Крокодил не подойдет. Крокодилы нажрут — и спят себе, как убитые. А от него слишком много шума. Не похоже, чтобы он когда-нибудь спал. Или наедался.

Кузнечик спрятал кассеты в тумбочку. Подальше от Сиамцев. Слепой остался лежать.

— Успехов вам, — сказал он лениво.

— Нам придется кричать? — спросил Кузнечик.

— Сообразно обстановке. Посмотрим и решим. Может и не придется.

Волк пропустил его вперед и вышел следом.

Коридор был почти пуст, но в дальнем его конце, у дверей учительской, толпился народ. Они направились туда. Яркие майки и куртки на спинах старших, скрывали место действия не хуже забора. Вонючку видно не было, но было очень слышно. Жестяной грохот и крики «Долой произвол!» раскатывались по всему коридору.

Чем ближе подходили Кузнечик с Волком, тем громче становился шум. Старшие не стояли на месте. Некоторые уходили, смеясь, но вместо них тут же подходили другие. Когда от группы старших отъехал колясник Улисс с

брюзгливым лицом, Кузнечик и Волком быстро протиснулись на его место. Так им стало кое-что видно.

В тонких руках Чумных Дохляков покачивались транспаранты. Фокусник стоял выпучив глаза и стиснув зубы и держал свой транспарант выше всех. Свекольного цвета Вонючка, увешанный значками, потрясал «посылками — хозяину!» Половинка простыни свисала с ручки так, что разобрать написанное было невозможно, и он просто размахивал ею как флагом. Сиамцы с застывшими лицами, яростно барабанили в салатницу и в капкан. Слон с восторгом глядел на происходящее.

Вонючка монотонно завывал:

— Долой произвол! Долой воспитательское самоуправство! Долой!..

— Долой! — хором подхватывали остальные на выдохе.

Слон слабо подвывал. Красавица прятался в рядах колясников, пригибая голову, чтобы не бросаться в глаза. Хламовные стояли тут же полукругом, раскачиваясь в такт жестяной дробы.

Старшие смеялись. Кузнечику показалось, что кричащих намного больше, чем должно было быть. Потом он с удивлением понял, что Хламовные тоже кричат.

— Долой учителей! — визжал Плакса.

— Мир во всем мире! — не к месту заходилась Зануда.

Крючок размахивал костылем и требовал:

— Пространство — калекам!

Но Вонючка заглушал всех. С грохотом салатницы и гудением в жестяную трубу его вопли составляли адскую какофонию, вынести которую было невозможно.

Старшие смеялись и затыкали уши.

— Может, директор давно уже выкинулся в окно? — прокричал Волк в ухо Кузнечику.

Директор никуда не выбросился. Целый, хотя и зеленоватый, он появился в дверях учительской и замахал руками, пытаясь перекрыть шум.

Директор был маленьким. Седая, воинственно торчащая борода делала его похожим на пирата, но он не курил трубку, не покрывал себя татуировками, и вообще, если не считать головы — моряцкой, пиратской, волосатой — был ближе к гному, чем к пирату.

— Внимание малявкам! — крикнул старшеклассник Кабан, подняв два пальца. Старшие захохотали. Вонючка, красный и величественный, махнул лапкой, командуя остановиться. Сиамцы перестали стучать.

— Немедленно... Беспорядки... Молокососы... Прекратить! —

прорвался сквозь всеобщий гвалт голос директора.

— Тишина! — скомандовал Вонючка.

Директор вытащил платок и вытер лицо.

— Если мне дадут возможность сказать, — он подождал, пока стихнет смех. — Я надеялся уговорить этого молодого человека поделиться с другими тем, что ему прислали. Но боюсь, что до его согласия я не доживу. Мы еще выясним, откуда и как появились эти посылки. А теперь пусть он их забирает, и поскорее!

Сиамцы засвистели. Горбач зааплодировал. За спиной удрученного директора возник воспитатель Щепка с тележкой. Рядом шел Черный Ральф, спрятав руки в карманы, а замыкал шествие Лось с коробкой, набитой письмами. На тележке лежали свертки. Груда коробок в ярких обертках.

— Это что? Это откуда? — заинтересовались старшие.

— Это — посылки хозяину, — объяснил Вонючка и кивнул Горбачу с Фокусником. — Принимайте добро.

Тележка перекочевала от Щепки к Горбачу. Фокусник сценичным движением набросил на свертки простыню с надписью «Руки прочь от достояния учащихся!», скрыв их от посторонних глаз. Дохляки двинулись к Чумной, толкая перед собой тележку. Мальчишки Хламовника расступались, провожая их недоумевающими взглядами. Старшие, пропуская шествие, любовались Вонючкой и заглядывали под простыню.

— Крутой малявка, — уважительно заметил Хромой. — Далеко уползет!

Вонючка кивал и расточал зубастые улыбки.

— Минутку, — сказал он, останавливая шествие. — Один момент!

Он подъехал к тележке и порылся под простыней. Извлек самый маленький сверток в звездно-пупырчатой упаковке и бросил его Зануде:

— Это вам, ребята. За поддержку.

Старшие зааплодировали. Зануда ошарашенно уставился на сверток.

— Брось сейчас же! — прошипел Спортсмен, проталкиваясь к нему. — Брось подачку колясника! Быстро!

— Не брошу, — Зануда прижал сверток к груди. — С чего это? Сам бросай свои вещи, если не жалко!

Спортсмен влепил Зануде затрещину. Колясники возмущенно загалдели. Догоняя Дохляков с тележкой, Кузнечик обернулся.

Директор все еще стоял в дверях учительской. Воспитатели с двух сторон похлопывали его по плечам. Директор пустым взглядом смотрел перед собой.

«Может, он все таки сошел с ума», — подумал Кузнечик. — «Мало ли...»

— Тележку вернете! — прокричал воспитатель Щепка, сверкнув стеклами очков. — Негодяи!

СОВСЕМ ДРУГОЙ КОРИДОР

Возвращаясь к себе, она всякий раз удивлялась разнице двух коридоров и не могла понять в чем секрет. Не в том, конечно, что их коридор был уже и короче, не в окнах (которых не было там), не в ковровой дорожке... И только в тот вечер она поняла. Разница была в том, что их коридор не был коридором.

Старый директор... бывший директор (белая борода, а лица она уже не помнила) благоволил к девушкам, и это отразилось в разнице между двумя коридорами — их и мальчиковым. Белобородого не было уже давно, а привилегии остались. Одна спальня на четверых — пусть маленькие комнатки-кельи, но только четверо, и всегда можно захлопнуть дверь. Это и ковровые дорожки, лысеющие по краям, шторы на шнурах и телевизоры. Когда-то белобородый поставил их в каждой спальне, но его не было уже давно, телевизоры ломались, пока не осталось только два... Сейчас один из этих двух светился у стены, а перед ним лежали и сидели на выуженных из спален матрасах и расстеленных пледах, внимая, (чего они, интересно, ждут оттуда?) — особи женского пола, собравшиеся из всех спален. Пробираясь в темноте меж их руками и ногами, наступая на подушки и в блюдца с яблочной кожурой, она, наконец, осознала разницу. Их коридор не был чем-то отдельным от спален, он был одной общей спальней, местом, где с наступлением ночи можно было заснуть.

Голубоватый свет прыгал по лицам. Она выбралась из гущи лежащих тел, и, отворив дверь (если бы было светло, можно было бы разглядеть на ней смазанное изображение кошки) вошла в спальню. Горчишный сумрак, четыре матраса на полу и блеск глаз той, кого называли Кошатницей. Она включила свет.

— Это я, — швыряя на пол рюкзак. — Почему так тихо?

— Гуляют, — ответил мягкий голос. — Разве ты не видела там?

«Там» чуть заметно подчеркнуто, чуткое ухо расслышит.

— Все рассосались по спальням, — ответила она нехотя. — Я никого не видела. А почему ты в темноте? У тебя болят глаза?

— У меня нет.

Подчеркнуто. Едва заметно. Имеющий уши сразу спросит а у кого же они болят? И получит ответ. Кошатница обладала двумя способами воздействия на окружающих: голос и глаза. И оба использовала в полную силу. Не считая конечно, еще котов. В эти глаза — над ворохом одежды и

тремя пушистыми шкурками, лучше не смотреть... Она вытряхнула содержимое карманов на матрас. Дары «оттуда», от «там», и от «тех». И каким бы они не были хламом, храниться им в ящиках, бережно завернутыми в платки и в серебристую бумагу, потому что подарки не выбрасывают и не дарят другим.

Ночь бездонными дырами в окнах. Кошатница встряхнулась, и с пиджаком на матрас упали три одинаковых дымчато-серых кота, обнажая костлявые плечи. Лицо — длинное как клинок, бесцветные волосы — секущими иглами. Коты полезли обратно, она отогнала их. Свистом отослала одного в нужную сторону. Кот просеменил к окну, дернул штору за шнур — и черные дыры окон затянуло белым. Брезгливо потряхивая лапой, кот вернулся на матрас. Ах, если бы они еще умели варить кофе, как неоднократно повторялось жадными до зрелищ!

— Если бы они умели, — прошептала Рыжая. Она не различала котов, их никто не различал, кроме хозяйки. Сев рядом с «дарами», Рыжая принялась их рассеяно перебирать. — У кого же болят глаза?

Кошатница обволоклась пиджаком и котами.

— У Крысы, — сказала она. — Которая вернулась.

Рыжая настороженно вытянула шею:

— Откуда на этот раз?

— Разве поймешь? Говорит, со дна реки. Где водоросли и песочные люди. Хватит с нас и одной Русалки, как ты думаешь?

— Да... — Рыжая подобрала с пола волос. Бесконечный Русалочий волос. Выуживая его, она подняла руку, но конец так и остался на паркете, невидимо поблескивая, скручиваясь и убегая под матрас. Коты хищно следили со своих мест. Они, и глаза их хозяйки. Рыжая встала.

— Пойду поищу ее. Хочу послушать про реку.

Коридорный выключатель у каждой двери. Еще одна привилегия. Возмущенные крики встретили свет — и стихли, недовольно пришепетывая. Осмотревшись, она нашла. У стены, за спинами смотревших телевизор, горбилась одинокая фигура в кожаной куртке. Свет погас. Рыжая пробралась сквозь тела и зыбкий дух парфюмерии, и, присев, затрясла за плечо.

— Крыса! Эй, проснись!

— Зачем ее будить? Не стоит, — застонали голоса от экрана. — Пусть себе спит. Пусть видит сны...

Рыжая тряхнула сильнее.

Даже в темноте они обожгли, сумрачно горящие глаза.

— Зачем отпугивать сны? Зачем рвать одежду? Зачем?

Девушка, худая, как скелет (о том, что это девушка, надо было суметь догадаться), черные лужи глаз, черный лак прилипших к голове волос, черная куцая куртка с эполетами, бледные губы. Крыса, та, что Летун — уходящий в наружность — с полумесяцем бритвы (под каким из ногтей?) — встала с пола, затуманено глядя на экран.

— Боже! — сказала она. — Просвещаются...

Перед телевизором виновато завозились, скрипя половицами.

— Пошли.

Рыжая дернула Крысу за рукав куртки. Та покорно пошла следом, круша каблуками встречные части тел. Но... ни писка, ни крика, потому что никто не знает, во-первых, в своем ли уме, а во-вторых, под каким из ногтей?

— Мы ждали, что ты вернешься без носа и без пальцев. Что ты их отморозишь, и они отвалятся.

— Как когда-то хвост?

Крыса упала на матрас под шведской стенкой, каждую перекладину которой украшал выводок колокольчиков на шнурах, и они разом запели, как будут петь теперь каждую ночь, едва она шевельнется во сне.

Встрепонулись Коты, отвыкшие от старой песни.

— Тебя не было целый месяц. А ведь уже пошел снег.

— Правда? — Крыса шарила по карманам. — Я принесла отсюда подарок. Подожди... где-то здесь. Вот, — она протянула кольцо на открытой ладони.

Рыжая присела рядом.

— Бери. Это аметист. Можешь вытащить и вставить куда угодно.

— С кого ты его сняла?

— С трупа, — хихикнула Крыса. — Бери. Он приносит счастье.

Они прислушались к крикам из телевизора. Кошатница сидела закрыв глаза. По стенам, четырехстрочными куплетами и подтеками краски, сползали слова песен.

Вошла Русалка (где кончаются ее волосы?) с гитарой, на которой играла как на мандолине — нежный человек говорящий шепотом (у нее под ногтями уж точно ничего нет), — и выжидающе посмотрела на них.

— Расскажи, Рыжик, — попросила она. — Как там было сегодня.

Рыжей не хотелось говорить о «тех» и о «там», но она знала: деваться некуда. Они ждали все трое. Тихо и терпеливо, никак не отозвавшись на ее «так же, как вчера», даже та что вернулась не зная ни о чем и не понимая, о каком «там» идет речь, — даже она ждала. Рыжая села, обхватив колени.

— Шли бы вы туда сами. Чего вы меня мучаете?

Они смотрели пристально, не шевелясь. За дверью самозабвенно вскрикивал телевизор. Десять пар глаз, считая котов.

— «Там», — начала она со вздохом, — все по-другому...

Дары лежали на матрасе, жалкие, если кому-то вздумалось бы над ними смеяться.

Прогулки с Птицей

«Это не птица — это просто вор — он строит во дворе уборную из украденного салата!»

Боб Дилан

Топ-топ... Идет Птица, питающаяся падалью. Идет-бредет, постукивает увечной лапкой. Дорогу ей дайте! Всегда-всегда мы здесь гуляем в эти часы. Туда и обратно, и опять туда. Но приучить к этому публику невозможно. Они все равно попадают под ноги, все равно мешают, пробегают мимо, сталкиваются... Не со мной, конечно, но с тенью брата моего, что тоже неприятно. Гуляю, предвидя грядущее. Дальше будет только хуже. Новый Закон поспособствует этому. Он поспособствует еще многому, помимо упомянутого, но это уже не моя забота. Или моя? Мы — вожаки — созданы для забот. Нам положено пресекать непресекаемое или, по крайней мере, сокрушаться о невозможности пресечь. Проку от этого ни малейшего. Одна головная боль.

Мимо ковыляют звери и птицы, жители зоопарка и их сторожа. Кто-то здоровается, кто-то отмалчивается. На Перекресточном карнизе сверкает снег. Терзает желание перепрыгнуть. Погулять на просторах изнанки Дома. Но нельзя. «Всякий раз, потакая своим желаниям, теряешь волю и становишься их рабом». Это изречение — одно из немногих, застрявших в памяти из старого кодекса Прыгунов, который был уничтожен в Смутные Времена. Целиком его нынче процитирует только слепец, но мне хватает и одного абзаца.

Догулявшись до боли в колене, возвращаюсь в Гнездовище. Родные джунгли. Папоротники выстилают Гнездо мое, вьюнки оплетают его стены. Горькое зеленое мясо, куда ни взгляни. Принюхиваюсь. Пахнет чьим-то безобразием. Но это меня не касается. Здесь все питаются падалью, не я один. Вскикиваю на насест, гляжу окрест. Здесь только так, чего и разглядишь — сверху. Народ все больше пластается по полу, укрытый — тьма. И не понять, отчего мы зовемся Птицами, ну да ладно, не сами себя так прозвали. Вытаскиваю из подвешного пакета красную ленту, привязываю к верхней перекладине. Это знак. Словесного недержания старого Папы Стервятника. Базар стихает, массы подползают ближе и ждут. Деформации всех видов — и внешних и внутренних — устали в клюв.

Ничего не поделаешь, такими уродились. Сбрасываю им блок сигарет в знак своего благоволения. Ловят и рады. Им, сколько ни дай, все мало.

— Слушайте, детки, — начинаю.

Слушают. Это они умеют. Все. Даже страшно.

— Вот что, — говорю я им, — относительно девушек. Смотрю я, что вы никого не приводите. Это нехорошо. Дружите и приводите. Вот Красавица... дружит, но не приводит. Такая уж пошла нычне в Доме мода, и нам не годится отставать. Так что дерзайте. Наведите блеск, приберите, лишнее все выбросьте. Чтобы было чисто, и ничем не пахло, кроме Слоновых фиалок.

Им понятно. Кивают. Слон активнее всех. Расслышал про свои цветочки и радуется, бедняга. Бабочка нежно закидывает лапку на Ангела. Ангел морщит нос. Веселятся. Что этим девчонки? Дорогуша хихикает.

— Обожаю девушек, — говорит он фальцетом. — Они прелесть! Может даже, они нам что-нибудь подарят? Они ведь добрые...

Что ж, очень может быть, что и подарят. Губную помаду например. А насчет доброты, я бы не обольщался.

— Только не вздумай ничего у них кланчить, — предупреждаю.

Дорогуша горестно закатывает глаза, оправляя перышки:

— Кланчить? Фи... Разве я такой?

— Какого черта? — спрашивает Дракон. — Где девчонки — там неприятности. Походят-походят, и пустят по Дому сплетни. Зачем нам это счастье? Подарков ихних не видели?

— А вы не давайте поводов для сплетен.

Красавица сияет. Гасит иллюминацию ресницами, но все равно видно. Один у нас симпатичный парень. Единственный. Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит.

Дракон хлопает его по спине и ржет:

— Ромео-о!

Красавица багровеет, шипит и брызжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса.

— Заткнитесь! — ору со своей верхотуры и они затыкаются.

Все виды маразма в одном Гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедией и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус.

Конь дрыхнет. Бросаю в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает — непонятно.

— Ура Стервятнику! — не к месту предлагает Пузырь.

Жду, пока стихнут общие разнокалиберные ура.

— Всем все понятно? — спрашиваю.

Кивают. Чешутся. Со скребом. С сопом. Смотрю на них и думаю: какая дура примет приглашение? Унылая рожа Коня. Радужная рожа Пузыря. Подгнившая сверху и снизу рожа Бабочки. Бугристая рожа Дракона. Глаз отдыхает только на Красавице и на Слоне. И вообще, все зеленые. Свет плохой. Смотрю на лампочку. Вокруг нее что-то порхает. Что-то, еще не вымершее от холодов. Пытаюсь поймать, но промахиваюсь. Дракон кашляет. Поперхнулся дымом. Его бьют по спине в восемь ласт. Это Босх. Да еще в потемках.

— Господи... — говорю я лампе. — Твоя воля.

Стая веселится. Это у них хроническое. Когда я серьезен, им всегда кажется, что я шучу. Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребезжит будильник. Все вздрагивают. Время поить Ангела каплями.

— И все-таки, зачем нам это нужно? — бубнит Дракон. — Девушки! Жили мы без них спокойно, и еще бы пожили. А теперь... за полгода всего... Слепой попрыгал с Длинной и — ура! Новый Закон! А нам теперь в коридор не выйти.

Ангел открывает рот и ждет. Своих росинок.

— Слепого не обсуждать. В коридор выходить. С девушками заговаривать. По возможности приглашать. Все. Ясно?

Ангел ждет. Слон стыдливо хихикает и закрывает рот ладонью. Красавица кивает. Пузырь ухмыляется.

— Вот и славно. С богом, детки.

Сползаю с насеста. Хромо удаляюсь. Прочь из Гнезда. Подальше от всех. Слон догоняет меня и вручает горшочек с Луисом. Для поднятия настроения и общего тонуса.

Дальше идем втроем. Я, Луис на сгибе моего локтя и сутулая фигура в левайсах и черном свитере. Шагает, припадая на левую ногу, как я кренюсь вправо, беззвучный призрак брата моего Тени. Это такая же его территория, как моя. Он даже более дитя Дома, чем я, он никогда не выйдет отсюда. Я могу увидеть его в любое время и в любом месте, он всегда рядом — но занят какими-то загробными делами, вечно спешит и не смотрит на меня. Может, он обижен. Мы говорим только в снах, которые я вспоминаю с трудом. Из-за Макса мало кто приближается ко мне ближе, чем на три шага, когда я неподвижен. Многие его чувят.

Черный. Медленно шагает навстречу.

Кивает мне, я киваю ему. Не очень мы любим друг друга, но положение обязывает. При встречах нам полагается здороваться и беседовать. О чем? О погоде и самочувствии, быть может? Тень корчит

недовольную гримасу. Идем дальше. Тихо насвистываю. Дневные часы теперь девичьи. Они тоже прогуливаются. А также сопровождающие их и разглядывающие. Вшивые псы с ошейниками. Птицы в пижамах с голыми шеями. Модники Логи, выющиеся вокруг... Как назвать подружку Лога? Логихой или Ложихой? А может, Лоgetкой? Они шуршат и шепчутся, смеются, бросают цепкие взгляды из-под челоk. От их присутствия коридор не похож на коридор, а на что похож, непонятно. И хнычет паркет под шагами Плешивого Стервятника.

Пухлый Лопотун, увидев Стервятника, стягивает берет и становится в Песью позу почтения. Голова опущена, хвост подметает паркет. Я обхожу его, Тень проходит насквозь, и непонятно, чем вызвано вздрагивание Лопотуна, почтением передо мной или неприятными ощущениями в связи с прохождением сквозь него Тени. Хочется уточнить, но я не останавливаюсь. Есть множество вопросов, на которые мне никогда не получить ответов. Ведали ли мы, что творим, окрестив Тенью Тень? Не накликали ли мы на него эту участь: вечно бродить, приклеенным к чужой плоти, вечно молчать? Остальные знакомые мне привидения довольно болтливы. Только он всегда молчит.

На Перекресточном диване страшилище Габи. Ноги раздвинуты, юбка то ли есть, то ли нет. Вокруг толпятся любители интимностей и с интересом заглядывают. Габи развлекается лупя их сумкой и стыдливо вереща, но обзор не прикрывает. При виде Птицы молчание и отскоки. Я прохожу в тишине и уношу ее с собой, тишину, малиновость щек, и мерзкое чувство своей причастности к происходящему. Строгий дед, заставший внучку в неподобающем виде. Это ужасно. И смешно одновременно.

Знакомая мелодия соткавшись из воздуха, тянет за собой. Замедляю шаг. Проем Кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются Крысы. Мусорно-пестрые головы. Стулья на тонких ножках забиты, но мой как всегда свободен, и на два места вокруг — пустота, лишь Валет, менестрель нашего детства, сидит вплотную к ней, носом в струнах.

Подхожу и сажусь. Тень садится слева. Луиса я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю ключи. Восемнадцать, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрей. Сопит. Протягивает клешню. Серебряная серьга. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца. Тоже

серебро. Примеряю. Это я возьму.

— Сколько?

Клешня показывает четыре пальца. А больше у нее их и нет. Достаяю из потайного кармана бумажник. Плачу. К ключам у меня слабость. Особенно к бесполезным. За спиной запах псины. Это Валет.

— Музыка не мешает?

— Нет, старичок, даже радуется. Жаль что ты не поешь. Может, попробуешь?

Он улыбается, в глазах вопрос.

— Ты же знаешь, у меня нет голоса.

Я знаю. Он поет, только когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть «Иммигрантскую Песню». Без пения это обломисто, но переносимо. К финалу Кофейник переполнен. В основном Крысиными черепами, от которых рябит в глазах, но Грызуны — поклонники Большой Песни, и гнать их из родного кормильного отсека не годится. Поэтому я надеваю темные очки. Всего-то. Эффект стопроцентный. Черепа сереют, нервы успокаиваются. Слушаем дальше.

На леди, с ее стрелянкой в небеса, входит Сфинкс. Резко очищаются три шестка. Он влезает на один и глазеет, майскими жуками из под девственного черепа. Потрясающий тип. Снимаю очки, чтобы видеть его в цвете, и мы слушаем дальше. Сфинкс потихоньку начинает подавать голос. Крысы покачиваются. Гитара Валета расходится и съезжает в переборы. Сфинкс расходится и съезжает в вопле-шепот. Я тоже расхожусь и начинаю притоптывать.

Кто-то вовремя закрывает дверь. Пока не набежало лишнего гомоса. Кончится вся эта прелесть мордобоем, потому что так уж устроены Крысы. Но пока нам хорошо. Особенно мне. Валет почесывает нос, Сфинкс усмехается. Прекрасный способ стирания мыслей — плохих и не очень — самый лучший и самый давний.

Мы ловим кайф полчаса, потом депрессионная Крыса из малолетних вдруг заливается слезами и извлекает бритву. Они без этого не могут. Самое ценное, что есть в Крысе — ее постоянная готовность порешить себя в любом месте и в любой момент. Себя, или окружающих. Такая готовность к финишу взбадривает Крысятник в целом. Старикашка дон Хуан бы это одобрил. Но только он. Мне такие вещи не по душе.

Крысенок пилит себя, утопая в соплях, Валет зачарованно таращась на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на штопку. На полу красивые алые лужицы. Сфинкс вздыхает. Надеваю очки номер пять. Бодрящий желто-оранжевый

спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями.

Сфинкс сразу замечает новое приобретение — ноготный ключик — и одобряет. Мелочь, а приятно. Допиваем кофе. Треплемся о Брейгеле. Потом о Леопарде. Нейтральные темы. Тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму — кофейные кольца на белом — Птички заглядывают в дверь, робкие, в поисках своего вожака, не оборачиваясь цыкаю на них, и вот уже нет ни одной, будто и не было.

— Послушание на уровне дрессуры, — отмечает Сфинкс. — Чем ты их так запугал, Желтоглаз?

— Своими размерами.

Я давлюсь, кашляю, и сразу оказывается, что Птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак Тени смеется на соседнем стуле. И тоже кашляет. Беззвучно. Его никто не хлопает.

Разговор плавно подплывает к Сантане. Я уже растаял и стек в ближайшую кофейную лужицу. До того приятно, что даже не по себе. Общение с человеком, который умеет говорить — редкое удовольствие для живущего в Гнезде. Мы болтаем и болтаем. Валет чистит свою котомку. В ней коллекция ноготков-медиаторов, и откровенно говоря, она грязновата, поскребыванием тут не поможешь, нужна стиральная машина. Самого Валета тоже не мешало бы туда забросить. Улыбаюсь чашке, кручу кольцо на пальце.

«Лунный цветок» и «Амигос»... о да...

В Кофейник незаметно проникает запах ближайшего туалета и все портит. Печально. Интеллектуальная беседа — вещь незаменимая. Особенно для одной моей знакомой Птицы. Бедняжка... жаль его иногда до слез. Лысый допивает свой кофе, вернее, то, что так называют в Кофейнике, желает нам всего хорошего и уходит, осторожно обходя следы порезавшегося Крысенка.

— Ну, что? Придешь вечером? — спрашиваю Валета.

Собакоголовый бледнеет и начинает теревить костыль:

— Э-э, я бы с удовольствием, но... как-то мне у вас... немного...

— Противно, — заканчиваю за него. — Ладно. Если тебе так тошно от нас, можешь не приходить.

Слезаю с шестка и удаляюсь в полной уверенности, что он придет. Резво ковыляю. Дом объят весенним безумием. Оно заразно, его можно подцепить в каждом углу — и я уношу от него ноги, хотя они все равно врезаются в память — глупые, самодовольные лица, подмигивающие щелками глаз, красивые одурманенные лица, улыбающиеся другу. Звенят

цепочки — символы ошейников, на тонких девичьих шеях. Колясники и колясницы тихо шепчутся, сцепив колеса и пальцы, гадают друг другу по ладоням, предсказывая бескрылые судьбы. Хихикают подружки Логов, раскрашенные, как ритуальные маски. В этот час нельзя гулять одному. Дом принадлежит им. Всеми своими щелями и подтекающими кранами, всеми надписями, приобретающими тайный смысл... Печально. Хромаю, как распоследний бес. Нога нагревается. Этой ночью меня будут пытаться Собственные кости. Мало у кого имеется в наличие такое подбадривающее средство. Тем и следует утешаться.

Снимаю очки и жду. Знаю, что вот сейчас, в конце коридора, мелькнет белый кроль, с лошдиным топотом уносящийся на Керроловский шабаш. И он промелькнул. На долю секунды. Если не знать, нипочем не заметишь. Передыхаю и тащусь дальше...

Топ-топ... идет Большая Птица, та, что питается падалью...

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Вскипятите его, остудите во льду

И немножко припудрите мелом.

Зима — время великого переселения кошек. Не по одной, а все вместе они являются каждая к знакомому порогу и ждут разрешения войти. Выезжая поутру из спальни, мы с Лордом натываемся на крысиный труп. Над ним скромно восседает взяточдатель. Очень худая, очень облезлая, пепельно-полосатая тигрица в белых носках. Мать бесчисленных потомков, ходячий кошмар грызунов.

— Привет, Мона Лиза! — Лорд радостно тянется ее погладить ее. Мона запрыгивает ему на колени и, тихо урча, трется о свитер костлявым боком.

— Да, здоровенная, — отмечает Лэри из-за наших спин. — Крупняк.

Имеется в виду, конечно, покойная крыса. Запускаем Мону в спальню и едем завтракать. У дверей третьей — аналогичная картина. Два крысиных тела и выжидающие коты. Завтракаем вдвоем. В снегопад у Толстого наступает период зимней спячки, он не завтракает и не обедает, ест только приносимые мелочи, и то, если удастся его растолкать. Это зима.

После уроков приходит Рыжая с моими носками и свитером Лорда, и мы с ней, Лордом и Горбачом спускаемся во двор. Пусто и снежно. Жители Дома не любят резвиться на виду у наружности, поэтому снежные бои, если и будут, то с наступлением темноты. Мы лепим крошливового снеговика и приносим его с собой. Он тает посреди классной комнаты, превращаясь в лужу с плавающим в ней снегом, о которой Горбач говорит, что такова жизнь.

Потом мы сушимся и пьем чай. Рыжая заплетает волосы Горбача в сто косичек, но только с одной стороны. На вторую не хватает терпения, и мешает Нанетта с ее ревностью и переживаниями. Горбач сажает ее на голову, она сразу успокаивается и перестает клекотать. Я говорю, что и односторонние косички очень красивы, а Лорд говорит, что безумно жалеет

о своих волосах, о том, что в теперешнем виде их нельзя ни во что заплести. Я играю «Снежную Песню» — ту, что хуже дождевой и намного короче, зато больше подходит зимнему дню.

Перед обедом появляется опоздавший к кошачьему переселению Дилан. Черный, как уголь, любимчик Сфинкса, сын Моны, самый громкоголосый певун из всех известных нам котов. Только, чтобы услышать его пение, надо дождаться весны.

— А где твоя выкупная крыса? — спрашиваю я его.

Он отворачивается и уходит, покачивая блестящим задом. На редкость самовлюбленное животное.

На полу блюдца с молоком и колбасными обрезками. На оконных стеклах морозом нарисованные хрустальные узоры.

Вечер, и опять идет снег.

Кошки и ворона испытывают друг друга на бдительность. Горбач, в односторонних косичках успокаивает их флейтой. Лэри пудрит прыщи, затягивается поясом до багровости и убегает искать приключений. Лорд уезжает сразу после него. Почему-то сегодня никто не поехал играть в снежки. Я сижу на подоконнике и жду, но внизу никого. Пусто и уныло. Рассматриваю морозные узоры на стеклах и нахожу в них себя, десятикратно повторенного — на Мустанге и без Мустанга, лохматого и причесанного, и даже в новой жилетке, и я выскребаю для этого хрустального себя маленькое, с ноготь, окошко, чтобы ему легче жилось и веселее дышалось. Сфинкс, морщась смотрит на меня.

— Суеверие, — говорю я ему. — Видишь, там, в узорах — тоже я.

— Да, — соглашается он. — Там можно увидеть все что угодно. Но ты мне лучше вот что скажи... Рисуя на потолке дракона, ты случайно не изобразил на нем пронзенное стрелой сердечко? Чисто машинально?

— Нет, — отвечаю я. — Такие пошлости не в моем духе. Я только вставил ему глаз. Следуя сновидческим инструкциям.

Возвращается Лэри. Все еще очень пунцовый. Бродит по комнате, вздыхая, как неупокоенный призрак. — Я приведу ее, — говорит он наконец. — Познакомиться. Она вам понравится. Классная девочка, вот увидите.

Мы молчим. Лэри ждет. Почему-то таращится на Горбача.

— Ну приводи, — говорит Горбач. — Чего ты на меня-то так уставился? Я здесь что ли главный бука?

— У нас с ней любовь, — объясняет Лэри. — Понимаешь? Настоящая.

Ты не мог бы поболтать с ней по-дружески, когда она придет? Ведь мы с тобой друзья.

Горбач смотрит на него с ужасом:

— О чем? О чем я должен с ней болтать?

— Ну о вязании, например, — оживляется Лэри. — Она такие свитера вяжет — закачаешься. Не хуже твоих, честное слово.

Горбач скисает. Всем известно, как он этого стесняется своего умения. В том числе Лэри. Но настоящая любовь, должно быть, мешает запоминанию всяких мелочей.

— Чего не сделаешь во имя дружбы, — утешаю я Горбача, когда Лэри опять убегает.

Курильщик спрашивает кто девушка Лэри. Дружно пожимаем плечами. Никто не знает. Мы знаем только, что второй Габи в Доме нет. Зато здесь водится много других страшных существ, а от Логов хорошего ждать не приходится, поэтому мы немного нервничаем, а бедняга Горбач больше всех.

Чуть погодя Лэри ее приводит. Белобрысую тонконожку на подламывающих каблучках. Она прячется за его спину Лэри и таращится на нас оттуда, а он краснеет от удовольствия, растекаясь, как томатная паста.

— Знакомьтесь. Это Спица. Она вяжет шикарные свитера. Очень шикарные. Я сам видел два последних. Они просто нарасхват. Здорово, да, Горбач?

Горбач бросает на меня отчаянный взгляд. Откашливается. Еле слышно спрашивает, какой номер спиц она — Спица — предпочитает.

Спица, не расслышав толком, жалобно улыбается. Горбача надо спасать. Дурака Лэри тоже. И я включаюсь.

— С узорчиками или без? — меня трудно не расслышать. — Какие узоры предпочитаете? Оплетки? Воробьиные лапки? Ах, цветочки! Как это мило!

За полчаса я выясняю, что девушка предпочитает бежевый цвет, что она родилась в ноябре под знаком Скорпиона, что любит чай, а не кофе, — на этом месте Лэри насильно вливает в нее пару чашек чая — что легко обгорает на солнце, что готовить умеет только рисовую кашу, что она скорее жаворонок, чем сова, и немного подкрашивает ресницы, но другой косметики не признает. Наконец, Лэри ее уводит, вполне довольный, а я могу передохнуть.

— Спасибо, Табаки, — говорит Горбач. — Вовек не забуду. С меня что только пожелаешь. Что смогу достать.

— Пустяки! — отмахиваюсь. — Хотя, разговорить ее, прямо скажем, было нелегким делом.

Потом возвращается Лорд. Красный и дикоглазый, не хуже Лэри. Белые ящери по зеленому свитеру, мокрые волосы зачесаны назад, скрывая проплешинки. Я грызу орехи. Сфинкс качается на тумбочке, позвякивая всем, что там внутри, а Лорд, странный с виду — что уже привычно, но все же еще страннее, чем привычно — заваривает кофе и мешает его с Кока-Колой, сыплет туда дробленый миндаль и корицу, а потом вытряхивает в чашку содержимое амулета со скорлупой василиска, и выпивает, не поморщившись.

Спрашиваю что с ним такое стряслось.

Лорд перемалывает скорлупу зубами и молчит.

Морщась, наблюдаем за тем, как он разделяется со своим жутким кофе и со всем, что в него накидал.

— Я слишком низко нагнулся к огню, — говорит он наконец. Усмехаясь, как маньяк.

Мы некоторое время ждем, не помрет ли он, потом Курильщик спрашивает, где он нашел открытый огонь, чтобы к нему нагибаться.

Лорд таинственно улыбается. Словно весь Дом полыхает кострами, вокруг каждого сидят люди, на спор нагибаясь к огню — кто ниже? — и только Курильщик почему-то ничего об этом не знает.

Я бы на месте Лорда не разводил столько романтики вокруг банальных явлений, и не доводил Курильщика, но что взять с влюбленного? Все они немного не в себе. Если он думает, что сожрав уникальную скорлупу василиска завоюет сердце Рыжей, пусть себе жрет. Мне только жаль Курильщика, который и так нервный.

— А Лэри приводил свою подружку, — сообщаю я. — Вязальную Спицу.

— Да? — говорит Лорд. — Как интересно.

Врет. Ему не интересно.

Сфинкс вздыхает.

— В другой раз не нагибайся так близко к огню, Лорд, — просит он. — Огонь — неуправляемая стихия.

— Боже, — стонет Курильщик. — Как я от вас устал!

Ночью мне снится странный сон: мертвое озеро — светло-серое, неподвижное, как зеркало. Из воды торчат белые сухие стебли. Я сижу на берегу и жду появления чего-то страшного, обитающего на дне. Рядом со мной на песке, валяется ржавый меч. Туман затягивает все вокруг, я вдруг оказываюсь в воде... и просыпаюсь.

Ночь светлая, хотя луны не видно. Лорд не спит. Сидит и смотрит на меня, задумчиво покусывая ворот пижамы. И гладит Мону, полосатым ковриком разлегшуюся у него на коленях.

ВОРОЖБА

— Знаю, знаю зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь...

Х.К. Андерсен

Русалка садится на корточки у выдвинутого ящика стола. В нем ворох всякого хлама вперемешку с немногими действительно ценными вещами. Здесь ее учебники и тетради, дневник двухлетней давности, склеенный так, что прочесть что-либо, не разорвав его, невозможно, похвальные листы за успехи в учебе и несколько забракованных Крысой колокольчиков, которые та не повесила над своим матрасом. Покопавшись в глубинах деревянной сигарной коробки (такой старой, что изображение на крышке полностью стерлось), она находит то, что искала — вязаный шерстяной мешочек для спортивных тапочек, с которым когда-то ходила на сеансы лечебной гимнастики. Отпихнув кота, приносившегося к ее рукам, Русалка расстилает мешочек на полу. Он не совсем такой, как ей помнилось. Тусклее, грязнее... Прямо посередине проеденная молью дырка. Ей казалось, что мешочек должен быть намного красивее. Не всматриваясь в рисунок, она вспоминает, как вязала его. Ряд за рядом — маленьких коричневых человечков, держащихся за руки и танцующих смешной игрушечный танец. У каждого одна нога на весу — на разной высоте, чтобы хоть немножко отличались друг от друга. Она ужасно любила их, коричневых, большеголовых уродцев. Ей было восемь лет. Она загадала тогда желание и верила, что оно исполнится, если сделать что-то необычное, что-то сложное. Связать, например, такой мешок, вместо шарфиков, которыми довольствовались остальные. «Зачем браться за то, чего толком не умеешь?» — спросила ее Гекуба. Русалка не ответила. Когда мешок был готов, и даже Гекуба назвала его «славненьким», а чуда так и не произошло — тогда она и придумала человечков. Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем поверить, что задуманному не осуществиться. Двенадцать человечков. На них ушло больше времени, чем на весь мешок. Центральная фигурка отличалась от остальных. Она похожа на метелку. Это как бы сама Русалка, спрятанная под волосяной кисточкой, на которую пошли ее настоящие волосы. «Смотри-ка», — сказала Гекуба, — «как красиво... Ты будешь вязать своему парню чудные свитера,

попомни мои слова». Русалка это запомнила и вплела в свое чародейство обязательным условием — ведь это звучало так замечательно! Теперь, проводя пальцем по человечкам, она вспоминает. Сбылись все тайные желания. Кроме последнего. Этого. Ее парень пока еще не ходит в ее свитерах. Он даже не знает, что он ее парень.

Русалка складывает мешок и прячет его под рубашку. Кошатница, следившая за ней со своего матраса, спрашивает:

— Что, детские воспоминания одолели?

— Да, — отвечает Русалка неопределенно. — Можно и так сказать.

— Ну-ну, — вздыхает Кошатница. — Надо думать, скоро Рыжая откопает свою любимую рогатку. Или Крыса явится с пакетиком мышьяка, из которого отсыпала в суп своему дедуле, когда ей было четыре годика. Буду ждать с нетерпением. Все это так непредсказуемо, так интересно!

— Не вредничай, — механически отвечает Русалка, думая о своем. — Покормить котов?

— Не надо. Уже покормили. Все вы очень любезны, ничего не забываете. Даже пыль с меня смахиваете. Вот только сбегаете чуть что. Не успеешь моргнуть — вас уже нет. Но я не жалею, мне много не надо. Могу сидеть весь день одна. Кому, собственно, приятно мое общество? Есть занятия поинтереснее, чем болтать с каким-то обрубком.

— Ш-ш, — Русалка, закрыв глаза, прижимает палец к губам. — Хватит. Пожалуйста.

И не дав Кошатнице возможности среагировать на свои слова, выскальзывает из комнаты.

В последнее время общение с Кошатницей превратилось в пытку. Нескорчаемый террор с жалкими попытками сопротивления. Рыжая сопротивляется успешнее. Крыса ни на что не обращает внимания. Русалка завидует обоим.

Она проходит по заваленному матрасами коридору и сворачивает в первый попавшийся класс. Садится на свежeweымытый пол, снимает с плеча рюкзак и выворачивает его наизнанку, высыпав содержимое. Потом медленно, одну за другой, складывает вещи обратно. На полу остается кучка предметов, ей не принадлежащих. Русалка ложится, подперев рукой подбородок, и смотрит на них. Замшевый футлярчик для трубки. Нитка бус из ореховых скорлупок. Монета с дыркой. Засохшая лимонная корка. Пуговица. Скомканный подгузник со следами яичного желтка. Кожаный наголовный ремешок. Медиатор. Кое-что она украла сама, кое-что принесли вездесущие детки Кошатницы. Только бусы и монета попали к ней честным путем. Русалка рассматривает свою добычу, то придвигая

одни предметы к другим, то отодвигая, потом, привстав, вытаскивает из-под рубашки мешок для спортивных тапочек. По одному складывает в него все предметы, грея каждый в ладони, дыша на него, нашептывая неслышимые слова, пока на полу не остается только труха, копившаяся на дне рюкзака с незапамятных времен — волоски, крошки, обрывки ниток. Их она сдувает. Встает и подходит к окну. Там, стоя спиной к двери, вытаскивает из кармана самое главное — маленький зашитый мешочек на шнурке, кисет, украшенный бисером. Его она украла в классе четвертой из ящика стола. Это самый колдовской предмет из всех, что ей доводилось держать в руках. Она достает из кармана жилета маникюрные ножницы и осторожно его распарывает. Теперь мешочек открыт, но Русалка в него не заглядывает. Она вынимает из другого кармана платок с локоном своих длинных волос, скручивает локон восьмеркой, и, перевязав ниткой, опускает в кисет. Потом медленно и тщательно зашивает, так и не посмотрев, что же было внутри. Кисет прячется в карман, все остальное — в мешок для обуви. Стянув его завязки, Русалка долго стоит зажмурившись. Она очень устала. Наверное, это можно считать добрым знаком. Подтверждением того, что она совершила что-то действительно трудное. Так надо думать, иначе можно расплакаться.

В пустом классе очень чисто. Никто не стаскивает сюда матрасы, не хранит здесь свои вещи, не заходит поковыряться в книжных шкафах. Их предупредили, что классные комнаты будут запирать, если они начнут захламлять их, и девушки с несвойственной им щепетильностью вообще перестали туда заходить. Им хватает коридора и спален. В классах только вытирают пыль, поливают цветы, время от времени проветривают. Теперь, когда Русалка закончила дело, ради которого пришла, ей хочется поскорее уйти. Она вешает мешок для обуви через плечо. Он будет при ней, куда бы она ни пошла. Возможно, это ничем не поможет. Но так ей спокойнее. Так никто другой его не найдет и не заглянет внутрь. А чужой амулет надо вернуть на место.

Она выходит из класса, раздумывая, стоит ли возвращаться к Кошатнице, но думая об этом, уже идет в противоположную сторону. Кошатница обижена. Возможно, ей станет легче, если она обрушит на кого-то длинный перечень своих обид, но Русалке хочется по возможности отдалить этот момент. Пусть это произойдет перед сном. Еще лучше завтра.

В коридоре мало народу. Два матрасных завала заняты, остальные пустуют, телевизор выключен. Многие еще гуляют в мальчишковом крыле. Проходя мимо воспитательского блока Русалка по привычке старается сделаться незаметной, но ей это не удается. Длинношеяя Душенька

сидящая в кресле, установленном прямо в дверном проеме, окликает ее:

— Эй, детка, погоди-ка...

Русалка останавливается, затаившись под волосами.

— Иди сюда. Я как раз собиралась с тобой поговорить, — Душенька выбралась из кресла и отодвигает его вглубь комнаты, освобождая проход. Русалка заходит.

На крошечном столике, заваленном пакетами с едой, шипит кофеварка. Трижды в день воспитательская меняет свой облик. В часы дежурств Крестной здесь царит угнетающая чистота. Ни пылинки, ни соринки, ни одного лишнего предмета. Крестная здесь не ест, не читает журналов и не пьет кофе. «И уж конечно не накладывает макияж», — думает Русалка, заметив два карандаша для век в блюде с арахисом. Два патрончика — черный и коричневый — и клочок испачканной в туши ваты. «А потом она этот арахис сгрызет», — с неожиданным отвращением думает Русалка. В часы Душеньки в воспитательской комнате полный бардак, и девушки удивляются только тому, как быстро Крестной удастся его ликвидировать, едва переступив через порог.

Душенька выдергивает из розетки шнур кофеварки и скидывает со второго кресла стопку журналов.

— Садись сюда. Разговор будет долгим.

Русалка послушно садится на краешек кресла. Душенька, расположившись напротив, достает сигареты. Покосившись на ее туфли с золотистыми мысками, Русалка прячет ноги в поношенных кедах под кресло.

— Ты теперь ходишь к мальчикам, — Душенька выпускает из округленных губ струйку дыма. — Не спорь, я знаю, что это так.

Русалка, и не собиравшаяся спорить, отслеживает вознесение и таяние дыма на фоне закопченного потолка. Потом переводит взгляд на Душеньку.

— Да, — говорит она. — Я хожу туда.

— А не считаешь, что тебе, быть может, не следовало бы этого делать?

Русалка думает о Кошатнице. Уж не пожаловалась ли та, что ее надолго оставляют одну?

— Нет. Не считаю.

— Многие девочки завели себе там приятелей. Думаю, ты об этом знаешь?

— Знаю, — кивает Русалка. — Только это по-другому называется.

— Неважно, — Душенька бросает на нее недовольный взгляд из-под серебристой челки. — Неважно, как это называется. Важно, чем они занимаются. А еще важнее, чем эти занятия для них могут закончиться. Ты

ведь понимаешь, о чем я, душенька? Я считаю, не стоит копировать других, только потому, что не хочется выделяться. Например, если девочка не предрасположенна к определенному стилю поведения. Или если ей не хочется, чтобы ее считали несозревшей. Ты со мной согласна?

Русалка хмурит брови:

— Нет. Вы обо мне говорите? Откуда вы знаете к чему я предрасположена, а к чему нет?

— Уж позволь мне судить. — сладко улыбается Душенька. Я-твоя-воспитательница-никогда-не-спорь-со-мною-дура! — Позволь мне судить, кто к чему предрасположен в этом заведении, душенька. Я ведь здесь работаю немало лет. У тебя там есть симпатия? В соседнем коридоре.

Русалка смеется. «Симпатия!» Так могла бы выразиться чья-нибудь прапрабабка. «Кавалер». «Дружок». С ума сойти! «Симпатия» — это что угодно, только не Сфинкс. Она представляет, какое у него будет лицо, скажи ему кто-нибудь, что он ее симпатия — и корчится от смеха, не в силах сдержаться, несмотря на то, что негодование на лице Душеньки постепенно переходит в открытую злость.

— У меня нет там любовника, — говорит Русалка, перестав смеяться. — Но скоро будет. Я постараюсь, чтобы тот, кого вы обозвали «симпатией» им стал. Он еще не знает об этом, но скоро узнает.

— Ах, ты!.. — Душенька давит окурочек о край стола, — Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, дурочка! Не успела вылезти из пеленок, а туда же — любовника ей! Ты еще слишком мала, а твоему кандидату в любовники голову надо оторвать, если он этого не понимает! Что я и сделаю сию же минуту! Как его зовут, этого идиота?

Русалка молчит. Она меня не слышала что ли? Ей вдруг становится грустно. Как здорово было бы сидеть здесь, выслушивая ругань Душеньки, если бы все это было правдой. Как ей было бы тогда спокойно и безразлично. И это, и воркотня Кошатницы... Но почему бы не представить, что это так? Если она не верит в собственное колдовство, разве оно сможет подействовать на других?

— Сфинкс, — говорит она с пугающей смелостью. — Это Сфинкс. Он еще не знает, что я выбрала его. Поэтому очень удивится, если вы явитесь отрывать ему голову.

Она злорадно отмечает, изумление Душеньки и угасание ее боевого пыла.

— Сфинкс, — повторяет та, прикусив перламутровый ноготь. — Вот уж не думала... Странный у тебя однако вкус, милочка. Ты всерьез намерена его охмурить? Я бы на твоём месте искала другой объект...

— Что вы имеете в виду? — спрашивает Русалка чужим, нехорошим голосом.

— Безрукий, лысый... — Душенька загибает когтистые пальцы, перечисляя, — перенесший бог весть какое заболевание, которое так и не удалось диагностировать... Выглядит на все двадцать пять... Нет, определенно. На твоём месте, я бы поискала кого получше.

— Не думаю, — отвечает Русалка медленно, — что вы в этом хоть немного разбираетесь.

— В чем? — хмурится Душенька.

— В любви, — отвечает Русалка. — Не думаю, что вы знаете, что это такое.

Глаза Душеньки делаются совсем узенькими:

— Как ты со мной разговариваешь, детка! Не слишком ли нагло?

— Не слишком. И я вам не детка.

Душенька вскакивает с намерением дать ей затрещину, но Русалка вскакивает быстрее, отбегает и отгораживается от нее креслом.

— Только попробуйте!

— И что будет? — интересуется Душенька, дергая кресло на себя. — Да за твою наглость тебя следовало бы отлупить до крови, мерзавка ты эдакая!

Русалка с силой толкает кресло на воспитательницу и выскакивает за дверь. Здесь она останавливается, уверенная, что Душенька не станет приводить свои угрозы в исполнение у всех на виду.

— Почему? — спрашивает она. — Почему вы позвали меня? Почему не Рыжую? Она ходит на ту сторону чаще, а старше меня всего на месяц. Но ей вы никогда ничего не скажете! Со мной проще! Меня вы презираете, так ведь?

Душенька, все еще отгороженная креслом, смотрит на нее зло, как дикая лошадь, рвущаяся из загона.

— Дура! — говорит она громким шепотом. — Убирайся! Иди, делай, что хочешь и с кем захочешь! Я желала тебе добра!

— Вы любовались собой! — выкрикивает Русалка, убегая. — Вас только это на самом деле интересует!

Она бежит по коридору, ощущая злость воспитательницы как что-то огненное, горячей волной хлестнувшее ее по спине. Из ближайшего матрасного домика ей приветственно машут руками. Она не останавливается.

На лестнице веселая компания Логов в черной коже гоняет игрушечный автомобильчик на батарейках. С ними Спица. Увидев Русалку,

круглолицый Пузырь расплывается в ухмылке.

— Эй, ты счастливая? — кричит он.

— Вот прямо сейчас?

— Нет, вообще. Тебе везет, или не везет? То есть, что чаще?

— Не знаю, — расстроенно отвечает Русалка. — Сама хотела бы выяснить.

— Вряд ли она годится в талисманы, — говорит сидящая на корточках Спица. — Если сама не знает. Счастливые — они обычно в курсе, что счастливые.

— Но ни за что не признаются, чтобы не сглазить, — спорит Пузырь, не теряя надежды.

Спица в черной косухе, как у всех Логов. Только вместо джинсов на ней короткое ситцевое платье в цветочек, оставляющее на виду тонкие ноги-палочки. Должно быть, она перестала их стесняться. Вид у нее не в пример счастливее, чем раньше, и Русалке становится интересно, почему воспитателям так не по душе дружба девушек с парнями — вот ведь превратилась же Спица во что-то вполне симпатичное и бескомплексное. Логи отворачиваются от Русалки и смотрят на облупленный автомобильчик, с жужжанием пересекающий площадку. Русалка тоже смотрит. Не дожужжав до стены, машинка врезается в лестничные перила и переворачивается. Логи со свистом вскакивают.

— Чья была ставка? Какой козел его разгонял? Москит, руки откуда растут?

Русалка незаметно отходит.

Она бредет по мальчиговому коридору. Очень медленно. Сейчас она пройдет мимо четвертой. Потом дойдет до Перекрестка, посидит там на диване и вернется. Еще раз мимо четвертой. Может. потом она еще раз повторит этот маршрут, а может быть, нет. Надо быть уверенной, что никто не застанет ее в классе, что ей хватит времени вернуть украденный амулет и выйти незамеченной. Иначе все потеряет смысл. И она идет, краснея и хорошея с каждым шагом. Вплетенные в волосы колокольчики тихо позвякивают. Скоро она узнает, может ли работать талисманом.

ВАСИЛИСКИ

*Что в василиске остается неизменным, так это
убийственное действие его взгляда и яда.*

Х.Л. Борхес. «Книга вымышленных существ».

Крыса сидит в замечательном кресле, похожем на гиппопотама. Черная кожа гиппопотама блестит. Он до того уютный, что она полностью расслабилась в его объятиях, почти задремала. Только перекинутая через подлокотник нога, не перестает раскачиваться. На ноге, отличный ботинок черной кожи, тяжелый, как танк, гармонирующий и с креслом и с куцей жилеткой Крысы — тоже кожа, тоже блестит, все как полагается.

Вот только этот ботинок безумно раздражает ПРИПа. Он глаз с него не сводит. «Интересно, почему?» — думает Крыса. — «Чем он его так достал? Своими размерами или тем, что все время качается?»

В свои предыдущие визиты ПРИП точно так же таращился на ее тату. Хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть. Татуировке больше двух лет, с тех пор как она ее сделала Крыса не носит одежду с рукавами, потому что такое прятать нельзя. Крыса, как живая, иногда даже чешется. За это, а еще чтобы у нее было отдельное имя и не возникало путаницы, хозяйка прозвала ее Вшивой.

Теперь всякий раз с отвращением глядя на свою дочь, ПРИП натывается на оскал Вшивой. И это только справедливо, ведь сама Крыса никогда на него не смотрит. Только через бирки-зеркальца, висящие у нее на шее. Она видит его фрагментами так давно, что уже не может представить себе иначе, как в отражении. Не может представить его целиком. Да и желания такого не испытывает.

— Мне надоели эти твои бесконечные отлучки, — сообщает ПРИП. — Твои постоянные побеги! Ты добьешься того, что тебя исключат!

Крыса косится на бирки. В них подпрыгивают розовые пятна щек и вздернутое кабанье рыльце. Больше ничего не видать. А потом ПРИП вообще выскакивает из бирок и резвится на свободе, топая и завывая, как взбесившийся баньши.

— Убери-с-моих-глаз-этот-безобразный-ботинок-и-сядь-как-полагается-в-присутствии-отца!

Крыса убирает ногу с подлокотника.

— Перестань орать, — просит она. — Держи себя в руках.

ПРИП — что расшифровывается, как Предок и Пародитель — контролировать свои эмоции не в состоянии, и Крыса со вздохом закрывает глаза, в ожидании, пока истекут положенные для визитов сорок минут. Хорошо еще, что кресло такое удобное. — ...никаких интересов в жизни! Ведешь инертное существование! Удивляюсь, как ты вообще научилась говорить! Должно быть только для того, чтобы извергать из себя всякую мерзость!

— Открой глаза, девочка, с тобой ведь отец разговаривает, — жалобно блеет Овца у нее над ухом.

Крыса нехотя открывает глаза.

— Разговаривает? Со мной?

Овца только жалобно вздыхает.

Крыса берет самую большую бирку и ловит в нее отражение беснующегося ПРИПа. Теперь он, маленький, красный и лоснящийся, почти целиком умещается между ее большим и указательным пальцем. Неужели он никогда не заткнется? — ...достаешь эту безобразную одежду и обувь, и покрываешь свое тело изображениями богомерзких тварей, неужели ты думаешь, что нуждаешься в ухищрениях, чтобы выглядеть уродливее, чем ты есть...

Крыса накрывает отчий лик пальцем и сдавливая его, но голос продолжает звучать: — ... какими-то побрякушками... И будь добра смотреть на меня, когда я с тобой...

Она стискивает бирки в кулаке, все четыре, но ПРИП продолжает пищать, щекоча ей ладонь, и прытко перескакивает на пуговицы жилета. Крыса в ужасе. Она вся усеяна ПРИПами, ПРИПы расползлись по кнопкам, пряжкам, металлическим мыскам ее ботинок, они скользят по блестящим подлокотникам кресла — все вокруг в ПРИПах, которые вопят, размножаясь со страшной скоростью — Уродство твоей души отражается у тебя на лице! Каждой своей порой ты смердишь! Смердишь!

Она вскакивает и начинает отряхиваться.

«Смердишь! Смердишь!» — визжат ПРИПы, осыпаясь с нее и раскатываясь по паркету.

— Ай! — вскрикивает первоначальный ПРИП, от которого произошли все прочие, и тоже отскакивает подальше. Этого ей не видно, но хорошо слышно. Изначальный ПРИП тяжел, и у него никудышная маневренность.

Крыса рассматривает себя. Придирчиво изучает каждую пуговицу. Руки дрожат с перепугу. В противоположном конце комнаты ПРИП пытается внушить Овце, что его дочь одержима бесами.

— Успокойтесь, пожалуйста, — просит Овца елейно. — Девочка

просто перенервничала. Она у вас такая впечатлительная!

ПРИП пьет воду из графина. Он в недоумении. Действительно ли Овца настолько глупа, как кажется? ПРИП склоняется к мысли, что его разыгрывают.

— С меня хватит! — восклицает он. — Я потратил на нее уйму времени, отняв его у других детей. Между прочим, их у меня шестеро. Шестеро! — повторяет он со значением.

Овца, спохватившись, охает и ахает.

ПРИПу это приятно. Крыса знает, что он возвел глаза к потолку. Словно все шестеро чад свалились на него откуда-то оттуда, безо всякого его в том участия.

— Натягивал бы презерватив, когда совсем невмочь, — замечает она. — Глядишь, и детей было бы поменьше.

ПРИП теряет дар речи. Такое с ним случается только, когда он спит. Ему это вредно в бодрствующем состоянии, почти смертельно, потому что слишком уж непривычно.

— Да что же это такое! — возмущается Овца. — И не стыдно тебе? Давай-ка, уходи отсюда, пока твой отец вконец не расстроился.

ПРИП обретает голос и начинает кричать, как он расстроился. Так расстроился, что дальше некуда. Дай ему бог дожить до возвращения домой, потому что он чувствует приближение инфаркта.

Овца выталкивает Крысу за дверь и спешит на помощь к погибающему ПРИПу. В ситцевом платице в цветочек она похожа на подушечку для булавок. Очень встревоженную, но до того безобидную, что Крыса даже позволяет себе на нее смотреть.

Она уходит. В приемной, конечно, очень славные кресла, но лучше уж сидеть на гвоздях. До следующего визита ПРИПа осталась ровно неделя и Крыса знает, что он его ни за что не пропустит. Он обожает ее навещать. Это, наверное, самое его любимое занятие. Крыса поднимается по лестнице, не отрывая глаз от своих неоднократно оскорбленных ботинок. Она всегда смотрит под ноги, куда бы шла — так можно быть уверенной, что тебя не занесет куда-то, где тебе не хочется быть. У всех свои проблемы. У нее — эта. Прочие девы Дома предпочитают везде таскать с собой матрасы, как улитки свои домики. Матрасы прилагаются к ним, или они к матрасам — не разберешь, но, видно, так им спокойнее, пребывать на чем-то знакомом, пропитанном собственным запахом. С недавнего времени несколько таких матрасов-самолетов всегда можно видеть на Перекрестке.

Крыса садится на край одного из матрасов, протиснувшись между ним и диваном. Ботинкам не хватает места, поэтому их она запихивает под

диван.

— Смотри не сломайся, когда будешь вставать, — советует Филин из шестой. — Человеческое тело несовершенно.

На матрасе довольно людно. Крысу это удивляет. Хозяйки матрасов всегда расценивали их как эквивалент кровати, и пускали подсесть к себе далеко не каждого. Теперь все не так. На каждом человек по пять-шесть, хозяйки возбуждены до истерики — хихикают, ерзают, закатывают глаза. Для них это почти групповуха. Парни, не понимая, в чем дело, улавливают эти флюиды и тоже теряют голову.

Среди жмущихся друг к другу и страстно сопящих людей Крыса кажется себе бесплотной и невидимой. Они играют в слова. Угадав очередное слово, с преувеличенным восторгом апплодируют, обнимаются и целуются. Бирки Крысы запотевают.

Слон, сидящий перед ней на диване, достает изо рта резинового жирафа и, пытаясь хлопать вместе со всеми, роняет его ей на колени. Очень обслюнявленного и изжеванного жирафа.

Крыса, не глядя, протягивает ему игрушку. Слон не берет. Прячет лицо на плече у Коня и тихо хнычет. Конь берет жирафа, говорит Крысе спасибо, а Слону: «Ай-ай-ай, чего это ты расхныкался, как маленький?» Потом, с удовольствием объясняет всем вокруг, что Слон ужасно боится Крысы.

— Ведь боишься же, Слоник? Не надо бояться тетю. Она хорошая.

— Страшная, — бормочет Слон, зарываясь в плечо Коня так, что тот едва не падает с дивана.

Девчонки на матрасе сдавленно хихикают. К их веселью присоединяется Филин. Загадывают новое слово.

— У нее ножки на пальцах... острые ножки, — шепчет Слон, еле слышно. — Только их не видно...

Крыса встает и протягивает ему руки.

— Смотри сам, нет никаких ножигов. Где бы они уместились — твои ножки?

В бирках отражается только она сама. В перевернутом виде. Челка закрывает левый глаз, губы печально кривятся.

Слон жмурится изо всех сил, чтобы не видеть страшных ножей, которые ему так настойчиво предлагают на рассмотрение.

Крысе любопытно, что он на самом деле видит, глядя на нее. Жаль, Слон ничего не может толком объяснить. Но если бы мог, не был бы Слоном, а значит, ничего бы не видел.

Левый матрас не угадал слово. Правый матрас ликует. Филин с Бедуинкой целуются взасос. Крыса смотрит на них с большим интересом.

Неужели это приятно? Вылизывать чужой рот языком? А если бы у одного из них был насморк, они бы так смогли? Или с насморком не целуются? Бедуинка, задохнувшись, откидывается на свернутую валиком куртку, вытирает рот и достает из жакета пачку печенья.

— Пожужим?

— О да! — страстно отвечает Филин, глядя вовсе не на печенье.

Бедуинка со вздохом разрывает пакет.

Крыса уходит.

В коридоре намного тише, чем на Перекрестке. И почти никого нет. Только Рыжий затаился у двери второй, словно подкарауливая кого-то.

— Привет, — говорит он Крысе. — Ты куда?

— К себе, — пожимает плечами она. — А что?

— Ничего. Выглядишь как-то не очень. Может, зайдешь в гости? У меня отличный ликер. По-моему, тебе не помешает выпить.

Пока Крыса думает, хочется ли ей пить в компании Рыжего, ее заталкивают во вторую. Войдя, она сразу спотыкается о то, что в Крысятнике называют столом.

Рыжий раздвигает спальные мешки, заслоняющие обзор хлопает по ним, и они отъезжают по веревкам, к которым подвешены, как выпотрошенные шкуры. Из единственного, который лежит на полу, доносится храп. Ужасно воняет чьими-то носками.

Крыса садится на пол перед столом-ящиком, облокачивается о его поверхность и тут же к ней прилипает.

— Черт, — шипит она, потирая сладкие локти. — Как вы тут живете, хотелось бы знать?

— Так и живем. Здесь не всегда так грязно. По средам мы устраиваем уборки, а сегодня, как назло, вторник. Самый грязный день.

— И сколько сред вы пропустили? Только честно.

Рыжий достает из рюкзака фляжку, наливает Крысе в колпачок и передает его сразу в руки, не связываясь со столом.

— Ликер из мандариновых шкурок. Полный отпад.

— Сам делал?

Он смеется:

— Нет. Не бойся. Купил у Братьев Поросят. Все стерильно. Представляешь, Фазаний ликер?

В бирке Крысы пара пучеглазых очков и ничего более. Потом и очки заслоняет фляжка.

— Как поживает ПРИП? — спрашивает Рыжий, вытирая ликерные усы.

— Отлично. Два его персидских кота и две дворняжки тоже поживают хорошо. У одной — которая Милли — был понос, но она уже оправилась, спасибо.

— О-о-о, твой папа любит животных? — изумляется Рыжий.

— Обожает.

Тон Крысы настолько мрачен, что Рыжий понимает, что развивать эту тему не стоит. Но пока он подыскивает другую, Рыжая говорит:

— Он обожает животных. Он от них без ума. Они чистые и невинные создания.

— Упс... — выдавливает Рыжий растерянно улыбаясь.

— Вот именно, — Крыса смотрит на Рыжего в упор, как не смотрит ни на кого дольше трех секунд.

— Что ты вообще о нем знаешь? Он, к твоему сведению, писатель. Кучу книг написал. Все о животных. Они наверняка есть и в нашей библиотеке. Хочешь почитать?

— Не уверен. А что, хорошие книжки?

— Обрыдаешься. Но в конце все будет хорошо. А если по книге снимут фильм, при съемках не пострадает ни одно животное, он специально оговаривает это в контрактах.

— Слушай, не надо, а? — просит Рыжий. — У всех свои скелеты в шкафах. Зачем же так раздражаться?

Крыса скребет переносицу ногтем.

— Не знаю, — говорит она мрачно. — Это его визиты на меня так действуют. Я от них больная делаюсь. И ты еще с вопросами лезешь.

— Извини. Я же не знал.

— Что ты вообще знаешь?

Рыжий молчит. Он тоже прилип к столу и старается незаметно отодрать локти. Стол отпускает его нехотя, с треском. Крысе было легче. У нее локти голые.

— Хочешь верь, хочешь нет, но летом на него здорово ловятся мухи, — оправдывается Рыжий.

Крыса с содроганием заглядывает в бирки. Похоже, Рыжий не шутит.

— Гадость какая, — морщится она. — Лучше бы ты об этом помалкивал.

— Ужасная гадость, — тут же соглашается Рыжий. — Но и польза все-таки. Какая-никакая.

Поерзав и поулыбавшись непонятно чему, он сдвигает зеленые очки на лоб и превращается в сказочное существо из другого мира. Очень печальное. В его глаза можно смотреться, как в зеркало, в них можно

утонуть, к ним можно приклеиться навечно, крепче, чем к любой мухоловке, прикидывающейся столом. Собственное отражение в них всегда красивее, чем в настоящем зеркале, от него тоже трудно оторваться.

Крыса смотрит на себя, смотрит долго — и встряхивает головой, отгоняя наваждение.

— Ты бы еще разделся.

Пожав плечами, Рыжий опускает очки на переносицу. Тянется к ней и медленно, одну за другой, переворачивает ее бирки изнанкой наружу. С обратной стороны они закрашены.

— Не смей, — предупреждает Крыса. — Такого я никому не позволяю. Это мои глаза.

Рыжий так поспешно отдергивает руку, что становится смешно.

— А твои врут, — добавляет она мстительно. — Показывают улучшенную версию.

Рыжий качает головой:

— Они показывают то, что есть. Это у тебя после встреч с родителем заниженная самооценка.

Ей хочется сказать ему что-нибудь резкое, что-то такое, что бы навеки его от нее отвадило. Отбило охоту лезть к ней в душу и приставать с дурацкими утешениями. Показывать ей собственные неправильные отражения. Но она не в силах от них отказаться. Они ей необходимы хотя бы изредка. Хотя бы в такие дни, как этот. Особенно в такие дни. И Рыжий прекрасно это знает. Она думает о себе в шоколадных лужицах его глаз. Такой красивой.

— Ну как? — спрашивает он, когда она отпивает из колпачка.

— Неплохо. Для Фазанов — так вообще гениально. Не знала, что они таким увлекаются.

Рыжий, довольный, что удалось избежать ссоры, улыбается:

— А о них вообще мало что известно. Вроде и в Доме живут, но как будто не совсем.

— Точно, — задумчиво соглашается Крыса. — Они нездешние. Но и не наружные.

Некоторое время они молчат. Рыжий наполняет для Крысы еще один колпачок.

— Слушай, — говорит он с напускным оживлением, — говорят, Лорд запал на Рыжую? Просто смертельно запал. Это правда?

Рука Крысы привычно тянется к биркам. Она смотрит на них, но не переворачивает. И так понятно, что Рыжий наконец заговорил о том, что его по-настоящему волнует.

— Откуда мне знать? — огрызается Крыса. — Я только что вернулась. Сам у нее спроси.

— Ее бесят такие вопросы, — уныло признается Рыжий.

— Значит и со мной нечего это обсуждать.

Глаза Крысы делаются злыми, но Рыжий ничего не замечает. Он возится с фляжкой. Завинтив, поднимает голову, и даже в пучеглазых стеклах его очков читается тревога.

— Понимаешь, — говорит он. — Я за нее беспокоюсь. Она мне как сестра. Я за нее, как бы, отвечаю. Сам перед собой. Она давно влюблена в Слепого, чуть не с десяти лет. А Слепой... я-то знаю... ему на все плевать. Он ни за одной девчонкой ухаживать не станет. Полезет к нему сама — и славно. Он такой. Ему все равно с кем. И если Лорд заманит ее в четвертую, они же все время будут рядом. Она и Слепой. Вот что меня беспокоит. Для Слепого это игрушки, а для нее — нет.

— Ясно, — вздыхает Крыса. — А я-то здесь при чем? От меня ты чего хочешь?

Рыжий угодливо улыбается.

— Ну... ты не могла бы... понимаешь... тоже туда проникнуть. В четвертую. Ты же девчонка, к тому же симпатичная.

Крыса прищуривается:

— И что? Надзирать там за Рыжей, чтоб она не лезла к Слепому, так что ли?

— Нет. Я не это имел в виду. Просто... если бы ты изобразила, что влюбилась в него... всерьез, по-настоящему, она бы тогда сразу выкинула его из головы, понимаешь? Даже близко бы не подошла.

Крыса мельком глядит на распластавшуюся по ее предплечью Вшивую и встает. Рыжий тоже вскакивает. На нем нелепые фиолетовые брюки с кожаными сердечками на коленях, белая, расстегнутая до пупа, рубашка и галстук-бабочка. Выглядит он, как клоун, хотя лицо у него серьезное и даже испуганное.

— Не уходи, пожалуйста! Я не хотел тебя обидеть, честно! Если хочешь, считай, что я пошутил.

— А ты пошутил?

Рыжий молчит.

Крыса смотрит на него, задумчиво покусывая губу.

— Знаешь, — говорит она наконец. — Мало я встречала в жизни таких сволочей, как ты. Таких откровенных. Я, значит, буду там изображать подстилку для Слепого, чтобы Рыжая на него не позарилась и чтобы ты тут спал спокойно, ведь с твоей любимой сестренкой ничего не случится, так?

Слепому будет по барабану, я это или Длинная Габи, лишь бы было в кого пихать свой конец, а я должна буду радоваться, что участвую в таком важном деле. Спасая от него Рыжую. Мы все это представили, а теперь давай считать, что ты пошутил.

Рыжий стоит понуро, ковыряя носком кеды грязный паркет.

Крыса усмехается.

— Ты все делаешь неправильно. Тоже мне, сводник. Надо было рассказать, какой Слепой классный парень и как он по мне сохнет. Как он тебе плакался в жилетку, что без меня ему жизни нет. Может, тогда и сработало бы.

— Да? — удивляется Рыжий.

— Нет! — фыркает Крыса. — Но хотя бы выглядело поприличнее.

Рыжий опять съеживается.

— Я одного не пойму, — задумчиво говорит Крыса. — Это ведь ты затеял этот новый Закон. Ты ведь сам заварил всю эту кашу, так?

Рыжий кивает:

— Ну я. Тогда мне казалось, что я все хорошо обдумал. А вышла ерунда. Сфинкс пригрозил, что если Габи у них еще раз появиться, он мне голову свинтит. А так было бы хорошо...

Его прерывает громкий обеденный звонок. Лежащий в спальном мешке начинает копошиться.

— Теперь надо ее срочно кем-то заменить. Второй Габи у нас нет, сойдет и Крыса.

Рыжий поднимает голову.

Блестящая черная челка косо перечеркивает лицо Крысы, полностью закрывая левый глаз. Если бы не эта челка, было бы видно, что брови смыкаются над переносицей, образуя сплошную линию. Они кажутся гуще от того, что кожа у нее нежная, как у маленького ребенка — почти прозрачная. Рыжий сглатывает слюну.

— Прости, — говорит он. — Я не думал, что это так прозвучит. Хочешь, врежь мне как следует, я заслужил.

— Обед, да? Обед? — Из спального мешка высовывается голова, потом ее хозяин появляется целиком. Москит. Костлявый, в полосатых трусах, он рассеянно чешет живот и таращится на Крысу заплывшими глазками.

— Все получилось так мерзко просто потому, что я говорил честно, — Рыжий оглядывается на Москита. — Потому что говорил, что думал, понимаешь? Но я это вовсе не так представлял, как ты описываешь! Я думал, что тебе было бы нетрудно... но если ты так это воспринимаешь...

тогда конечно... о чем разговор... Я, собственно, и не надеялся, что такая девчонка, как ты...

— Заткнись, а? — перебивает Крыса.

— Сегодня будут сосиски, — пытается завязать светскую беседу Москит. — И малиновое желе.

— А Слепому ты и правда нравишься. Хотя, конечно, ты мне уже не веришь.

— А может, малинового желе и не будет. Может, это я и приврал.

— Какой псих тебе поверит? Размечтался.

В спальню с топотом заскакивают два Крысолога:

— Обед! Вы что, заснули тут? — обрывают с вешалки рюкзаки и вываливаются обратно в коридор.

Москит прыгает по комнате, пытаясь попасть ногой в штанину. Крыса переворачивает бирки зеркальной стороной наружу. Одну, вторую, третью, четвертую... цепочки у них разной длины и часто перекручиваются.

Рыжий прячет фляжку в рюкзак. В одной из бирок — его галстук-бабочка в красно-белый горошек. Надетый прямо на голую шею.

Крыса осматривается и впервые замечает, что, несмотря на грязь, во второй красиво. По стенам бегут антилопы Леопарда, на бегу превращаясь в струящиеся полосы узоров. Местами они полустерты, но от этого кажутся только лучше. Рыжий надевает котелок и протягивает Крысе руку.

— Мир?

— Смотри, как бы Вшивая не закусала тебя до смерти, — предупреждает его она. — Терпеть не может, когда до меня дотрагиваются.

В бирках три маленькие двери. Во всех трех одновременно исчезают Москиты. Рыжий с Крысой тоже выходят в коридор — и в бирках сразу темнеет. При каждом шаге подошвы ботинок липнут к паркету.

— По-моему, вам уже поздно делать уборку, — говорит Крыса. — Вы веники не оторвете от пола.

— Не оторвем — так не оторвем, — вздыхает Рыжий. — Ну и что? Будут Крысятнике икебаны из веников. А потом из Крыс. Живой музей.

Крыса, пожав плечами, уходит в сторону девчачьей лестницы. Стройная, в слишком крупных для нее ботинках. Рыжий кричит: «До свиданья!», но она не оглядывается. Он поджимает губы и направляется к столовой. Его обгоняют хихикающие Птицы.

ПРИЗРАК

*Душа странствует по ночам. И если ты спишь,
Никогда ты не встретишься со своей душой.*

Ф. Нурисье

«Хозяин дома» пер. Норы Галь

Лорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой и задыхается от жара, а вокруг плавают видения. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение, но оно все тревожнее, все беспокойнее, тает как воск и исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрый, как мышь, побывавшая в луже.

С воздухом возвращаются звуки. Свист и дыхание спящих. Храп Черного, волнами угрозы вздымающийся к потолку. Ближе — птичий свист спящего Шакала и шорохи ворочающихся тел. Курильщик, не просыпаясь, тянет подушку из-под Табаки и перекладывает ее на Лорда. Лорд уворачивается, передвигаясь к краю кровати. У Лэри свет ночника. У Македонского тоже свет, заслоненный газетой. Лорд смотрит в потолок, который, как будто, притягивает его. Потолок тянет и приближается, и вот они уже совсем рядом: колесо, птичья клетка и раскосые глаза воздушного змея. Странное творится с Лордом. Он лежит и одновременно стоит. Стоящий Лорд легок, как пушинка. Он видит потолок и ночник Лэри в форме гриба, и самого спящего Лога с розовым отсветом на волосах, и себя внизу, лежащего под скомканным одеялом — он видит все это с высоты, на которой никогда не бывал, — высоты своего роста. Не успевает подумать об окне и о свежем ветре, врывающемся в форточку, как переносится на подоконник. Лицо овеивает ночной прохладой. Ветер приносит с собой отдаленный шум — хохот и визг беспутно веселящихся Крыс. Могу ли я пойти, куда захочу? Тень его скользит над полом — слишком легкая — проходит сквозь дверь в темноту, и Лорд закрывает глаза, чтобы лучше видеть свой путь там, где он есть, и где его нет. Мимо пролетают темные стены, разверстой пастью наезжает раскрытая дверь. В Могильных окнах зимняя луна, он прозрачен в ее свете. Ступеньки, чужой коридор...

Лорд протягивает руку, она уплывает в пустоту, ощупывая ее, пропуская сквозь пальцы, пролетая сквозь встречные двери. Он отстаёт, и когда она нащупывает ту единственную дверь, что ему нужна, он еще

далеко, а рука уже скользит по лицу спящей на полу. Наконец Лорд нагоняет ее (всего лишь руку!) и ее прикосновение становится его прикосновением.

Рыжая девушка в съехавшей с плеча майке садится на матрасе, вглядываясь в темноту.

— Что это? Эй! Уходи! Уходи отсюда!

Лорд вздрагивает на кровати и ловит воздух ртом.

Вокруг ворочаются, ворчат и вздыхают. Он замирает. Я был там. Я действительно там был! Ладонь еще ощущает жесткость огненных волос. Выше пояса он плавится от жара, ниже — ему холодно. Может, в странствиях по ночному Дому, мой призрак застудил себе ноги? Это больно. Лицо Лорда кривится, он рад темноте скрывающей его гримасы.

Храп Черного. У Лэри свет. У Македонского свет. На полу на плитке закипает чайник. Кому-то приспичило пить чай.

— Ну нет! Подавишься! — громко произносит Черный между двумя всхрапами. Это смешно, но никто не слышит и не смеется. Мокрой спиной Лорд липнет к матрасу. Лицо горит, ноги леденеют. Так бывало и раньше, но сегодня это расплата за странное «нечто», которое он позволил себе совершить. Кто-то напоминает ему, что он такое. Полчеловека. С ногами мертвеца.

— Нет, — шепчет Лорд. — Я не буду об этом думать!

И тут же представляет свои ноги мертвыми, сине-белесого цвета. В пятнах. И начинает задыхаться.

Крадущиеся шаги.

Рядом садится Македонский и просовывает грелку под одеяло.

— Я ждал, пока вода закипит.

Лорд молчит, пока горячая грелка не растапливает лед, и до ступней не доходит тепло, которое обожгло бы руки.

— Спасибо, — говорит он тогда. — Я просто трус. Там слишком медленно течет кровь. Как в русалочьем хвосте.

— Не бойся, — говорит Македонский.

И уходит. Зеленая лампа-светлячок у его изголовья гаснет.

— Эй, — раздается сверху сонный голос Горбача. — Мне слышалась песня. Вы там поете что ли?

Черный перестает храпеть.

— Нет, — говорит Лорд. — Никто не поет.

То, что я сделал, вовсе не было песней.

Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами — тайна даже для него самого. В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы

сбежать от бессмысленного лежания в коридор — уже сам по себе, на колесах — и там, при свете свечей в скользко-кафельном туалетном царстве гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая и прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты, и ему захотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не увидели то, что видит он: огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, Лорд?» — спросят его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается. Лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу.

Мягкое нечто пружинисто вспрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы Лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у болонки.

— Ты откуда? — спрашивает он.

Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим всхлипом просыпается Шакал. Волосы торчат дикобразными иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством.

— Ага, не спишь, — говорит он. Смотрит на колени Лорда. — Что это с Моной? С чего она так припухла?

— Это не Мона, — отвечает Лорд рассеяно улыбаясь. — Это совсем не Мона.

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Тридцать восемь тюков он на пристань привез

И на каждом — свой номер и вес...

Утром нас ждет сюрприз. Возвращение из наружности Летуна с заказами. Очень редкое событие. Крыса приходит перед первым уроком с черной дорожной сумкой через плечо. Кладет ее на учительский стол. Молния взвизгивает. Вампироподобная — черная помада, белая пудра — Крыса один за другим вытаскивает из сумки свертки и раскладывает их на столе. Лэри выхватывает из общей кучи тот пакет, что явно с диском, и убегает. Я беру тяжелую коробку, перевязанную розовой лентой. Дальше ничего не вижу и не слышу, пока не расправляюсь с лентой и с оберткой и не заглядываю внутрь. Божественный запах! Шоколадные спинки блестят аккуратными рядками. Каждая лепешка в отдельном гофрированном гнездышке, на своей подстилке, сверху все прикрыто хрупкой бумагой. Приподнимаю ее, трогаю одну из спинок, облизываю палец. Потом пересчитываю сколько их всего. Два этажа, в каждом ряду по четыре лепешки, а рядов тоже четыре. Всего, значит, тридцать две. Закрываю коробку и прячу в стол. Ленту сую туда же. Теперь можно посмотреть, что у других.

Смотрю. Черный умотал на подоконник со стопкой журналов. Перед хищно перебирающими по столу щупальцами Слепого Крыса выкладывает три банки кофе, четыре блока сигарет, коробок батареек и черные очки гнусной конфигурации. У Горбача набор расчесок и трубка из пенки в замшевом футляре. На столе еще два пакета, но их мы распечатать не успеваем. Посреди класса вдруг возникает Р Первый, и спрашивает, чем мы занимаемся, когда урок уже начался и учитель на подходе. Крысу он будто бы не замечает.

Быстро убираем все с глаз долой: вещи, оберточную бумагу, ленточки и бечевки — все, что пахнет праздником и может расстроить учителей, не принимающих в этом празднике участия. Крыса застегивает сумку и

уходит.

— Как самочувствие? — спрашивает Ральф, останавливаясь возле стола Лорда.

Лорд пожимает плечами:

— Хорошее.

Ральф кивает ему, отходит, и свешивается над затылком Курильщика: «А у тебя?» В ответ Курильщик краснеет и моргает:

— Нормальное.

Ральф осматривает его с ног до головы, как будто сильно сомневаясь в его нормальном самочувствии, и наконец уматывает к своему стулу.

В обеденный перерыв я достаю Сфинкса до тех пор, пока он не сдастся и не просит Македонского снять со стены карту Новой Зеландии. Под ней к стене приклеены два рисунка. Оба большие, каждый почти в половину карты.

На одном — черной тушью — дерево, раскидистое и корявое, почти без листьев. На голой ветке сидит очень одинокий и лохматый ворон, а внизу, у корней, свалка всякого мусора. И хотя мусор самый обычный, человеческий, почему-то сразу понятно, что накидал его ворон — и бутылки, и кости, и значки рок-фестивалей, и календари — и вообще, может, именно оттого он такой грустный, что слишком много в своей жизни израсходовал. В общем, это картина про всех и про каждого — смешная на первый взгляд и печальная на все последующие, как все, что рисовал Леопард. Второй рисунок в цвете. Тощая песочного цвета кошка, посреди растрескавшейся пустыни. Глаза ярко-зеленые, а мордой немного смахивает на Сфинкса. Вокруг только трещинки и призрачные кусты, усеянные бело-желтыми улитками. На земле, у самых ее лап, осколки улиточных домиков, покрытые, как царапинами, заметками и латинскими изречениями. И чьи-то непонятные следы. То ли птичьи, то ли звериные. Тянутся мимо кошки, закручиваются петлями вокруг кустов, и исчезают где-то вдали.

Долго смотрим на рисунки. Делается немного грустно. Первый рисунок мой, второй — Сфинкса, но на самом деле они — общее достояние стаи. То самое ценное, что мы не вешаем на виду, чтобы не перестать замечать. Мы смотрим на них раз в полгода или не чаще, если решаем, что соскучились. Смотрим и вспоминаем подарившего нам их Леопарда. Смотрим, вспоминаем, грустим и переполняемся всякими важными эмоциями. Слепой тоже обычно участвует в этом. Он достигает нужного состояния своими способами, насчет которых мы можем только строить

догадки. Но бдения перед рисунками не пропускает никогда. Коридорные звери доступны его пальцам, их он знает не хуже нас. Перед тем, как закрасить, Леопард процарапывал на стенах контур рисунка. А эти он знает с наших слов. И вот мы стоим и сидим перед нашим богатством. Смотрим на него — и не смотрим. Но видим. Слушаем и размышляем. Вешаем карту на место и возвращаемся к повседневным делам. Курильщик ни о чем не спрашивает, что немного странно. Может, он тоже наконец повзрослел?

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ

Инструкция о передвижении колясника

Пункт 29: В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, находящегося на подоконнике. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендация по тех. безопасности: вес напарника должен превышать вес поднимаемого.

«Блюм». № 18. «РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА»

Курильщик лежа на полу, перелистывает старые номера «Блюма», постепенно склоняясь к мысли, что львиную часть статей в него поставлял Шакал. Лорд считает часы до встречи картежников в условленном месте. Слепой тоже ждет. Затишья в Доме. Перехода в ночь. Когда можно будет отправится на поиски Леса. Горбач приманивает сон игрой на флейте. Сфинкс слушает. Искрящего раздражением Курильщика.

В комнате две ядовитые зоны. Вокруг Курильщика и вокруг Черного.

— Я подозреваю, — говорит Табаки, дожевывая предсонный запас бутербродов, — что у нас сегодня Самая Длинная.

— Очень может быть, — отзывается Сфинкс. — Даже весьма похоже на то, — он толкает коленом Слепого, — Эй! А ты как считаешь?

— Да, — соглашается Слепой, — вполне возможно. В этом году почему-то раньше. Может даже, их будет несколько.

— Это что-то новое, — говорит Табаки. — Это я слышу в первый раз! А отчего и почему ты считаешь, что такое может случиться?

Курильщик устало смотрит на них, подозревая, что они порют чушь, только чтобы он почувствовал себя дураком. И начал расспрашивать. Поэтому он молчит.

Ночь. Горят две настенные лампы из двенадцати. Все, кто остался в спальне, спят. Кроме Курильщика. Курильщик сидит на полу перед грудой журналов и размышляет. Ему хочется сделать что-нибудь такое, чего он никогда не делал раньше. Например, поехать по Дому после выключения коридорного освещения. Может, на него так подействовали старые журналы. Он и сам не знает. Затаив дыхание, Курильщик начинает продвигаться к двери. Он уже почти у цели, когда на кровати поднимается возня, и с нее свешивается лохматая голова.

— Куда?

— Гулять, — шепотом отвечает Курильщик.

Табаки кубарем скатывается на пол. — Ужас, — бормочет он. — Вместо того, чтобы спать, я теперь должен ехать с этим дурнем и глядеть, как бы чего не приключилось. Ему, видите ли, вздумалось прогуляться. В темноте. Причем, возможно, в Самую Длинную ночь. С ума можно сойти!

— Я вовсе не прошу тебя со мной ехать. Я хочу погулять один.

— Я тоже много чего хочу. Один ты не поедешь. Выбирай или вместе, или я бужу Сфинкса, и он тебе вправляет мозги.

Пока Курильщик доползает до порога, Табаки уже за дверью и сидит в Мустанге. В пижаме. Сжимая в руке носки и горсть амулетов. Несмотря на его грозный тон, Курильщику кажется, что на самом деле Шакал вовсе не прочь отправиться с ним на прогулку.

— Ладно, — соглашается Курильщик. — Едем вместе.

Пока он карабкается в коляску ему не до Табаки, а усевшись в нее, он видит, что тот, пыхтя, набивает рюкзак. Рюкзак так раздут, что его не застегнуть, но Шакал тем не менее запихивает в него что-то еще.

— Зачем все это?

— Свитера на случай холода. Еда на случай голода. Оружие на случай внезапностей, — объясняет Табаки. — В ночную жизнь налегке не уходят, дурачок!

Курильщик не спорит. Они по очереди выбирают в тамбур, а оттуда — в крошечную тьму коридора, где Табаки заставляет Курильщика погасить фонарик. «А то нас увидят все, у кого глаза уже привыкли, а мы не увидим никого».

Курильщик послушно выключает фонарик и тьма обступает их.

— Вот теперь поехали, — шепчет Табаки.

Дом пугающе темен и кажется спящим. Глаза не привыкают к этой темноте. Стены вырастают там, где их вроде бы быть не должно. Табаки и Курильщик едут медленно. Иногда им мерещатся чьи-то шаги спереди или сзади, они останавливаются и слушают. И сразу тот, кто шел, тоже останавливается. А может, им это только кажется. Потом они натываются на нечто и включают фонарики. Это пустая коляска. Владельца нет, как будто его слизнули ночные духи. Табаки хватается за амулет.

— Можно подумать, кто-то специально пугает, да? — спрашивает он. В голосе страх — и детское наслаждение страхом.

Курильщик не разделяет его восторгов. Пустая коляска ему не нравится. Табаки долго изучает ее, но не может установить владельца. — Какая-то безликая, — жалуется он. — Совсем заброшенная...

Они надевают свитера, оставляют коляску и едут дальше.

По Перекрестку бродит босоногий Слон в полосатой пижаме. Глаза его закрыты, лицо запрокинуто. Длинные пижамные штаны подметают пыль Перекрестка. Слон спит, а тело его медленно ковыляет от окна к окну, останавливаясь у подоконников, слепо ощупывает их пухлыми ладонями и идет дальше. Паркет поскрипывает под его тяжестью.

Слепой проносится по коридорам холодным ветром, не задевая стен, и даже чуткие крысы не замечают его, пока он не оказывается совсем близко. Он вдыхает запах сырости, разъедающей штукатурку, и запах обитателей Дома, въевшийся в ветхий паркет. Заслышав шаги, замирает и ждет, пока ночной путник пройдет мимо — как крупное животное в зарослях, треща половицами и натываясь на урны. Потом продолжает свой путь — еще более осторожный и внимательный, чем прежде, потому что разгуливающие по ночам опасны своими страхами и секретами. Он подходит к одной из спален. Под надписью, нацарапанной ножом, зрячие пальцы нащупывают трещину. Он прижимается к ней щекой. Так слышно даже дыхание и скрип пружин, когда спящие ворочаются во сне. Тут все спят. Миновав пустые комнаты, Слепой подходит к следующей стене. Здесь есть место, где обрушился пласт штукатурки. И здесь не спят. Слепой слушает долго, больше следя за интонациями, чем за словами. Через равные промежутки времени отворачивается, ловит внешние звуки и, успокоенный, опять прикидывается к стене.

По доперекресточному отрезку коридора, крадется ищущий место для сна. Бледный и большеглазый, с неровно выстриженными волосами цвета ржавчины.

Рыжий боится. Во сне и наяву, днем и ночью, он боится и ждет. Он изгрызает колпачки ручек и изжевывает сигаретные фильтры. И думает. Когда-нибудь это должно закончиться. Пухлый Соломон и Фитиль с красным от ожога лицом пугают его своим многозначительным смехом. Своими улыбками, переглядываниями и перемигиваниями. Фитиль, Соломон и Дон. Остальные — в музыке. Они плавают в ней слишком подолгу, раскачиваясь стоя и подергиваясь лежа, и им нет дела ни до чего, кроме наушников, уходящих шнурами в гремющую пустоту.

Они агрессивные, вечно голодные, и вечно прыщавые от сладостей, которыми заглушают голод. Они красят челки и перешивают брюки, украшая их разноцветными заплатами. Рыжий безнадежно старше их. Не

годами, а количеством вопросов, которые задает сам себе. Юных Крыс не интересует завтра. Они живут сегодняшним днем. И именно сегодня им нужна лишняя крошка печенья, именно сегодня им нужна новая песня, именно сегодня им нужно написать на стене туалета то единственное, что их волнует, огромными буквами. Крысы страдают запорами, но едят все и всегда. И дерутся из-за еды. И из-за того, кому где лежать. А после драк слушают музыку и едят с особым удовольствием.

Жаловаться они идут к Рыжему. С самыми болезненными прыщами и чирьями они идут к Рыжему. Со сломанными плеерами, с выдохшимися батарейками, с потерянными вещами — со всем они идут к нему. Все, кроме Фитиля, Соломона, и Дона. Эти трое его презирают. И с каждым днем смеются наглее, перешептываются громче, уединяются чаще. Держат его в вечном страхе, получая от этого бездну удовольствия. А Рыжий шатается ночами по коридорам, засыпает в неудобных местах, и в мечтах перерезает глотки всем троим по очереди. Иногда он отвинчивает в умывальных все краны и затыкает все раковины. Не раздеваясь, становится под душ. И уходит, чапая кедами по водным потокам. Идет к картежникам. Играет с ними, капая на карты. Картежники терпят, потому что он вожак...

Для ночной прогулки Рыжий одет во все черное. Лишь белые кеды мелькают в темноте, двумя пятнами выдавая его присутствие. С плеча свисает спальный мешок. Синий в желтую крапинку. Рыжий ищет укромный угол, где можно поспать, спрятавшись в теплый кокон. Дойдя до Перекрестка, он останавливается. По слабо освещенному луной пространству, бродит Слон, осматривая подоконники. Рыжий следит за ним. Кладет спальный мешок на пол, садится на него, закуривает. И терпеливо ждет.

В палатке Стервятника четверо играют в карты. Им тесно. При каждом неловком движении полотнище стен вздрагивает, и качаются гирлянды разноцветных фонариков под треугольной крышей. Ошейник Валета покрыт тупыми шипами. По щеке тянется кровавый след расковыренного прыща. Валет трогает ранку и смотрит на пальцы:

— Опять? Чертова гадость!

— Есть чего выпить? — спрашивает Лорд, потирая глаза, уставшие от лампочного разноцветья.

Дорогуша торопливо размешивает что-то в жестяной кружке:

— Скоро будет, дорогуша, уже совсем скоро. А пока, если хочешь, есть простая вода, — он протягивает Лорду фляжку.

Лорд пьет и возвращает фляжку. Дорогуша грустно вздыхает. С

сигареты, зажатой в зубах Стервятника, отваливается пепел, и по одеялу рассыпаются искры. Из динамиков магнитофона поют сверчки.

Курильщик и Табаки едут по темному коридору. Внезапно перед ними загорается красный остроконечный конус. В следующую секунду он уже синий. Потом желтый. Перебрав шесть цветов, конус гаснет, и на несколько секунд воцаряется тьма.

— Что это? — шепотом спрашивает Курильщик.

— Палатка Стервятника, — отвечает Табаки.

Они подъезжают поближе. Теперь палатка горит и переливается всеми цветами одновременно и можно различить голоса сидящих в ней. Входной полог откидывается, из палатки вылезает кто-то на четвереньках.

— Привет, — говорит этот кто-то, наткнувшись на них. — Я сваливаю. Хотите поиграть?

— Привет, Валет, — отвечает Табаки и передает свой рюкзак Курильщику. — Слушай, дружище, ты тут побудь немножко сам по себе, пока я с людьми пообщаюсь, ладно?

Он сваливается с Мустанга и резво заползает в палатку.

Прыгая от стены к стене, убегает прочь фонарик Валета. Курильщик остается один. Он слушает голоса из палатки и ждет Табаки, пока хватает терпения. Потом подкатывает ко входу, ставит коляску на тормоз и сползает на пол. Откидывает полог.

— Эй, а можно мне тоже к вам?

Красавица и Кукла целуются на лестнице. Близость урны и раскрошенные вокруг окурки им безразличны. Под свитером у Куклы тихо гудит транзистор. Они впиваются друг в друга горячими ртами, широко разевая их, как пара изголодавшихся птенцов. Их поцелуи нескончаемы, страстны и болезненны. Время от времени они отрываются друг от друга и отдыхают, уткнувшись друг в друга лбами, незаметно вытирая рукавами мокрые рты. Их распухшие губы болят. Они умеют только целоваться. А может, не умеют и этого.

Маленький цилиндрик в укороченной пижаме, штурмует лестницу на третий этаж. Он ищет. Ищет то удивительное, прекрасное существо — гибкое и желтоволосое — находится рядом с которым было так приятно. Толстый знает, что оно все еще здесь, в Доме. И искать его надо там, куда уходит лестница. Он никогда там не был, значит, именно там оно могло и должно было поселиться. Об этом Толстому твердит внутренний голос,

которому он доверяет безраздельно. Тихо сопя, он преодолевает ступеньки...

В учительском туалете горит огонек спиртовки. Трясаясь от страха и боли в желудке, Бабочка греет над ним ложку. Бабочка костляв, бледен и покрыт бородавками. Резиновый коврик защищает его тощие ягодички от соприкосновения с холодным кафелем. Из-под свитера выглядывает грудь, увешанная амулетами и связками чеснока. Бабочку нервирует капель подтекающих кранов, пугают шаги и шорохи. Он ежится от сырости и прячет от сквозняков спиртовку, заслоняя ее своим телом. Он простужен. У него понос. Перемещения в одну из кабинок, поближе к унитазу, отнимают много времени, поэтому он решает переселиться в кабинку совсем, вместе с резиновым ковриком, спиртовкой и рулоном туалетной бумаги. Закрыв дверь на задвижку и отгородившись от ужасов ночи, Бабочка чувствует себя в безопасности.

Слон доходит до последнего окна и поворачивает обратно. Рыжий нетерпеливо привстает, не сводя с него глаз. Слон проверяет подоконники в обратном порядке. Медленно и методично. Рыжий шепотом чертыхается, настраивая себя на переход Перекрестка. Быстро пройти, не глядя на Слона. Слон безобиден. Он спит. Но именно спящий Слон пугает его. Рыжий закуривает вторую сигарету. Ему мерещатся шаги. Он быстро гасит ее и замирает, скорчившись на спальном мешке.

В палатке Стервятника душно и жарко. И, как будто духоты и тесноты мало, в двух плошках тлеют какие-то благовония. От их запаха у взмокшего Курильщика кружится голова. Гирлянды фонариков ритмично вспыхивают и гаснут. Курильщик уже жалеет, что присоединился к обществу в палатке. Она слишком мала для пяти человек. Табаки счастлив и всем доволен. Он пьет из кофейной чашки какую-то бурду и рассказывает Стервятнику, кого они с Курильщиком повстречали по пути сюда, хотя на самом деле они никого не видели. Курильщика клонит в сон.

— Эй, встряхнись, — шепчет Дорогуша. — Что будешь пить? «Цветочек»? «Ступеньку»? «Полуночный Кошмар»?

— Только не «Кошмар», — просит Курильщик. От близости Стервятника ему не по себе. Их разделяет Шакал, но при желании до Большой Птицы можно дотронуться рукой. — А кофе у вас тут нет?

— Кофе, увы, нет.

Курильщик берет протянутую ему чашку и делает глоток чего-то до

того горького и вяжущего, что у него сводит скулы и намертво сцепляет зубы. Он давится слюной, не в силах ни выплюнуть ее, ни проглотить. Табаки бьет его по спине, остальные с интересом наблюдают. Лампочки подмигивают.

— Ну-ну, — говорит Стервятник сочувственно. — Нельзя так бросаться на все, что дадут, малыш. Надо сначала распробовать.

Курильщик достает из кармана платок и вытирает слезы.

— Какая гадость, — говорит он, с трудом расцепив спаянные зубы.

Табаки зачем-то надевает солнечные очки.

Кривоног выползает на берег и садится под шестом, которым отмечено самое большое скопление подводных камней. В предыдущие дни река была к нему благосклонна, и он ждет продолжения. Вчера она принесла крышку, три бутылки с записками и пустую тыкву, расписанную треугольными узорами. Что будет сегодня? Кривоног забрасывает удочку и ждет.

В лунной траве на противоположном берегу пасется огромный белый слон в полосатой попоне. Должно быть, сбежал от хозяев. Слон беспокоит Кривонога, потому что может хоботом выловить проплывающие мимо ценности, тогда придется перебираться на ту сторону реки и доказывать, что они принадлежат ему. А Слон очень крупный. Не приручить ли его? С помощью хобота можно многое достать. Очень полезно иметь своего собственного Слона. Это даже лучше живой собаки. Взволнованный такими мыслями, Кривоног откладывает удочку. Но Слон уже уходит, белея широкой спиной. А река несет что-то темное. Напоровшись на самый крупный камень, предмет застревает и покачивается на месте. Кривоног нащупывает сеть. Он очень надеется, что это недохлая собака. Стрекозы летают слишком низко, мешая ему. Сбив полотенцем несколько штук, Кривоног рассеяно их поедает.

Саара живет на болоте. Он — и лягушки, поющие звонкие песни. Он тоже поет (в лунные ночи), и песни его прекрасны — вот и все, что он знает о себе самом. Кости Саары просвечивают сквозь бледную плоть, комары не садятся на него, зная, что он ядовит, губы его белы, в песне растягиваются во все лицо, глаза почти не видят. Пальцы терзают траву, он дрожит, сотрясаемый песнью — и ждет. Песня всегда приводит к нему разных. Самых мелких грязь засасывает прежде, чем они успевают дойти.

В гроте, освещенном светом трех факелов и трех китайских

фонариков, вокруг ящика сидят шестнадцать Песьеголовых. Семнадцатый на ящике. Он держит речь, медленно вращая над головой белоснежную кость. Речь струится мимо острых ушей и утекает в дыру в потолке к мерцающим звездам. Песьеголовые слушают и зевают, с лязгом выкусывая блох.

— Мы путаем метры с километрами, — шепчет один другому. — Это может иметь глобальное значение? Как ты думаешь?

— Я вижу только луну, — невпопад отвечает сосед. — Говорят, на жезле оставалась еще куча мяса, до того как он его заграбастал.

Самый младший в медном ошейнике вдруг начинает выть, запрокинув морду: «Смерть предателям! Смерть!» Его успокаивают, кусая за бока.

Сверкает белая кость, приковывая взгляды.

Оборотень исполняет веселую пляску на груди опавших листьев, которую сгребли для своих смотрин птицы-топтуны. Груда расплзается. Оборотень смеется. Не вынеся напряжения, из-под горы листьев выскакивает мышь и устремляется прочь, но оборотень настигает ее в два прыжка.

«Ура, ура, куснем муравья!» — напевает он, небрежно закапывая остатки своей трапезы. До него доносится чье-то сладкое пение. Оборотень настораживается — и не раздумывая устремляется на голос. Стрелой несется сквозь лес, но останавливается, замочив лапы в болотной жиже. Брезгливо их отряхивает. Пение становится отчетливее. Оно манит в болото. Идти, или не идти? Приняв решение, оборотень начинает с тихим рычанием кататься по земле. Один кувырок, второй — и он встает в человеческий рост. Зеваает, и перешагивая с кочки на кочку, углубляется в болото. Ночные стрекозы бьются на лету о его щеки. Пение делается слаще, громче и настойчивее.

Охотники побряхтывают на бегу. Хвосты головных повязок бьют их по спинам. Они бегут гуськом: один, второй, третий — бегут шумно, распугивая дичь. Они нарочно шумят. Тот, на кого идет охота, испугается и выдаст себя бегством. Тогда начнется погоня. Настоящая, о которой они мечтали так давно. И они бегут, тяжело дыша, забрызгивая грязью сапоги. Вообще-то, им тоже немножко страшно. Но дичь не должна об этом знать.

В палатке Стервятника Курильщик наконец перестает кашлять и давиться слюной, но не успевает порадоваться этому, потому что почти одновременно что-то приключается с его зрением. Окружающие предметы

расплываются и выходят из фокуса, а когда возвращают себе форму, оказывается, что они состоят из множества разноцветных кусочков, как мельчайшая, яркая мозаика. То же происходит с лицами сидящих рядом. Все дробится на миллиард светящихся частичек. Они мигают, перетекают друг в друга и гаснут, а кое-где даже осыпаются, обнажая полную пустоту. Курильщик понимает, что сейчас увидит как они осыпятся все и что он постиг истинную сущность бытия, так что, наверное, жить ему осталось недолго.

— Мир осыпается, — с трудом произносит он.

У сидящих рядом это замечание вызывает странную реакцию. Светлячки, из которых состоят их лица, начинают бешено роиться, передавая какие-то сложные гримасы. А потом происходит то самое, чего опасался Курильщик. Все осыпается. Последним — лицо Табаки, оставив два чернильных пятна солнечных очков. Пятна на мгновение повисают в абсолютной пустоте — и почти сразу, не дав ему времени сойти с ума, стремительно собирают вокруг себя новый мир.

Очень яркий... Очень солнечный... Очень пахучий...

Солнце оглаживает Курильщика по спине, вдавливая его в землю. Это приятно. Хотя земли тут нет. Вместо земли мусор. Жирный и расползающийся под ногами. Почему-то ужасно притягательный. Курильщику хочется в нем рыться, ныряя во все новые и новые запахи, отслаивая их друг от друга, пока из-под их толщи не всплывет нечто совершенно необыкновенное. Но что-то мешает ему отдаться этому занятию целиком. Наверное парящие в воздухе черные стекла. Солнце превратило их в два сплошных блика, но придвинувшись вплотную, Курильщик видит в них себя: пару черных котов с белыми грудками — по одному на стекло. От удивления он открывает пасть и громко кричит. Его отражения тоже беззвучно кричат.

— Вот он!

Один из охотников спотыкается. С высокого дерева, из переплетения ветвей, на них смотрит некто с горящими глазами.

— Вот он, вот! — толкаясь, охотники окружают дерево. — Подпалить? А может, спилить? А может...

Некто шипит на них, перебирая по коре когтистыми пальцами. Охотники колотят прикладами о ствол. Дерево скрипит. Один передает свое ружье другому и лезет вверх по стволу. Сидящий среди ветвей шипит громче и плюет в него. Охотник с проклятием падает. Сидящий на дереве смеется и покашливает. Внезапно, перестав смеяться, он соскальзывает с

ветки в высокую траву.

Охотники с воплями бросаются следом. Мелькает бронированный панцирь и огненные волосы бегущего.

— Лови! — кричат охотники, грохоча сапогами, разбрызгивая грязь и сбивая улиток с травы. — Ату его! Хватай! — Громче всех кричит тот, которому жгучий плевок попал прямо в глаз. Лес содрогается от их воплей.

Кое-кого, всю жизнь прятавшегося в дупле и никогда не выглядывавшего наружу, встревожили шум и тряска. Он забивается глубже в труху, выстилающую его убежище, и оттуда палочкой с крючком на конце притягивает к себе кульки с едой — один за другим. Каждый кулек — три слоя шелковистых листьев, скрепляющая их слюна и еда внутри — бесценен. Нельзя бросать их на произвол судьбы. Только один, последний, он оставляет на виду и даже придвигает его к отверстию дупла, так, чтобы непрощенный гость проникший сюда нашел его и, удовольствовавшись малым, унес, не вынюхивая ничего другого.

Кривоног встает и взволнованно подпрыгивает, всматриваясь в реку. «Пусть это будет не дохлая собака, пожалуйста, пожалуйста», — просит он, забрасывая сеть. Предмет тяжелый и длинный. Сопя и всхлипывая от напряжения, Кривоног тянет, пока не вытаскивает его на берег целиком. Долго рассматривает подарок реки, потом подсакивает с радостным воплем. Спальный мешок! Отличный спальный мешок. Совсем целый. Синий в желтую крапинку. Кривоног выжимает из него воду и утаскивает сушить в надежное место.

Белогубый Саара допевает песню и замирает в засаде. Босые ноги шлепают по грязи. Все ближе и ближе... Он вытягивает шею.

Человек. Грязно-белые брюки, грязно-белый свитер. Длинные волосы цвета сажи. Совсем молод. Не детеныш, но и не взрослый. Подобравшись, Саара прыгает. Собственный вопль настигает его в воздухе, и перекрутившись, он безвольно падает перед добычей. Добычей? Ха!

Как это печально самому попадать в ловушки. Саара сокрушается, пока оборотень не говорит:

— Хватит, не переживай так.

Тогда он перестает скрести землю и садится в центре мандалы, которую процарапал когтями в податливой глине.

— Зачем — спрашивает он, — ты идешь на заманку, как простая добыча?

— Интересно, — объясняет оборотень. — И красиво. Споешь еще?

Саара молча злится. Петь просто так? Не заманивать, не тосковать? Позор на вечные времена!

— Ладно, — говорит он. — Если спустишься ко мне. И в обмен на что-нибудь ценное.

— Заметано, — оборотень встает. С его волос капает коричневая грязь и стекает по плечам на светлые брюки. Спина оборотня будто покрашена. И от него уже пахнет болотом.

— Пошли, — Саара пятится, протискиваясь задом в узкое отверстие норы. — Это здесь.

В мокрой от дыхания Песьеголовых пещере с расползающимися от жара китайскими фонариками и догорающими факелами, пятномордый предлагает собранию:

— Затянуть на нем ошейник еще на четыре дырки! Кто согласен?

Остальные скулят, перебирая лапами. — На две! На четыре! На одну! На все, сколько есть!

— Жребий! — кричит кто-то, подскочив и сбив макушкой факел. — Пусть жребий решит!

Факел тушат, разбрасывая горящие крошки.

На пол падает консервная банка и, в стремлении разглядеть выпавшее на крышке число, головы жадно стучаются лбами.

— Четыре, — хихикает младший, совсем щенок.

Песьеголовые смущенно переглядываются. Толстый в подпалинах громко дышит, вывалив язык. Его ошейник затянут настолько, что пространства для жизни остается маловато. Еще четыре дырки лишат его этого пространства окончательно. На него смотрят плотоядно и начинают подкрадываться. Он, почти не прикидываясь, падает в обморок. Его презрительно облаивают.

В узкой норе, красиво выложенной изнутри ракушками, Саара сладко спит, напившись крови гостя. Гость отдал ее добровольно, поэтому нельзя сказать, что Саара нарушил правила гостеприимства. Гость сидит рядом, одурманенный песнями. Он трогает спящего Саару и просит: «Эй, проснись...»

Но хозяин норы не просыпается. Встав на четвереньки, гость выползает наружу. Его застывшие глаза освещает луна. Он идет обратно через болото и через лес, идет долго, пока не наконец устает. Тогда он находит вырытую кем-то яму и ложится в нее, прикрывшись от чужих глаз

ветками и листьями. Лежа в яме, он вспоминает песни, за которые заплатил кровью. Их надо повторить, чтобы запомнить. Его спина покрыта коркой подсыхающей глины. Он съеживается и обнимает колени, переплетая длинные, как белые стебли пальцы. Вспоминает все песни — от начальных слов до последних — и засыпает, успокоенный. Лес шелестит над ним темными ветками.

Укрытые темнотой, израненными ртами целуются влюбленные. У них свои песни. Над ними тоже шумит невидимый Лес.

Маленькое существо доползает до запертой двери и скребется в нее, жалобно поскуливая.

Превратившийся в кота Курильщик кричит. Громко и безнадежно. Висящие в воздухе черные очки еле заметно покачиваются от его воплей.

— Ну вот, — произносит недовольный голос. — Еще один. И чего им неймется? Надоели!

Курильщик закрывает рот. На краю мусорного бака сидят два крупных пепельно-серых кота сидят. Отчего-то они кажутся опасными. Он пробует сказать им «кис-кис-кис», но ничего не получается. На мордах котов отчетливо проступает отвращение. Раньше Курильщик не разбирался в кошачьих эмоциях. Сейчас это не составляет труда. Мусор пахнет все более притягательно, но порыться в нем, видимо, не удастся. Слишком много посторонних. Он еще раз пытается он выразить свои мысли вслух:

— Помогите!

— Не ори! — приказывает один из котов. — Веди себя прилично. Прыгай сюда, к нам.

Голос кота раздается у Курильщика в голове. Он послушно подпрыгивает — и падает обратно в мусор. Подпрыгивает еще раз. Опять безрезультатно. С третьей попытки ему удастся повиснуть на загибающемся краю бака, кое-как подтянуться и сесть, оскальзываясь то задом, то передними лапами.

— Позорище! — шипит ближайший к нему кот. Второй молча спрыгивает вниз с наружной стороны бака и кидается в кусты. В кустах поднимается возня. Курильщик свешивается, пытаясь разглядеть, что там происходит, и едва не падает следом.

— Он что-то ловит? Кого-то?

— Конечно ловит, глупый человек, — отвечает оставшийся на краю бака кот. — Твою тень. Ты же не хочешь помереть котом? Тем более, кот из

тебя никудашный.

«Очень даже милый котик», — обиженно думает Курильщик, вспоминая свое отражение в солнечных очках.

Серый только фыркает. Потом вдруг взвизгивает в воздух, нелепо растопырив лапы, и камнем падает вниз. «Давай, быстрее!» — доносятся до Курильщика его мысли. «Прыгай сюда! Неумеха!»

Посмотрев вниз, Курильщик видит, что коты припали к земле, нервно приминая ее лапами. Терзают они небольшой клочок тени, почему-то более густой, чем их собственные.

— Прыгай!!! — орут они одновременно и с такой силой, что Курильщика едва не сметает с края бака. — Прыгай в тень!!!

Он мнется на узкой полоске жести, не решаясь на самоубийственный прыжок. Коты начинают грозно гудеть. Только мысль о том, что они с ним сделают, если он сейчас их не послушается, заставляет Курильщика прыгнуть. Отчаянно мяукнув, он падает вниз, стараясь попасть в растянутое пятно тени. От удара всеми четырьмя лапами об асфальт, перехватывает дыхание... И тут же становится темно...

Открывает глаза Курильщик в душной палатке. Разноцветье мерцающих фонариков ослепляет его. Половинка входного полога откинута, его неподвижные ноги высовываются наружу. Пахнет тлеющими благовониями. Голова Курильщика лежит на раздутом шакальем рюкзаке. Его мутит. На стон оборачиваются Табаки и Лорд с картами в руках.

— Я был котом, — шепчет он непослушными губами.

— Ну и славно, — отзывается Табаки. — А теперь поспи.

Фитиль, Соломон, и Дон преследуют Рыжего, подсвечивая путь фонариками. Соломон задыхается и потеет. Нервно оглядываясь, Рыжий стучит в дверь Ральфа. Дверь заперта, внутри никого. Рыжий приседает на корточки и замирает. Трое преследователей останавливаются посоветоваться. Рыжий слушает через дверь пустоту запертой комнаты, и кусает ногти, цепenea от страха.

Слон спит в Птичьем Гнезде, засунув палец в рот. Ему снится странная, похожая на голубой огонек, светящаяся фиалка. Совершенно случайно найденная им на подоконнике Перекрестка.

Ральф открывает дверь воспитательского коридора и освещает печальные глаза, моргающие от яркого света.

— Что ты здесь делаешь? Почему не спишь? — Толстый пробует

проползти мимо в открывшуюся дверь. Ральф перехватывает его и поднимает с пола. — Ну-ка, пошли со мной... — Он начинает спускаться. Толстый у него на руках кряхтит и дергается. — Тихо! — командует Ральф. — Что еще за глупости! За тобой что, присмотреть некому?

Соломон выключает фонарик и кивает Фитилю на дверь учительского туалета.

Внутри между умывальниками и писсуарами мечется Рыжий, оскальзываясь на мокром полу. Бежать некуда. Здесь только кабинки, которые вряд ли закрываются. Он ощупывает одну дверь, вторую... Его ослепляет яркий свет. Тех у кого фонарики, не видно, но ему не обязательно смотреть на них, он их и так знает. Свет приближается.

В шестой по счету кабинке на низком унитазе сидит Бабочка и слушает шум. Он как раз собирался спустить воду, но теперь решает этого не делать. И, загасив спиртовку, сидит в темноте. Опасаясь, что его выдаст запах.

Курильщик и Табаки выползают из палатки Стервятника. Следом выходит сам Стервятник и помогает Курильщику погрузиться в коляску. Курильщику слишком плохо, чтобы отказываться от его помощи.

— Счастливо, — напутствует их Стервятник. — Не заблудитесь в потемках.

— Это мы-то? — возмущается Шакал.

Птица машет им рукой и ныряет обратно в палатку. Курильщик мечтает только об одном. Поскорее добраться до спальни.

— Я был котом, — шепчет он, направляя коляску за пятном света от фонарика Табаки. — Славным таким котиком...

— Слушай, ну что тебя заело? — вздыхает Шакал. — Ну был и был. Теперь-то ты больше не кот.

Раздается душераздирающий вопль. Табаки роняет фонарик.

Рыжий закрывает глаза, уворачиваясь от света бьющего в лицо. Выхватывает нож. Больше всего жалея о том, что не надел зеленые очки. Но кто бы догадался? Он заставляет себя разогнуться навстречу фонарикам. Кто-то черный прыгает к нему. Отскочив, Рыжий наугад тычет ножом. Нож перехватывают. Щеку обжигает бритвой. Вторая режет кожу на ключице. Рыжий визжит. Чьи-то руки запрокидывают ему голову. Он выворачивается, пиная ногами воздух. Успевает прикрыть горло, и бритва пропарывает ладонь. Рыжий впивается зубами в схватившую его руку,

прокусывает ее, выворачивается из рукавов куртки и падает на пол. Свет фонариков прыгает по кафелю. Он отползает в ближайшую кабинку, хлопает дверью и шарит в поисках задвижки. И находит. К своему удивлению. Прежде, чем дверь начинает сотрясаться от ударов снаружи, он успевает ее задвинуть. Отступает и спотыкается о чью-то ногу. Кто-то лежит между унитазом и стенкой кабинки. Рыжий вскрикивает.

Лежащий поднимает голову:

— Чего орешь?

Рыжий дрожа опускается на унитаз. В свете фонариков сочащемся из-за двери, собственная кровь кажется ему черной.

Слепой садится, прислушиваясь:

— Все еще ночь, верно?

— Ночь, — со всхлипом подтверждает Рыжий. — И меня убивают. Втроем, между прочим!

Словно в подтверждение его слов, дверь слетает с петель. Слепой неустойчиво поднимается навстречу Фитилю и Соломону. В соседней кабинке в унитазе с грохотом обрушивается вода.

— Черт! — Фитиль отступает. — Там рядом еще кто-то есть! А здесь Слепой!

— А где тогда Рыжий? — Соломон светит фонариком из-за его плеча.

— Тоже тут. Что будем делать?

Фигуры с фонарями неуверенно переминаются в дверном проеме. Рыжий сползает с унитаза и вжимается в стену, размазывая по ней кровь.

Дон, стоящий на стреме, свистом предупреждает об опасности.

— Бежим!

Соломон хватается Фитиля за рукав. В дверях туалета они сталкиваются с Ральфом.

Ральфу мешает фонарик поэтому он успевает схватить только Фитиля. Мазнув бритвой, Фитиль освобождается. Чертыхаясь, Ральф подбирает упавший фонарик и освещает туалет. Выломанную дверь кабинки. Кафель в кровавых подтеках.

Сначала были крики. Потом ниоткуда возник Р Первый с Толстяком на руках, посадил его на пол, велел крепко держать — и убежал. Теперь Табаки и Курильщик стерегут Толстого, который тихо гудит, пускает слюни и все время норовит уползти.

— Что-то стряслось, — шепчет Табаки. — Надо посмотреть. А ты-то куда вылез? Совсем спятил? — он недовольно щипает Толстого и поворачивается к Курильщику. — Слушай, давай его посадим на тебя. И ты

его повезешь. Только держать надо крепче. Чтоб не упал.

— Лучше на тебя. Не хочу я его держать.

— На меня нельзя. Я слишком хрупкий.

Они кое-как втаскивают Толстого на колени Курильщика, после чего Табаки быстро сматывается. Курильщик пытается ехать следом, но с Толстым на коленях это невозможно. Держать его неудобно и когда Толстый начинает дергаться, вконец обозлившийся Курильщик спихивает его на пол и, включив фонарик, следит за тем, как он быстро уползает в темноту.

Возле учительского туалета небольшая толпа. Никого нельзя разглядеть. Все светят от себя. В основном на дверной проем. И ждут. Наконец в дверях появляется Р Первый. Он тащит кого-то, кто не может идти сам, и с этого кого-то с отвратительным звуком капает.

— Посветите до лазарета кто-нибудь! — кричит Ральф, поудобнее перехватывая свою ношу.

Один из стоящих поблизости делает шаг вперед, и на стене проявляется носатая тень Стервятника. Он уходит, освещая дорогу Ральфу.

— Это был Рыжий, клянусь! — шипит Табаки, теребя Курильщика за локоть. — А где Толстый? Куда ты его подевал?

Заслоня глаза от света, из туалета выползает Бабочка.

— Уберите ваши чертовы светилки! — раздраженно кричит он.

Свет фонариков упирается в пол.

— Где-то здесь была моя коляска? Где она теперь? — Бабочка ползает кругами, как обожженное насекомое.

— Эй! Что случилось? — Табаки пихает Бабочку рюкзаком. Бабочка невнятно бормочет что-то себе под нос. Табаки пихает сильнее. Бабочка возмущенно шипит, отбиваясь от рюкзака ладонью.

— Откуда мне знать? Я какал! У меня понос! Я знать ничего не знаю, и с унитаза не сходил. Вроде, Рыжего порезали. А может, и не Рыжего. Не знаю ничего, найдите мою коляску!

Табаки оставляет его ползать в поисках коляски.

— Никакого толку, — жалуется он Курильщику. — Прикидывается идиотом.

— Поехали, — просит Курильщик. — Я нагулялся. Честное слово. С меня хватит.

Табаки вертит головой, освещая стены и пол:

— Где же все-таки Толстый? Я его тебе передал на сохранение!

— Не знаю. Уполз куда-то. Поехали.

Табаки укоризненно светит Курильщику в глаза:

— Нам велено было его держать. А ты упустил. Теперь надо его найти.

— Ладно. Давай поищем.

Табаки не спешит. Высвечивает расходящихся полуночников.

— Погоди, погоди, — шепчет он. — Это интересно. Смотри-ка...

Из темноты в него швыряют чем-то тяжелым. Это намек и Табаки нехотя гасит фонарик.

— Видал, сколько их?

— Что ты здесь делаешь, Табаки? — спрашивает знакомый голос. — И зачем вытащил этого...

Табаки смущен.

— Мы с Курильщиком гуляли. Нам что-то не спалось. А тут крики, Ральф, шум. Подъехали посмотреть. А кто бы не подъехал на нашем месте?

— Ладно, потом поговорим. Забирай его в спальню.

— Но мы должны найти Толстого! Нам Ральф велел. Толстый сбежал. Без коляски, без ничего. То есть, без всего.

— Возвращайтесь. Я сам его найду.

— Хорошо, Слепой, — Табаки разворачивает коляску. — Уже едем.

Они едут не одни. Впереди шуршат шины. Эти, впереди, иногда разгоняются, уверенные что едут по центру, и тут же врезаются в стены. Производимый ими шум помогает Табаки ехать правильно. Курильщик, обрадованный приказом Слепого, честно спешит добраться до спальни. Табаки с удовольствием задержался бы, но не уверен, что Слепой не идет следом. Поэтому тоже спешит. Впереди Бабочка сипло клянется кому-то, что его понос спас чьи-то жизни.

Ральф выходит из лазарета и видит Стервятника, дожидającego его на площадке. Стервятник играет, чертя фонарика зигзаги по потолку.

— Не стоило меня дожидаться.

— Я подумал, вам не захочется идти в темноте. Провожу вас со светом.

— Спасибо.

Ральф идет к своему кабинету. Стервятник хромает рядом, освещая паркет под ногами. У двери они останавливаются и Стервятник светит на замочную скважину.

— Можешь идти, — говорит Ральф, открывая дверь. — Спасибо за помощь.

— Возьми это, Р Первый, — достав что-то из кармана, Стервятник протягивает ему. — Сегодня ночью тебе это пригодится.

Самокрутка. Ральф молча берет ее.

— Спокойной ночи.

Он захлопывает дверь и включает свет.

В зеркале, вделанном в дверцу шкафа, Ральф разглядывает свое лицо. Заклеенное пластырем. От глаза вниз по щеке. Порез поверхностный, но Ральф не может не думать о том, как ему повезло. Чуть левее — и он остался бы без глаза.

— Сукины дети, — говорит Ральф своему отражению. Подходит к окну, поднимает штору. Вглядывается в темноту. Переводит взгляд на ручные часы. Встряхивает их. По его глубокому убеждению утро уже должно было наступить. Но законная темнота беспросветна. Но не это пугает его. Зимние ночи не спешат переходить в утро. Ральфа пугают стрелки часов, намертво приросшие к двум без одной минуты. То же самое творится с настенными часами.

— Спокойно, — говорит себе Ральф. — Всему можно найти объяснение.

Но он не находит объяснений происходящему. Он готов поклясться, что выходя от Шерифа — сегодня справлялся день рождения Крысиного пастуха, и справлялся основательно — посмотрел на часы, и было без четверти два. С тех пор прошло немало времени. Только в лазарете он провел не меньше получаса. Ральф впивается взглядом в минутную стрелку, гипнотизируя ее. Эти часы работают на батарейках, батарейки иногда садятся. Но настенные... Настенные часы по-домашнему успокаивающе тикают.

Ральф опускает штору и берет со стола журнал. Перелистывает его стоя. Найдя статью о популярной певице, засекает время и начинает читать. Статья о певице, еще три — о водорослях, о модной этой зимой одежде, об овцеводстве... Пробежав спортивные колонки, он отшвыривает журнал и смотрит на часы. Настенные соизволили передвинуть минутную стрелку на два ровно. Ручные упрямо показывают без минуты два. Ральф смотрит на них (бесконечно долго, как ему кажется) и наконец с облегчением приходит к выводу, что они испорчены — и ручные, и настенные. Почему-то испортились одновременно. Что ж, и такое иногда случается.

Ральф осторожно снимает часы с запястья и опускает в настольный ящик. Самокрутка — подарок Стервятника — лежит нетронутая на подлокотнике дивана. Выкури он ее, многое перестало бы выглядеть угрожающе.

— Что-то случилось со временем — говорит Ральф вслух.

Он оборачивается на тихий шорох и видит листок бумаги, который

протолкнули в щель под дверь. Одним прыжком достигает двери, распахивает ее, потом, чертыхаясь, распахивает и коридорную, но поздно. Ночной визитер успел сбежать. Ральф некоторое время стоит, всматриваясь в темноту, потом возвращается и подбирает с пола листок с ребристым отпечатком собственной подошвы. Корявые буквы написанные в спешке, еле умещаются на бумажном обрывке «Помпея прикончил Слепой. Там были все».

В четвертой спальне, Табаки, примерившись, роняет рюкзак на спящую кошку, выжидает немного и кричит вскочившим с кровати:

— Эй, вы даже не знаете! Случилось такое!

Его крик будит всех, кого еще не разбудил вопль кошки.

Одежда Слепого пахнет сортиром, болезнью Бабочки, кровью и страхом Рыжего. Он идет медленно. Лицо спокойно, как у спящего. Пальцы убегают вперед, и возвращаются, когда он вспоминает дорогу. Это время — трещина. Между Домом и Лесом. Трещина, которую он предпочитает проходить во сне. В ней память спотыкается о давно знакомые углы, а вместе с памятью спотыкается тело. В ней он не контролирует слух, и многого не слышит, или слышит то, чего нет. В трещине он сомневается, сможет ли найти того, кого ищет — и забывает, кого собрался искать. Можно войти в Лес, стать его частью — тогда он найдет кого угодно, но дважды в ночь Лес опасен, как опасна двойная трещина, заглатывающая память и слух. Слепой идет медленно. Его руки — быстрее. Они убегают сквозь прорези в рукавах свитера — рукавах, которые были слишком длинны и которые он разрезал перочинным ножом до локтей. Босые подошвы, черные, как сажа, липнут к паркету.

Ему в лицо ударяет свет. Он проходит его насквозь, не замечая. Рука ловит его за плечо. Слепой останавливается, удивленный тем, что не расслышал шагов.

— Иди со мной. Есть разговор.

Слепой узнает голос и подчиняется. Рука Ральфа не отпускает его плечо до самой двери.

Кабинеты — как пасти капканов. Слепой ненавидит их. Дом — его территория, из которой выпадают только кабинеты — комнаты-ловушки, пахнущие железом. Вне них все принадлежит ему, в кабинетах он не хозяин даже самому себе. В кабинетах есть только голоса и двери. Он входит и слышит щелчок. Сомкнулись зубы капкана, он в пустоте, наедине с дыханием воспитателя. Здесь памяти нет. Только слух. Он слышит окно и

сочащийся в его щели ветер. И шорох, похожий на шорох бумаги. Клочка бумаги, которым шелестит трехпалый Ральф.

— Ты был там. Когда порезали Рыжего. Я тебя видел.

— Да, — осторожно отвечает Слепой. — Я там был.

— Ты слышал тех, кто это сделал. И ты их, конечно, узнал.

Голос Ральфа — острый, как лезвие ножа, — плавает, удаляясь и приближаясь. Как будто его заглушает ветер. Это действительно ветер. Он звенит в ушах Слепого, трогает его волосы. Со Слепым творится странное. Там, где этого быть не должно. В душном кабинете воспитателя он слышит Лес.

Сразу за порогом.

Подкравшийся к двери.

Царапающий ее ветвями и шуршащий корнями.

Зовущий. Ждущий...

Пробежать по мокрым опушкам под белой луной... Найти кого-то... Кого-то...

— Что с тобой? Ты меня слышал?

— Да... — Слепой пробует убрать все звуки, кроме голоса. — Да, я слышу.

— Тех, кто это сделал, ты не тронешь. Ты понял меня? Хватит с нас Рыжего. Я знаю Закон. Трое на одного и так далее. Это меня не интересует. На этот раз Закон придется обойти. Тебе.

Слепой слушает. Странного человека, живущего в Доме, не знающего, что такое Дом. Не знающего ночей и их правил.

— Ты мне не ответил.

Да. Ждущего ответа. Интересно, какого?

— Ночь привела их ко мне, — говорит Слепой. Объясняет, как ребенку, слишком маленькому, чтобы понять. — Ночь разбудила меня и заставила услышать. Как трое ловят одного. Почему? Я не знаю. Никто не знает.

— Ты их не тронешь. Я запрещаю. Если с ними что-нибудь случится, ты об этом пожалеешь.

Слепой терпеливо слушает. Можно только слушать. Раз нельзя объяснить. Дорога в Лес зарастает колючками. Внутренние часы давно простучали рассвет. Но ночь не кончается. Потому что это Самая Длинная ночь, та, что приходит лишь раз в году. Не заканчивается и бессмысленный разговор, в котором у каждого своя правда. И у него, и у трехпалого Ральфа.

— Ты слышишь меня?

Он слышит. Утекающие в землю ручьи. Тающих птиц и лягушек. Уходящие деревья. И ему грустно.

— Ты не тронешь их и пальцем. Или в два счета вылетишь из Дома к чертовой матери! Ты понял? Я лично об этом позабочусь!

Слепой улыбается. Ральф не знает, что кроме Дома ничего нет. Куда отсюда можно вылететь?

— Я знаю, что Помпея убил ты. И директор об этом узнает.

Должно быть, это в бумажке, которую держит Р Первый. Скомканный шепот стукача? Крик Рыжего, испугнувший его сон... Запах крови и сломанная дверь. Он вдруг вспоминает, кого должен был найти. Толстого. Трещина закрывается. В Дом рвется ветер. Там, снаружи, холод и снег.

— Перестань усмехаться! — руки Ральфа встряхивают его неожиданно сильно. Были какие-то слова, он должен был их произнести. Но слов нет.

— У меня нет для тебя нужных слов, Р Первый, — говорит Слепой. — Не сегодня ночью.

Опасность дышит на него. Он ничего не может объяснить. Он живет по Законам. Так, как желает Дом, желания которого он угадывает. Он слышит их, когда другие не слышат. Как было с Помпеем.

— Ты лаешь на ветер Ральф, — говорит он. — Все будет так, как должно быть.

— Ах ты щенок! — Воздух вокруг густеет, зарастая клочьями ваты. Желудок Слепого наполняется стеклом. Оно бьется со звоном и колет его изнутри.

— Тихо! — одергивает Сфинкс сам себя, споткнувшись об отставшую паркетину. Горбач спешит посветить ему под ноги. Они ищут Толстого, которого, вообще-то, обещал найти Слепой. Так сказал Табаки, перебудивший всех, чтобы поведать историю своих приключений. Сфинкс почти уверен, что знает, где можно найти Толстого. И жалеет его.

По времени уже утро, но Дом не знает об этом — или не желает знать. Гнусно скрипит паркет. Где-то далеко в наружности воет собака. За стенами спален шумят и переговариваются, в душевых гудят трубы.

— Мало кто спит, — отмечает Горбач. — Почти никто.

— Не каждую ночь свергают вожakov, — отвечает Сфинкс. — Наверное, в каждой стае нашелся свой гулящий Шакал.

Они проходят учительский туалет. Он выглядит зловеще, как и полагается «месту происшествия». Спугивают две шепчущиеся тени, которые убегают от света.

— Сюда уже первые экскурсии, — вздыхает Горбач. — К утру пойдут стадами.

Сфинкс молчит.

— Может, Слепой уже нашел его?

Горбача ободряют разговоры. Он не любит выходить по ночам.

— Если бы нашел, то уже принес бы. Полчаса для него вполне достаточно, чтобы отыскать в Доме кого угодно. Полчаса, а то и меньше.

— Тогда почему его нет?

— Спроси чего полегче, Горбач. Я здесь с тобой, а не со Слепым.

На лестнице воняет окурками. Пролетом ниже кто-то сонно чихает. Кто-то слушающий транзистор.

— Наверх? — удивляется Горбач.

— Хочу кое-что проверить, — объясняет Сфинкс. — Есть одно предположение.

Толстый спит, приткнувшись к двери, ведущей на третий. Бесформенный и несчастный. Тяжело вздыхает и бормочет во сне. Горбач поднимает его, и открывается подсохшая лужица, в которой валяются два обкусанных медиатора. Ими, Толстяк, вероятно пытался открыть дверь. Чувствительный к переживаниям неразумных Горбач, чуть не плача и путаясь в волосах, заворачивает Толстого в свою куртку. Сфинкс ждет, постукивая пяткой о перила. Лестничный холод кусает за голые лодыжки. Толстяк ворчит и хлюпает носом, но не просыпается. Обратно они идут медленнее. Горбач с трудом светит из-под свертка с Толстым, а Сфинкс без протезов ничем не может ему помочь. Некто с транзистором опять чихает. Заоконное небо на Перекрестке все еще черно.

— Давайте я посвечу, — говорит Лорд, выкатив на них из темноты. Горбач, чуть не уронивший с перепугу Толстяка, облегченно вздыхает и передает Лорду фонарик.

— Что ты здесь делаешь?

— Гуляю, — огрызается Лорд. — А ты как думал?

«Двое», — считает про себя Сфинкс. — «Остался Слепой».

Прихрамывающий Стервятник тащит в Гнездо громоздкое сооружение, которое тянется за ним бледным шлейфом. Увидев их, останавливается и — безупречно вежливый — здоровается.

— Погода отличная, — говорит он. — Вы, я надеюсь, в порядке? С Лордом уже виделись.

— А со Слепым? — спрашивает Сфинкс.

— Не довелось, — сокрушенно признается Стервятник. — Очень жаль.

Дальше они идут и едут впятером. Стервятник ничего не рассказывает о Рыжем. Он говорит только о погоде и когда у двери третьей его фонарик освещает Слепого, сообщает и ему, что: «погода хороша как никогда». Слепой отвечает невнятно. Простившись, Стервятник исчезает в дверях третьей, унося с собой палаточное полотно и шесты, опутанные ремнями. Свет от фонарика Лорда прыгает по стенам.

— Где ты был? — спрашивает Слепого Сфинкс.

Прихожая встречает их ярким светом, падающими вениками и взлохмаченными головами в дверном проеме. Горбач заносит в спальню спящего Толстого.

— Вот он, наш маньяк толстенький! — возбужденно комментирует голос Табаки. — Вот он, наш путешественник...

Слепой сворачивает в умывальную. Сфинкс идет за ним.

— Чья это кровь на тебе?

Слепой не отвечает. Но Сфинкс и не ждет ответа. Он садится на край низкой раковины, и наблюдает. Слепой, уткнувшись в другую раковину, переживает приступ тошноты.

— Ночь затянулась. Даже для Самой Длинной. — говорит Сфинкс сам себе. — И именно эта ночь мне не нравится. По-моему, если все лягут спать, она кончится быстрее. Так чья это кровь?

— Рыжего, — мрачно отвечает Слепой. — Потом расскажу, сейчас меня мутит. Старина Ральф вытряс из меня ужин.

Сфинкс нетерпеливо раскачивается на краю раковины, облизывая ранку на губе:

— Из-за Рыжего? Так это ты его порезал?

Слепой поворачивает к Сфинксу бледное лицо с двумя красными волдырями вместо век:

— Не болтай ерунды. Из-за Помпея. Если я его правильно понял. Он узнал. Кто-то настучал ему. Все время шуршал какой-то бумажкой.

— Но почему именно сейчас? Почему сегодня? Он что, спятил?

— Может и так. Если послушать, что он болтает, то, пожалуй, и спятил, — Слепой опять нагибается к раковине. — А если нет, то скоро спятит. Спорим, сейчас он обстукивает по очереди все свои часы и меняет в них батарейки? Думает, кто устроил ему такую подлянку. Откусил утро и проглотил его.

— Не смейся, тебя опять вывернет.

— Не могу. Он велел мне и пальцем их не трогать. Соломона, мать его, и Фитиля с Доном. Даже не разглядел их, но считает своим долгом заступиться. «Я знаю ваши Законы». Я сам не знаю наших законов. Я не

знаю. А он знает. Надо было уточнить, что он имел в виду.

Сфинкс вздыхает:

— Поправь меня, если я ошибаюсь. Соломон, Фитиль и Дон порезали Рыжего, а он тебя ударил за то, что ты не пообещал оставить их в покое, так? По-моему, ты чего-то не договариваешь.

— Он врезал мне за то, что я не умею вежливо выражаться, — уточняет Слепой, выпрямляясь.

— А ты не умеешь?

— Смотря когда, — Слепой поправляет свитер, сползающий с плеча. — Черт, я сейчас выпаду из этой одежды. Это называется декольте?

— Это называется чужой свитер. На три размера больше, чем надо. Так он тебя ударил из-за Соломона или из-за Помпея?

— Из-за нервов. Его тоже порезали. Он разнервничался. А тут еще стукачи... Заставил меня помыть там все, перед тем как отпустил.

Слепой умолкает, нахмурившись. Выражение его лица Сфинксу не нравится. Он слезает с раковины и подходит к Слепому.

— Случилось что-то еще?

Слепой пожимает плечами:

— Не знаю. Может, он ничего и не заметил. Я хочу сказать... люди ведь не имеют привычки рассматривать чужую блевотину, как ты считаешь?

— Обычно не имеют. А что? Было что рассматривать?

— Ну... Честно говоря, мышки не успели толком перевариться. К сожалению, кроме них там почти ничего не было. В смысле, ничего, что могло бы их замаскировать.

— Хватит, Слепой, — морщится Сфинкс. — Давай без подробностей. От всего сердца надеюсь, что Ральф не приглядывался к тому, чем ты украсил его кабинет.

— Я тоже. Надеюсь. Но он как-то странно молчал. Кажется, даже ошарашенно.

— Чем ошарашенное молчание отличается от обычного?

— Оттенком.

— Ага, — вздыхает Сфинкс. — Если оттенком, то хреново дело. Он видел, а уж что при этом подумал — нам не узнать. Возможно, это и к лучшему.

Слепой улыбается:

— Счастье в неведении?

— Вроде того, — мрачно соглашается Сфинкс.

— Настырный тип этот Ральф. Шастает по ночам... лезет, куда не

просят. Пристает с дурацкими требованиями. Раздражает.

Отойдя от раковины, Слепой сдергивает с крючка полотенце и вытирает лицо. Сфинкс пристально разглядывает отпечатки его босых ног на кафеле. Красные от крови.

— Ноги тоже не мешало бы вымыть. Где ты их так изрезал?

Слепой проводит ладонью по подошве:

— Действительно, изрезал. Где-то, не помню. Может, на пустыре, — он поправляет сползающий свитер. — Послушай, я так устал...

— Почему ты вечно натяливаешь всякий хлам? — Сфинкс почти кричит.

Слепой не отвечает.

— Почему ходишь босиком по стеклам?

Не дождавшись ответа, Сфинкс заканчивает шепотом:

— И какого черта даже не чувствуешь, что порезался, пока тебе об этом не скажут!

Слепой молчит.

Вздохнув, Сфинкс тихо выходит.

В спальне горит свет. На краю постели Лорд кутается в одеяло и курит. Курильщик шепотом описывает Лэри и Горбачу ужасы пребывания в кошачьей шкуре. Табаки спит с опаленным восторгом лицом, сжимая в руках походный рюкзак, вывернутый наизнанку.

САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ

Повесть Табаки номер четыре.

Третье чаепитие.

Шакал бодр и весел. Он успевает подремать, проснуться, рассказать то, что пропустил в первые три раза и уже пробует сложить подобающую случаю песню. Лэри и Горбач в куртках поверх пижам сидят перед кофеваркой на корточках, как перед костром. Лэри вздыхает: «Ну везет же людям... Столько всего повидать...» — и заводит Табаки еще на полчаса захлебывающейся скороговорки, от которой уже тошнит всех, кроме него самого и Лога.

Бледным посланцем потустороннего мира возвращается Слепой — от ступней до макушки яркая иллюстрация к кровавым историям Шакала. Стая рассматривает его самого и свитер. Особенно свитер. Еще бы. Не каждый день такое увидишь.

Табаки ненадолго умолкает с гордым видом: «Ну, что я говорил? Ночь полна ужасов!» Как будто лично вывалял Слепого в крови и в блевотине. Одно за другим перед взорами стаи проплывают страшные видения, а я спохватываюсь, что нет Курильщика. Уж не утопил ли его кто-нибудь в унитазе? За Курильщиком последнее время нужен глаз да глаз. У него появилась привычка всех вокруг доводить.

— Какой у тебя грязный... ой-ой-ой... свитер, — медово выпевает Шакал. — Где, о где же ты так испачкался?

Бледный, игнорируя Шакала, валится на кровать. Лэри, тряся обрывками бакенбард над чашкой чая, подмигивает Горбачу. Горбач отворачивается.

— Ну что? — гнусным голосом спрашивает Черный. — Еще одним вожакom меньше стало?

Интересно, кого он спрашивает?

Табаки, сочтя вопрос адресованным себе, немедленно принимается пересказывать ужасную повесть в пятый раз:

— Слышим: кто-то кричит. Ну, думаем, что-то стряслось. Смотрим, а это...

Черный уходит.

— Выбегает Р Первый откуда-то со стороны лестницы, — заканчивает

Горбач за Шакала. — Может, хватит, Табаки? Сколько можно?

Шакал обижается, как малое дитя.

Лорд, закутанный в плед, смотрит на меня ясными глазами:

— Может, сыграем в шахматы?

Не наигрался. Мало ему было карт на полночи. Никому в этой комнате не нужен сон, кроме меня. Мне он тоже не нужен, но хочется на всех наорать, уложить, выключить свет и ждать утра в темноте, притворяясь спящим. Мне не нравится эта ночь. Как и все ей подобные, начиная с самой первой. Утро, наступившее после той первой Самой Длинной, было гораздо хуже, чем ночь, к счастью, его я почти не помню. За одним исключением. У каждого свой застарелый кошмар. Мой — это белый кораблик. Даже сейчас, когда в противовес ему я могу припомнить уйму плохого, белый кораблик остается вне конкуренции. Он не просто будит, он встряхивет и заставляет давиться слезами. При всей моей любви к Шакалу не могу ни понять, ни принять его страстного увлечения Самыми Длинными. Ведь и ту, первую, он пережил вместе с нами, вместе со мной. Как же теперь он умудряется получать от них столько удовольствия? Неужели ничего не помнит? Недоумевая — мысли о подозрительной беспамятности Табаки мучают меня не первый год — иду к дверям. Надо найти Курильщика. Не успокоюсь, пока не соберу всех в спальне.

— Глядим, а это Р Первый с Толстым. Раз — и швыряет его нам! А там кричат, визжат...

В тамбуре темно, в ванной — свет и голоса. Прислоняюсь к косяку и слушаю. Мне не надо их видеть, чтобы догадаться, кто там кого загоняет в угол.

— Это был я, и в тоже время не я, — объясняет Курильщик. — Я до смерти испугался, но почему-то было приятно. Не знаю, как такое может быть... Знать, что выглядишь так и не помереть на месте.

— А не надо трогать наркоту!

Я их не вижу, но знаю, что подбородок Черного сейчас нависает над Курильщиком, как молот над наковальней. И когда он ударит, полетят искры.

— Кот, кенгуру, динозавр — здесь тебе что угодно организуют, только попроси. Даже просить не надо. Господи, полезть к Стервятнику и чего-то там хлебать в его отстойнике! Да он сто лет уже ничего не жрет, кроме всякой дури! Хочешь откинуть копыта — пожалуйста, ходи к нему в гости и угощайся, чем дадут! Только потом не жалуйся, что с тобой что-то не то стряслось. Скажи спасибо, что жив остался. Котом он, видите ли, был!

— Я говорю о другом!

Бедный Курильщик. Он загнан в угол и тихо огрызается, не понимая, с кем имеет дело.

— Дело не в этом... Дело в том, как я себя чувствовал. Мне это понравилось, понимаешь?

— Понимаю, — с отвращением откликается Черный. — А ты понимаешь, куда тебя несет и с кем ты связался?

— Табаки...

— Не говори мне про Табаки. Вообще лучше помолчи. И подумай. Вернись в комнату, посмотри на всех внимательно и подумай. Что тебе сказал Слепой?

— Что не надо гулять по ночам.

— Ха! — выразительно фыркает Черный, вложив в это междометие всю иронию на какую способен.

— Но ты сказал то же самое.

— Я сидел в спальне. А он шлялся не пойми где. Ты его видел? На что он похож!

Дальше не слушаю. Скрипит входная дверь, и я отступаю под вешалку. Входит кто-то маленький и темный, жмет к стене. Кто?

Тихо окликаю ночного гостя.

— Это я, — отвечает голос Рыжей. — Это я, Сфинкс, — ее рука нашаривает меня и отдергивается. — Ты что, прячешься?

— Уже нет.

Становлюсь в полосу света из-под двери ванной. Говорим шепотом. Я чтобы не спугнуть Черного, она — потому что шепчу я.

— Что случилось?

— Ты должен знать. Рыжий. Что с ним? У нас говорят...

Из ее голоса прорастает Могильник. Трое детей в захлавленной палате. Волосы девочки, огненные, как костер. И летают подушки от кровати к кровати, теряя перья и кнопки застежек...

— Все в порядке. Он жив. Совсем слегка порезали.

Я говорю то, что предполагаю, а не то, что узнал от Шакала. Если верить Шакалу, Рыжий давно уже труп.

— Спасибо, — шепчет девушка в темноте. И начинает плакать.

Где твое плечо Сфинкс? Давай, подставляй его. Только это ты и умеешь делать. Она находит его сама, на ощупь. Стоим впотьмах, она — уткнувшись лицом в мою куртку, в ванной течет вода, и голос Черного пытается Курильщика, вливая ему в уши яд, а в спальне Табаки слагает песню о ночных происшествиях, самое увлекательное из которых то, что порезали Рыжего. Очень подходящая тема для песни. Меня разбирает

злость, и я не знаю на кого я злюсь сильнее. Может, хуже всего эта ночь, которой нет конца?

— Пошли, — говорю я ей. — Пить чай.

Чем бы заткнуть Шакала?

— Нет. Не могу. Я только хотела узнать про Рыжего. Я знала, что вы будете в курсе...

Хорошо еще, что она не слышит песню и то, что бормочет Черный.

— Пошли, — говорю я. Переночуешь сегодня у нас. Табаки расскажет, что он видел. Он ведь был там.

— Но...

— Что?

Она мнетя и пятится к двери:

— Лорд может неправильно понять. У нас с ним был разговор. Сегодня. Он приезжал ко мне. И если я теперь к вам приду... Это будет как ответ.

— А ты не хочешь ему отвечать?

Молчание. Скорее смущенное, чем протестующее. Так мне кажется, хотя, возможно, я себя обманываю.

— Или все-таки хочешь?

Она молчит.

— Рыжик!

— Пошли! — хватает меня за рукав. — Я сама не знаю, чего я хочу. Но я не хочу уходить.

Мы входим в спальню. Наш приход обрывает песню и вгоняет стаю в ступор. Впрочем они довольно быстро приходят в себя.

Приветственная речь Табаки. Приглашающие взмахи Логовских ладоней от кофеварки к чашкам и обратно. Горбач выбегает, балансируя пепельницами. Македонский наступает в блюдо с кошачьим молоком и переворачивает его. Подвожу Рыжую к строенной кровати. Она садится рядом с Лордом и в глазах Злогоглавого загорается собственнический блеск. Триумфальный блеск. Он застенчиво гасит его ресницами.

— Рыжая пришла спросить насчет Рыжего, — объясняю я. Звучит это, как идиотский каламбур.

— Ах Рыжий! А что Рыжий, — Табаки мгновенно воскрешает всех ночных покойников. — Да он почти что не пострадал. Ральф вовремя подоспел и его спас. Дело было так...